

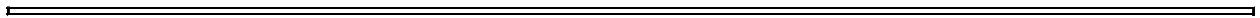


Чарльз
Диккенс

- [Чарльз Диккенс](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)

- [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)



Чарльз Диккенс
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

КНИГА ПЕРВАЯ

«СЕВ»

Глава I

Единое на потребу^[1]

— Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов, ничто иное не приносит ему пользы. Вот теория, по которой я воспитываю своих детей. Вот теория, по которой я воспитываю и этих детей. Держитесь фактов, сэр!

Действие происходило в похожем на склеп неуютном, холодном классе с голыми стенами, а оратор для пущей внушительности подчеркивал каждое свое изречение, проводя квадратным пальцем по рукаву учителя. Не менее внушителен, нежели слова оратора, был его квадратный лоб, поднимавшийся отвесной стеной над фундаментом бровей, а под его сенью, в темных просторных подвалах, точно в пещерах, с удобством расположились глаза. Внушителен был и рот оратора — большой, тонкогубый и жесткий; и голос оратора — твердый, сухой и властный; внушительна была и его лысина, по краям которой волосы щетинились, словно елочки, посаженные для защиты от ветра ее глянцевитой поверхности, усеянной шишками, точно корка сладкого пирога, — как будто запас бесспорных фактов уже не умещался в черепной коробке. Непреклонная осанка, квадратный сюртук, квадратные ноги, квадратные плечи — да что там! — даже туго завязанный галстук, крепко державший оратора за горло как самый очевидный и неопровержимый факт, — все в нем было внушительно.

— В этой жизни, сэр, нам требуются факты, одни только факты!

Все трое взрослых — оратор, учитель и третье присутствующее при сем лицо — отступили на шаг и окинули взором расположенные чинными рядами по наклонной плоскости маленькие сосуды, готовые принять галлоны фактов, которыми надлежало наполнить их до краев.

Глава II

Избиение младенцев^[2]

Томас Грэдграйнд, сэр. Человек трезвого ума. Человек очевидных фактов и точных расчетов. Человек, который исходит из правила, что дважды два — четыре, и ни на йоту больше, и никогда не согласится, что может быть иначе, лучше и не пытайтесь убеждать его. Томас Грэдграйнд, сэр — именно Томас — Томас Грэдграйнд. Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить и измерить любой образчик человеческой природы и безошибочно определить, чему он равен. Это всего-навсего подсчет цифр, сэр, чистая арифметика. Вы можете тешить себя надеждой, что вам удастся вбить какие-то другие, вздорные понятия в голову Джорджа Грэдграйнда, или Огастеса Грэдграйнда, или Джона Грэдграйнда, или Джозефа Грэдграйнда (лица воображаемые, несуществующие), но только не в голову Томаса Грэдграйнда, о нет, сэр!

Такими словами мистер Грэдграйнд имел обыкновение мысленно рекомендовать себя узкому кругу знакомых, а также и широкой публике. И, несомненно, такими же словами — заменив обращение «сэр» обращением «ученики и ученицы», — Томас Грэдграйнд мысленно представил Томаса Грэдграйнда сидевшим перед ним сосудикам, куда надо было влить как можно больше фактов.

Он стоял, грозно сверкая на них укрывшимися в пещерах глазами, словно до самого жерла начиненная фактами пушка, готовая одним выстрелом выбить их из пределов детства. Или гальванический прибор, заряженный бездушной механической силой, долженствующей заменить развеянное в прах нежное детское воображение.

— Ученица номер двадцать, — сказал мистер Грэдграйнд, тыча квадратным пальцем в одну из школьниц. — Я этой девочки не знаю. Кто эта девочка?

— Сесси Джуп, сэр, — отвечала, вся красная от смущения, ученица номер двадцать, вскочив на ноги и приседая.

— Сесси? Такого имени нет, — сказал мистер Грэдграйнд. — Не называй себя Сесси. Называй себя Сесилия.

— Мой папа зовет меня Сесси, сэр, — дрожащим голосом отвечала девочка и еще раз присела.

— Напрасно он так называет тебя, — сказал мистер Грэдграйнд. — Скажи ему, чтобы он этого не делал. Сесилия Джуп. Постой-ка. Кто твой отец?

— Он из цирка, сэр.

Мистер Грэдграйнд нахмурился и повел рукой, отмахиваясь от столь предосудительного ремесла.

— Об этом мы здесь ничего знать не хотим. И никогда не говори этого здесь. Твой отец, верно, объезжает лошадей? Да?

— Да, сэр. Когда удастся достать лошадей, их объезжают на арене, сэр.

— Никогда не поминай здесь про арену. Так вот, называй своего отца берейтором. Он, должно быть, лечит больных лошадей?

— Конечно, сэр.

— Отлично, стало быть, твой отец коновал — то есть ветеринар — и берейтор. А теперь определи, что есть лошадь?

(Сесси Джуп, насмерть перепуганная этим вопросом, молчала.)

— Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь! — объявил мистер Грэдграйнд, обращаясь ко всем сосудикам. — Ученица номер двадцать не располагает никакими фактами относительно одного из самых обыкновенных животных! Послушаем, что знают о лошади ученики. Битцер, скажи ты.

Квадратный палец, двигаясь взад и вперед, вдруг остановился на Битцере, быть может только потому, что мальчик оказался на пути того солнечного луча, который, ворвавшись в ничем не занавешенное окно густо выбеленной комнаты, упал на Сесси. Ибо наклонная плоскость была разделена на две половины: по одну сторону узкого прохода, ближе к окнам, помещались девочки, по другую — мальчики; и луч солнца, одним концом задев Сесси, сидевшую крайней в своем ряду, другим концом осветил Битцера, занимавшего крайнее место на несколько рядов впереди Сесси. Но черные глаза и черные волосы девочки заблестели еще ярче в солнечном свете, а белесые глаза и белесые волосы мальчика, под действием того же луча, казалось, утратили последние следы красок, отпущенных ему природой. Пустые, бесцветные глаза мальчика были бы едва приметны на его лице, если бы не окаймлявшая их короткая щетина ресниц более темного оттенка. Коротко стриженные волосы ничуть по цвету не отличались от желтоватых веснушек, покрывавших его лоб и щеки. А болезненно бледная кожа, без малейших следов естественного румянца, невольно наводила на мысль, что если бы он порезался, потекла бы не красная, а белая кровь.

— Битцер, — сказал Томас Грэдграйнд, — объясни, что есть лошадь.

— Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок, а именно: двадцать четыре коренных, четыре глазных и двенадцать резцов. Линяет весной; в болотистой местности меняет и копыта. Копыта твердые, но требуют железных подков. Возраст узнается по зубам. — Все это (и еще многое другое) Битцер выпалил одним духом.

— Ученица номер двадцать, — сказал мистер Грэдграйнд, — теперь ты знаешь, что есть лошадь.

Сесси снова присела и вспыхнула бы еще ярче, будь это возможно, — лицо ее и так уже пылало. Битцер, моргнув в сторону Томаса Грэдграйнда обоими глазами зараз, отчего ресницы его затрепетали на солнце, словно усики суетливых букашек, стукнул себя костяшками пальцев по веснушчатому лбу и сел на место.

Вперед вышел третий джентльмен: великий мастер непродуманных решений, правительственный чиновник с повадками кулачного бойца, всегда начеку, всегда готовый насильно пропихнуть в общественное горло — словно огромную пилюлю, содержащую изрядную дозу яда, — очередной дерзновенный прожект; всегда во всеоружии, громогласно бросающий вызов всей Англии из своей маленькой канцелярии. Выражаясь по-боксерски, он всегда был в превосходной форме, где бы и когда бы он ни вышел на ринг, и не гнушался запрещенных приемов. Он злобно накидывался на все, что ему противодействовало, бил сначала правой, потом левой, парировал удары, наносил встречные, прижимал противника (всю Англию!) к канатам и уверенно сбивал его с ног. Он так ловко опрокидывал здравый смысл, что тот падал замертво и уже не мог подняться вовремя. На этого джентльмена высочайшей властью была возложена миссия — ускорить пришествие тысячелетнего царства, когда из своей всеобъемлющей канцелярии миром будут править чиновники^[3].

— Отлично, — сказал джентльмен, скрестив руки на груди и одобрительно улыбаясь. — Вот что есть лошадь. А теперь, дети, ответьте мне на вопрос: стал бы кто-нибудь из вас оклеивать комнату изображениями лошади?

После непродолжительного молчания одна половина хором закричала «да, сэр!». Но другая половина, догадавшись по лицу джентльмена, что «да» — неверно, по обычаю всех школьников дружно крикнула «нет, сэр!».

— Конечно, нет. А почему?

Молчание. Наконец один толстый медлительный мальчик, видимо страдающий одышкой, дерзнул ответить, что он вообще не стал бы оклеивать стены обоями, а выкрасил бы их.

— Но ты должен оклеить их, — строго сказал джентльмен.

— Ты должен оклеить их, — подтвердил Томас Грэдграйнд, — нравится тебе это или нет. И не говори, что ты не стал бы оклеивать комнату. Это еще что за новости?

— Придется мне объяснить вам, — сказал джентльмен после еще одной длительной и тягостной паузы, — почему вы не стали бы оклеивать комнату изображениями лошади. Вы когда-нибудь видели, чтобы лошади шагали вверх и вниз по стене? Известен вам такой факт? Ну?

— Да, сэр! — закричали одни.

— Нет, сэр! — закричали другие.

— Разумеется, нет, — сказал джентльмен, бросив негодующий взгляд на тех, кто кричал «да». — И вы никогда не должны видеть то, чего не видите на самом деле, и вы никогда не должны думать о том, чего у вас на самом деле нет. Так называемый вкус — это всего-навсего признание факта.

Томас Грэдграйнд выразил свое полное согласие кивком головы.

— Это новый принцип, великое открытие, — продолжал джентльмен. — Теперь я вам задам еще один вопрос. Допустим, вы захотели разостлать в своей комнате ковер. Стал бы кто-нибудь из вас класть ковер, на котором изображены цветы?

К этому времени весь класс уже твердо уверовал в то, что на вопросы джентльмена всегда нужно давать отрицательные ответы, и дружное «нет» прозвучало громко и стройно. Только несколько голосов робко, с опозданием, ответило «да», — среди них голос Сесси Джуп.

— Ученица номер двадцать, — произнес джентльмен, снисходительно улыбаясь с высоты своей непререкаемой мудрости.

Сесси встала, пунцовая от смущения.

— Итак, ты бы застелила пол в своей комнате или в комнате твоего мужа — если бы ты была взрослая женщина и у тебя был бы муж — изображениями цветов? — спросил джентльмен. — А почему ты бы это сделала?

— Потому, сэр, что я очень люблю цветы, — отвечала девочка.

— И ты поставила бы на них столы и стулья и позволила бы топтать их тяжелыми башмаками?

— Простите, сэр, но это не повредило бы им. Они бы не сломались и не завяли, сэр. Но они напоминали бы о том, что очень красиво и мило, и я бы воображала...

— Вот именно, именно! — воскликнул джентльмен, очень довольный, что так легко достиг своей цели. — Как раз воображать-то и не надо. В этом вся суть! Никогда не пытайся воображать.

— Смотри, Сесилия Джуп, — нахмурившись, проговорил Томас Грэдграйнд, — чтобы этого больше не было.

— Факты, факты и факты! — сказал джентльмен.

— Факты, факты и факты, — как эхо откликнулся Томас Грэдграйнд.

— Вы должны всегда и во всем руководствоваться фактами и подчиняться фактам, — продолжал джентльмен. — Мы надеемся в недалеком будущем учредить министерство фактов, где фактами будут ведать чиновники, и тогда мы заставим народ быть народом фактов, и только фактов. Забудьте самое слово «воображение». Оно вам ни к чему. Все предметы обихода или убранства, которыми вы пользуетесь, должны строго соответствовать фактам. Вы не топчете настоящие цветы — стало быть, нельзя топтать цветы, вытканые на ковре. Заморские птицы и бабочки не садятся на вашу посуду — стало быть, не следует расписывать ее заморскими цветами и бабочками. Так не бывает, чтобы четвероногие ходили вверх и вниз по стенам комнаты — стало быть, не нужно оклеивать стены изображениями четвероногих. Вместо всего этого, — заключил джентльмен, — вы должны пользоваться сочетаниями и видоизменениями (в основных цветах спектра) геометрических фигур, наглядных и доказуемых. Это и есть новейшее великое открытие. Это и есть признание факта. Это и есть вкус.

Сесси опять присела и опустилась на свое место. Она была еще очень молода, и, видимо, картина будущего царства фактов не на шутку пугала ее.

— А теперь, мистер Грэдграйнд, — сказал джентльмен, — если мистер Чадомор готов преподавать свой первый урок, я рад буду исполнить вашу просьбу и ознакомиться с его методой.

Мистер Грэдграйнд изъяснил свою глубочайшую признательность.

— Мистер Чадомор, прошу вас.

Итак, урок начался, и мистер Чадомор показал себя с наилучшей стороны. Он был из тех школьных учителей, которых в количестве ста сорока штук недавно изготовили в одно и то же время, на одной и той же фабрике, по одному и тому же образцу, точно партию ножек для фортепьяно. Его прогнали через несметное множество экзаменов, и он ответил на бесчисленные головоломные вопросы. Орфографию, этимологию, синтаксис и просодию^[4], астрономию, географию и общую космографию, тройное правило^[5], алгебру и геодезию, пение и рисование с натуры — все это он знал как свои пять холодных пальцев. Путь его был тернист, но он достиг списка В, утвержденного Тайным советом ее величества^[6], и приобщился к высшей математике и физическим наукам,

усвоил французский язык, немецкий, греческий и латынь. Он знал все о всех водоразделах мира (сколько бы их ни было), знал историю всех народов, названия всех рек и гор, нравы и обычаи всех стран и что в какой производят, границы каждой из них и положение относительно тридцати двух румбов компаса. Не многовато ли, мистер Чадомор? Ах, если бы он чуть поменьше знал, насколько лучше он мог бы научить неизмеримо большему!

На этом первом вводном уроке он поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Баба и сорок разбойников^[7] — а именно, начал с того, что заглянул по очереди во все кувшины, выставленные перед ним, дабы ознакомиться с их содержимым. Скажи по совести, милейший Чадомор: уверен ли ты, что всякий раз, когда ты до краев наполнишь сосуд кипящей смесью своих знаний, притаившийся на дне разбойник — детское воображение — будет сразу умерщвлен? Или может случиться, что ты только искалечишь и изуродуешь его?

Глава III

Щелка

Мистер Грэдграйнд отправился из школы домой в превосходном расположении духа. Это его школа, и он сделает ее образцовой. Каждый ребенок в этой школе будет таким же образцовым ребенком, как юные отпрыски самого мистера Грэдграйнда.

Юных отпрысков было пятеро, и все они до единого могли служить образцами. Просвещать их начали с самого нежного возраста; гоняли точно молодых зайцев. Едва они научились ходить без посторонней помощи, как их заставили ходить в классную комнату. Первый предмет, появившийся в поле их зрения и глубоко врезавшийся им в память, была большая классная доска, на которой страшный Людоед чертил злоеющие белые знаки.

Разумеется, отпрыски и не подозревали о существовании Людоеда и даже имени такого никогда не слышали. Боже упаси! Я просто пользуюсь этим словом, чтобы описать чудовище с несметным числом голов, втиснутых в одну, которое похищает детей и за волосы тащит их в статистические клетки своего мрачного замка учености.

Никто из малолетних Грэдграйндов не говорил никогда, что луна улыбается: они знали все про луну еще до того, как научились говорить. Никто из них никогда не лепетал глупый стишок: «В небе звездочка зажглась, а откуда ты взялась?» — и никто из них никогда не задавал себе такого вопроса: пяти лет от роду они уже умели анатомировать Большую Медведицу не хуже профессора Оуэна^[8] и водить звездный Воз^[9], как машинист водит поезд. Ни один из малолетних Грэдграйндов, увидев корову на лугу, не вспоминал о всем известной корове безрогой^[10], лягнувшей старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, или о той прославленной корове, что проглотила мальчика с пальчик; об этих знаменитостях они не знали ровно ничего, и для них корова была только травоядное жвачное четвероногое с несколькими желудками.

Итак, мистер Грэдграйнд, весьма довольный собой, шествовал к своему дому — истинному кладезю фактов, — именуемому Каменный Приют. Он выстроил этот дом после того, как ушел на покой из принадлежащей ему оптовой торговли скобяным товаром, и теперь поджидал удобный случай увеличить собой сумму единиц, составляющих

парламент. Каменный Приют стоял на пустоши в полутора милях от большого города, который в настоящем достоверном путеводителе носит название «Кокстаун».

Каменный Приют являл собой весьма отчетливую особенность рельефа местности. Никакие ухищрения не смягчали и не затушевывали эту ничем не прикрытую деталь пейзажа — она утверждала себя как неумолимый и бесспорный факт: большое, похожее на ящик двухэтажное здание с массивной колоннадой, затеняющей нижние окна, как густые нависшие брови затеняли глаза его владельца. Все высчитано, все вычислено, взвешено и выверено. Шесть окон по одну сторону двери, шесть — по другую; итого по фасаду двенадцать в правом крыле, двенадцать в левом и соответственно — двадцать четыре в задней стене. Лужайка, сад и зачатки аллеи, разграфленные по линейке, словно ботаническая счетная книга. Газовое освещение, вентиляторы, канализация и водопровод — все безупречного устройства. Скобы и скрепы железные — полная гарантия от пожара; имеются механические подъемники для служанок с их швабрами, тряпками и щетками; словом — все, чего только можно пожелать.

Все ли? По-видимому, так. Малолетним Грэдграйндам предоставлены пособия для всевозможных научных занятий. У них есть небольшая конхиологическая коллекция^[11], небольшая металлургическая коллекция и небольшая минералогическая коллекция; образцы минералов и руд выложены в строжайшем порядке и снабжены ярлычками, и так и кажется, что они были отколоты от материнской породы при помощи их собственных головоломных названий. И ежели всего этого малолетним Грэдграйндам было мало, то чего же еще, скажите на милость, им было надобно?

Родитель их возвращался домой не спеша, в самом радужном и приятном настроении. Он по-своему любил своих детей, был нежный отец, но сам (если бы от него, как от Сесси Джуп, потребовали бы точного определения), вероятно, назвал бы себя «в высшей степени практическим отцом». Он вообще чрезвычайно гордился выражением «в высшей степени практический», которое особенно часто применяли к его особе. Какое бы публичное собрание ни состоялось в Кокстауне, и о чем бы ни шла речь на этом собрании, можно было поручиться, что один из ораторов непременно воспользуется случаем и помянет своего в высшей степени практического друга Грэдграйнда. Практический друг неизменно слушал это с удовольствием. Он знал, что ему только воздают должное, но все же было приятно.

Он уже достиг окраин Кокстауна и ступил на нейтральную почву, другими словами — очутился в местности, которая не была ни городом, ни деревней, но обладала худшими свойствами и города и деревни, когда до слуха его донеслись звуки музыки. Барабаны и трубы бродячего цирка, обосновавшегося здесь, в дощатом балагане, наяривали во всю мочь. Флаг, развевавшийся на вышке этого храма искусства, возвещал всему миру о том, что на благосклонное внимание публики притязает не что иное, как «Цирк Слири». Сам Слири, поставив возле себя денежный ящик, расположился — точно монументальная современная скульптура — в будке, напоминавшей нишу собора времен ранней готики, и принимал плату за вход. Мисс Джозефина Слири, как можно было прочесть на очень длинных и узких афишах, открывала программу своим коронным номером — «конно-тирольской пляской цветов». Среди прочих забавных, но неизменно строго-благопристойных чудес, — которые нужно увидеть воочию, чтобы поверить в них, — афиша сулила выступление синьора Джупа и его превосходно дрессированной собаки Весельчак. Кроме того, будет показан знаменитый «железный фонтан» — лучший номер синьора Джупа, состоящий в том, что семьдесят пять центнеров железа, подбрасываемые вверх его могучей рукой, сплошной струей поднимаются в воздух, — номер, подобного которому еще не бывало ни в нашем отечестве, ни за его пределами, и который ввиду неизменного и бешеного успеха у публики не может быть снят с программы. Тот же синьор Джуп «в промежутках между номерами будет оживлять представление высоконравственными шутками и остротами в шекспировском духе^[12]». И в заключение синьор Джуп сыграет свою любимую роль — роль мистера Уильяма Баттона с Тули-стрит в «чрезвычайно оригинальном и преуморительном ипповодевилье „Путешествие портного в Брентфорд“.

Томас Грэдграйнд, разумеется, и не глянул на эту пошлую суету и проследовал дальше, как и подобает человеку практическому, стараясь отмахнуться от шумливых двуногих козявок и мысленно отправляя их за решетку. Но поворот дороги привел его к задней стене балагана, а у задней стены балагана он увидел сборище детей и увидел, что дети, в самых противоестественных позах, украдкой заглядывают в щелку, дабы хоть одним глазком полюбоваться волшебным зрелищем.

Мистер Грэдграйнд остановился.

— Уж эти бродяги, — проговорил он, — они соблазняют даже питомцев образцовой школы.

Так как от юных питомцев его отделяла полоса земли, где между кучами мусора пробивалась чахлая травка, он вынул из жилетного кармана

лорнет и стал вглядываться — нет ли здесь детей, известных ему по фамилии, которых он мог бы окликнуть и прогнать отсюда. И что же открылось его взорам! Явление загадочное, почти невероятное, хотя и отчетливо зримое: его родная дочь, металлургическая Луиза, прильнув к сосновым доскам, не отрываясь смотрела в дырочку, а его родной сын, математический Томас, самым унижительным образом ползал по земле, в надежде увидеть хоть одно копыто из «конно-тирольской пляски цветов»!

Мистер Грэдграйнд в немом изумлении подошел к своим чадам, занятым столь позорным делом, и, тронув за плечо блудного сына и блудную дочь, воскликнул:

— Луиза!! Томас!!

Оба вскочили, красные и сконфуженные. Но Луиза смотрела на отца смелее, нежели Томас. Собственно говоря, Томас вовсе не смотрел на него, а покорно, словно машина, дал оттащить себя от балагана.

— Вот она, праздность, вот безрассудство! — восклицал мистер Грэдграйнд, хватая обоих за руки и уводя их прочь. — Ради всего святого — что вы здесь делаете?

— Хотели посмотреть, что там такое, — коротко отвечала Луиза.

— Посмотреть, что там такое?

— Да, отец.

В обоих детях, особенно в девочке, чувствовалось какое-то угрюмое недовольство; но сквозь хмурое выражение ее лица пробивался свет, которому нечего было озарять, огонь, которому нечего было жечь, изголодавшееся воображение, которое как-то умудрялось существовать, и потому лицо Луизы все же казалось оживленным. Это было не то естественное, веселое оживление, которое свойственно счастливому детству, но опасливое, судорожное, болезненное, какое вспыхивает на лице слепого, ощупью бредущего по дороге.

Луизе шел шестнадцатый год; полуробенек, но недалек тот день, когда она внезапно превратится в женщину. Так думал ее отец, глядя на нее. Хороша собой. Была бы своевольна, будь она иначе воспитана (заклучил он с присущей ему практичностью).

— Томас! Даже имея перед глазами бесспорный факт, я едва могу поверить, что ты, с твоим воспитанием, с твоим умственным развитием, решился привести сестру в такое неподобающее место.

— Это я привела Тома, — торопливо сказала Луиза. — Я позвала его с собой.

— Грустно, очень, очень грустно. Это не уменьшает его вины, а твою увеличивает, Луиза.

Она опять посмотрела ему в лицо, но глаза ее были сухи.

— Подумай! Томас и ты, которым открыт доступ ко всем наукам; Томас и ты, которые, можно сказать, насыщены фактами; Томас и ты, которые приучены к математической точности; и вдруг — Томас и ты — здесь! — воскликнул мистер Грэдграйнд. — И за каким недостойным занятием! Уму непостижимо.

— Мне было скучно, отец. Мне уже давно скучно, — сказала Луиза. — Надоело.

— Надоело? Что же тебе надоело? — спросил изумленный отец.

— Сама не знаю. Кажется, все на свете.

— Довольно! — прервал ее мистер Грэдграйнд. — Это ребячество. И слушать не хочу. — Больше он ничего не прибавил и только после того, как они молча прошли с полмили, у него вырвались негодующие слова: — Что бы сказали твои друзья, Луиза? Разве ты не дорожишь их добрым мнением? Что скажет мистер Баундерби?

При упоминании этого имени Луиза украдкой бросила на отца быстрый испытующий взгляд. Но мистер Грэдграйнд ничего не заметил, потому что она опустила глаза прежде, чем он посмотрел на нее.

— Что скажет мистер Баундерби? — повторил он. И всю дорогу до дому, уводя в Каменный Приют обоих малолетних преступников, он время от времени повторял с возмущением: — Что скажет мистер Баундерби? — словно мистер Баундерби был вовсе не мистер и не Баундерби, а пресловутая миссис Гранди^[13].

Глава IV

Мистер Баундерби

А ежели мистер Баундерби не миссис Гранди, то кто же он такой?

Мистер Баундерби, можно сказать, самый закадычный, самый близкий друг мистера Грэдграйнда, поскольку вообще уместно говорить об узах дружбы между двумя людьми, в равной мере лишенными теплых человеческих чувств. Именно такого близкого — или, если угодно, далекого — друга имеет мистер Грэдграйнд в лице мистера Баундерби.

Мистер Баундерби — известный богач; он и банкир, и купец, и фабрикант, и невесть кто еще. Он толст, громогласен, взгляд у него тяжелый, смех — металлический. Сделан он из грубого материала, который, видимо, пришлось сильно натягивать, чтобы получилась такая туша. Голова у него большая, словно раздутая, лоб выпуклый, жилы на висках как веревки, кожа лица такая тугая, что кажется, будто это она не дает глазам закрыться и держит брови вздернутыми. В общем и целом, он сильно напоминает воздушный шар, который только что накачали и вот-вот запустят. Он очень не прочь похвастаться, и хвастает он преимущественно тем, что сам вывел себя в люди. Он неустанно, во всеуслышание — ибо голос у него что медная труба — твердит о своем былом невежестве и былой бедности. Чванное смирение — его главный козырь.

Мистер Баундерби года на два моложе своего в высшей степени практического друга, но выглядит старше: к его сорока семи или сорока восьми годам можно бы свободно прибавить еще семь-восемь лет, ни в ком не вызвав удивления. Волос у него немного. Вероятнее всего, они повылезали со страху, что он заговорит их до смерти, а те, что остались, торчат во все стороны, потому что их постоянно треплют порывы его бурного бахвальства.

В чопорной гостиной Каменного Приюта на коврике перед камином стоял мистер Баундерби и, греясь у огня, делился с миссис Грэдграйнд своими мыслями по поводу того, что нынче день его рождения. Стоял же он перед камином, во-первых, потому, что денек выдался хоть и солнечный, но еще по-весеннему прохладный; во-вторых, потому, что дух непросохшей штукатурки отказывался покинуть сумрачные покои Каменного Приюта; и в-третьих, потому, что таким образом он занимал господствующее положение и мог смотреть на миссис Грэдграйнд сверху вниз.

— Что такое обувь, я знать не знал. А что до чулок, — даже слова

такого никогда не слышал. День я проводил в канаве, а ночь в свинарнике. Именно так я отпраздновал свое десятилетие. Но канава не была мне в новинку. Я и родился в канаве.

Миссис Грэдграйнд — маленькая, щуплая женщина, очень бледная, с красноватыми глазами, вся увязанная в платки и шали, равно немощная и плотью и духом, которая вечно без всякой пользы глотала лекарства и которую каждый раз, как она подавала признаки жизни, оглушало увесистым осколком какого-нибудь факта, — выразила надежду, что в канаве было сухо.

— Ничего подобного! Было очень мокро. Вода стояла по колено, — заявил мистер Баундерби.

— Так можно простудить ребенка, — заметила миссис Грэдграйнд.

— Простудить? Да я родился с воспалением легких, и не только легких, а думается мне, всего прочего, что только может воспалиться, — отвечал мистер Баундерби. — Ежели бы вы знали, сударыня, каким жалким заморышем я был когда-то. Такой больной и хилый, что я только и делал, что пищал и визжал. Такой оборванный и грязный, что вы и щипцами не захотели бы дотронуться до меня.

В ответ на это миссис Грэдграйнд неуверенно покосилась на каминные щипцы, вероятно решив, по слабоумию своему, что ничего более подходящего к случаю и не придумаешь.

— И как только я выжил? — продолжал мистер Баундерби. — Просто понять не могу. Уж такой нрав, видимо. У меня очень решительный нрав, сударыня, и, видимо, таким я уродился. И вот, миссис Грэдграйнд, я здесь перед вами, и благодарить мне некого — сам всего достиг.

Миссис Грэдграйнд едва слышно выразила надежду, что его мать...

— Моя мать? Сбежала, сударыня! — выпалил мистер Баундерби.

Миссис Грэдграйнд, по своему обыкновению, не выдержала удара и сдалась.

— Моя мать бросила меня на бабушку, — сказал Баундерби, — и ежели мне не изменяет память, такой мерзкой и гнусной старухи, как моя бабушка, свет не видал. Бывало, посчастливится мне раздобыть пару башмачков, а она стащит их с меня, продаст и напьется. Сколько раз на моих глазах она еще в постели, до завтрака, выдувала четырнадцать стаканов джина!

Миссис Грэдграйнд, слушавшая его со слабой улыбкой на устах, но без каких-либо иных признаков жизни, больше всего походила сейчас (как, впрочем, и всегда) на посредственно исполненный и скудно освещенный транспарант, изображающий женскую фигурку.

— Она держала мелочную торговлю, — продолжал Баундерби, — а меня держала в ящике из-под яиц. Вот какая у меня была колыбелька — старый ящик из-под яиц. Едва я чуть-чуть подрос, я, конечно, сбежал. И сделался я бродяжкой. И уже не одна только старуха помыкала мной и морила голодом, а все, и стар и млад, помыкали мной и морили голодом. Я их не виню: так и следовало. Я был для всех помехой, обузой, чумой. Я отлично сам это знаю.

Мысль о том, что в его жизни была пора, когда он сподобился быть помехой, обузой и чумой, переполнила мистера Баундерби гордостью, и чтобы дать ей выход, он трижды во весь голос повторил эти слова.

— Пришлось как-то вылезать, миссис Грэдграйнд. Хорошо ли, плохо ли, но я это сделал. Я вылез, сударыня, хотя никто не бросил мне веревку. Бродяга, мальчик на побегушках, опять бродяга, поденщик, рассыльный, приказчик, управляющий, младший компаньон и, наконец, Джосайя Баундерби из Кокстауна. Таковы вехи моего восхождения к вершине. Джосайя Баундерби из Кокстауна учился грамоте по вывескам, сударыня, а узнавать время по башенным часам на лондонской церкви святого Джайлса под руководством пьяного калеки, который к тому же был злостный бродяга, осужденный за воровство. А вы мне, Джосайе Баундерби из Кокстауна, толкуете о сельских школах, об образцовых школах для учителей и еще невесть о каких школах. Так вот, Джосайя Баундерби из Кокстауна заявляет вам: отлично, превосходно — хотя ему, правда, суждено было иное, — но люди нам нужны с крепкой головой и дюжими кулаками; не каждому под силу то воспитание, которое он сам получил, — это ясно, однако такое воспитание он получил, и вы можете заставить его, Джосайю Баундерби, глотать кипящее сало, но вы не заставите его отречься от фактов своей жизни.

Утомленный собственным красноречием, Джосайя Баундерби из Кокстауна остановился. И остановился как раз в ту минуту, когда его в высшей степени практический друг, все еще держа за руку обоих маленьких арестантов, вошел в комнату. Увидев Баундерби, в высшей степени практический друг его тоже остановился и устремил на Луизу укоризненный взор, говоривший яснее слов: «Видишь, вот тебе и Баундерби!»

— Ну-с, — затрубил мистер Баундерби, — что случилось? Почему Томас-младший нос повесил?

Спрашивал он о Томасе, но глядел на Луизу.

— Мы смотрели в щелку на цирковое представление, — не поднимая глаз, вызывающе отвечала Луиза, — и отец застал нас.

— Мог ли я ожидать этого, сударыня! — строго сказал мистер Грэдграйнд, обращаясь к своей супруге. — Теперь еще только не хватает, чтобы я увидел их за чтением стихов.

— Ах, боже мой, — захныкала миссис Грэдграйнд. — Луиза! Томас! Да что же это вы? Я просто удивляюсь вам. Вот имей после этого детей! Ну как тут не подумать, что лучше бы их вовсе у меня не было. Хотела бы я знать, что бы вы тогда стали делать!

Несмотря на железную логику этих слов, мистер Грэдграйнд остался недоволен. Он досадливо поморщился.

— Неужели вы, зная, что у матери мигрень, не могли посмотреть на свои ракушки и минералы и на все, что вам полагается? — продолжала миссис Грэдграйнд. — Зачем вам цирк? Вы не хуже меня знаете, что у детей не бывает ни учителей из цирка, ни цирковых коллекций, ни занятий по цирку. Что вам понадобилось знать о цирке? Делать вам нечего, что ли? С моей мигренью я и названий всех фактов не припомню, которые вам нужно выучить.

— Вот в этом-то и причина! — упрямо сказала Луиза.

— Пустое ты говоришь, это не может быть причиной, — возразила миссис Грэдграйнд. — Ступайте сейчас же и займитесь своими ологиями. — Миссис Грэдграйнд была несведуща в науках и, отсылая своих детей к занятиям, всегда пользовалась этим всеобъемлющим названием, предоставляя им самим выбрать подходящий предмет.

Надо сказать, что вообще запас фактов, которым располагала миссис Грэдграйнд, был нищенски скуден; но мистер Грэдграйнд, возводя ее в ранг супруги, руководствовался двумя соображениями: во-первых, она олицетворяла собой вполне приемлемую сумму, а во-вторых, была «без фокусов». Под «фокусами» он подразумевал воображение; и поистине, вряд ли нашлось бы другое человеческое существо, которое, не будучи идиотом от рождения, было бы вместе с тем столь же безгрешно в этом смысле.

Оставшись наедине со своим мужем и мистером Баундерби, почтенная леди так потерялась от этого, что даже не понадобилось столкновения с каким-нибудь новым фактом: она снова умерла для мира, и никто уже не глядел в ее сторону.

— Баундерби, — заговорил мистер Грэдграйнд, придвигая кресло к камину. — Вы всегда принимаете живейшее участие в моих детях — особенно в Луизе, поэтому я, не таясь, могу сказать вам, что сильно раздосадован моим открытием. Я постоянно и неуклонно (как вам известно) стремился развивать в моих детях разум. Все воспитание ребенка

(как вам известно) должно быть направлено единственно на развитие разума. И вот, Баундерби, исходя из непредвиденного случая, происшедшего нынче, — хотя сам по себе он и кажется пустяком, — нельзя не предположить, что в сознание Томаса и Луизы вкралось нечто, являющееся... или, вернее, не являющееся... словом, — нечто, не имеющее ничего общего с разумом и отнюдь не предусмотренное моей системой воспитания.

— Могу засвидетельствовать, — отвечал Баундерби, — что интересоваться кучкой бродяг весьма неразумно. Когда я был бродягой, никто не интересовался мной. Уж в этом не сомневайтесь.

— Вопрос стоит так: в чем источник такого низменного любопытства? — сказал в высшей степени практический родитель, сосредоточенно глядя в огонь.

— Я вам отвечу: в праздном воображении.

— Неужели это возможно? Хотя должен сознаться, что эта страшная мысль приходила мне на ум, когда я шел с ними домой.

— В праздном воображении, Грэдграйнд, — повторил Баундерби. — Это всем вредно, а для такой девушки, как Луиза, это просто черт знает что. Я не прошу миссис Грэдграйнд извинить меня за крепкое словцо — она знает, что я человек неотесанный. Никому не советую ожидать от меня изысканных манер. Не такое я получил воспитание.

— Может быть, — рассуждал мистер Грэдграйнд, глубоко засунув руки в карманы и устремив взор из-под нависших бровей на огонь, — может быть, кто-нибудь из учителей или слуг что-нибудь внушил им? Может быть, Луиза или Томас вычитали нечто подобное? Может быть, вопреки всем мерам предосторожности в дом проникла книга глупых рассказов? Иначе, как же объяснить такое странное, непостижимое явление в детях, которые с колыбели развивались по всем правилам практического воспитания?

— Стойте! — закричал Баундерби, все еще маяча на коврике перед камином и своим воинственным самоуничижением бросая вызов даже мебели, которой была обставлена комната. — Да у вас в школе учится дочь одного из этих циркачей.

— Сесилия Джуп, — подтвердил мистер Грэдграйнд, не без смущения глядя на своего друга.

— Стойте, стойте! — опять закричал Баундерби. — А как она попала туда?

— Я сам до нынешнего дня не видел этой девочки. Но факт тот, что она приходила сюда с просьбой принять ее, хотя она не живет постоянно в

нашем городе, и... да, да, Баундерби, вы правы, вы безусловно правы.

— Стойте, стойте! — еще раз крикнул Баундерби. — Когда она приходила, Луиза видела ее?

— Луиза, несомненно, видела Сесилию Джуп, потому что именно Луиза сказала мне, о чем она просит. Но я уверен, что Луиза видела ее в присутствии миссис Грэдграйнд.

— Будьте добры, миссис Грэдграйнд, — сказал Баундерби, — расскажите, как это было?

— Ах, боже мой! — простонала миссис Грэдграйнд. — Ну, девочка хотела ходить в школу, а мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили в школу, а Луиза и Томас сказали, что девочка хочет ходить и что мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили, и как я могла спорить против такого очевидного факта?

— Так вот что, Грэдграйнд! — сказал мистер Баундерби. — Выгоните вон эту девчонку, и дело с концом.

— Я склоняюсь к тому же мнению.

— Делать так делать — всегда было моим правилом, с самого детства, — сказал Баундерби. — Когда я решил бежать от моей бабушки и от моего ящика из-под яиц, я сделал это немедленно. И вы действуйте так же. Прогоните ее немедленно!

— Вы не откажетесь пройтись? — спросил мистер Грэдграйнд. — У меня есть адрес ее отца. Может быть, мы вместе прогуляемся в город?

— С удовольствием, — отвечал мистер Баундерби, — лишь бы дело было сделано, и немедленно!

Итак, мистер Баундерби нахлобучил шляпу — иначе он никогда не надевал ее, как и подобает тому, кто сам вывел себя в люди и не имел времени приобщиться к искусству изящного ношения шляп, — и, засунув руки в карманы, не спеша вышел в сени. «Не признаю перчаток, — любил он повторять. — Я без них карабкался вверх. Иначе я бы не залез так высоко».

Мистер Грэдграйнд поднялся к себе за адресом, а мистер Баундерби, постояв немного в сенях, отворил одну из дверей и заглянул в классную — тихую светлую комнату, устланную ковром, которая, однако, вопреки книжным шкафам, коллекциям, всевозможным приборам и наглядным пособиям была едва ли не скучнее самой заурядной цирюльни. Луиза, лениво облокотившись на подоконник, рассеянно смотрела в окно, а Томас, обиженно сопя, стоял у камина. Двое других отпрысков семейства Грэдграйнд — Адам Смит и Мальтус^[14] — отбывали срок обучения вне стен отчего дома, а малютка Джейн, вся измазанная влажной глиной,

полученной из смеси грифеля и слез, уснула над простыми дробями.

— Полно тебе, Луиза, полно, Томас, — сказал мистер Баундерби. — Вы больше не будете этого делать и все. Я замолвлю за вас словечко перед вашим отцом. Ну как, Луиза? Стоит это поцелуя?

— Извольте, мистер Баундерби, — помолчав, холодно отвечала Луиза; она медленно пересекла комнату и, отвернувшись, нехотя подставила ему щеку.

— Ты ведь знаешь, что ты моя любимица, — сказал мистер Баундерби. — До свидания, Луиза!

Он ушел, а Луиза осталась стоять у дверей и все терла и терла носовым платком щеку, которую он поцеловал. Прошло пять минут, щека уже стала огненно-красной, а Луиза все еще не отнимала платка.

— Что с тобой, Луиза? — хмуро проговорил Томас. — Этак дырку протрешь.

— Можешь взять свой ножик и вырезать это место. Не заплачу!

Глава V

Основной лад

Кокстаун, куда проследовали господа Баундерби и Грэдграйнд, был торжеством факта; в нем так же не нашлось бы и намека на «фокусы», как в самой миссис Грэдграйнд. Прислушаемся к этому основному ладу — Кокстаун, — прежде чем мы продолжим нашу песнь.

То был город из красного кирпича, вернее он был бы из красного кирпича, если бы не копоть и дым; но копоть и дым превратили его в город ненатурально красно-черного цвета — словно размалеванное лицо дикаря. Город машин и высоких фабричных труб, откуда, бесконечно вися змеиными кольцами, неустанно поднимался дым. Был там и черный канал, и река, лиловая от вонючей краски, и прочные многооконные здания, где с утра до вечера все грохотало и тряслось и где поршень паровой машины без передышки двигался вверх и вниз, словно хобот слона, впавшего в тихое помешательство. По городу пролегало несколько больших улиц, очень похожих одна на другую, и много маленьких улочек, еще более похожих одна на другую, населенных столь же похожими друг на друга людьми, которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний, и каждый год — подобием прошлого года и будущего.

Все эти приметы Кокстауна были неотъемлемы от рода труда, которым жил город. Их неприглядность оправдывали кокстаунские изделия — предметы утонченного комфорта, проникавшие во все уголки земного шара, и предметы роскоши, которыми светская леди не в малой мере обязана была городу, чье имя и то внушало ей отвращение. Остальные черты Кокстауна не вызывались необходимостью, и сводились они к следующему:

В Кокстауне все было выдержано в строго будничном стиле. Если члены религиозной общины строили часовню — а именно так и поступили члены всех восемнадцати религиозных общин, — они возводили молитвенный пакгауз из красного кирпича, увенчанный (и то лишь в случаях крайнего расточительства) птичьей клеткой, в которой болтался колокол. Единственное исключение составляла Новая церковь — оштукатуренное здание, имевшее над входом квадратную колокольню, которая оканчивалась вверху четырьмя короткими шпицами, похожими на

толстенные деревянные ноги. Все официальные надписи в городе были одинаковые — строгие, без всяких завитушек буквы, выведенные черной и белой краской. Больница могла бы быть тюрьмой, тюрьма — больницей, ратуша либо больницей либо тюрьмой, либо тем и другим, или еще чем-нибудь, так как архитектурные красоты всех трех зданий ничем между собой не разнились. Факты, факты и факты — повсюду в вещественном облике города; факты, факты и факты — повсюду в невещественном. Школа супругов Чадомор была сплошным фактом, сплошным фактом была и школа рисования, и отношения между хозяевами и рабочими тоже были сплошным фактом, и весь путь от родильного приюта до кладбища был фактом, а все, что не укладывалось в цифры, что не покупалось по самой дешевой цене и не продавалось по самой дорогой, — всего этого не было, и быть не должно во веки веков, аминь.

Город, где факт чтили, как святыню, где факт восторжествовал и утвердился столь прочно, — такой город, разумеется, благоденствовал? Да нет, не сказать, чтобы очень. Нет? Быть не может!

Нет. Кокстаун не вышел с блеском из собственных домен, словно золото, выдержавшее испытание огнем. Прежде всего возникал недоуменный вопрос: кто принадлежит к восемнадцати религиозным общинам? Ибо если кто и принадлежал к ним, то уж никак не рабочий люд. Гуляя воскресным утром по городу, нельзя было не изумиться тому, как мало рабочих откликается на варварский трезвон, доводящий до исступления слабонервных и больных, как трудно заставить их покинуть свой квартал, свое душное жилье, свой перекресток, где они топчутся, позевывая и равнодушно взирая на идущих в церкви и часовни, словно это их ничуть не касается. И не только приезжие замечали это; в самом Кокстауне имелаась лига, члены которой каждую сессию направляли в парламент гневные петиции с требованием издать строжайшие законы, предусматривающие насильственное насаждение благочестия среди рабочих. Затем имелось Общество Трезвости, которое сетовало на то, что рабочие любят пьянствовать, и при помощи статистических таблиц доказывало, что они в самом деле пьянствуют, и члены Общества, собравшись за чашкой чаю, утверждали, что никакие силы — ни земные, ни небесные (за исключением медали Общества) не могут помешать им предаваться пьянству. Затем имелись аптекари, которые, тоже при помощи таблиц, доказывали, что ежели рабочие не пьют, то они одурманивают себя опиумом. Затем имелся многоопытный тюремный священник, вооруженный новыми таблицами, затмевающими все предыдущие, который доказывал, что как ни бейся, а рабочие упорно посещают тайные

притоны, где они слышат безнравственные песни и видят безнравственные пляски, и даже, быть может, сами поют и пляшут; именно такой притон — по свидетельству одного преступника (к сожалению, лишь отчасти достойного доверия), которого на двадцать четвертом году жизни приговорили к восемнадцати месяцам одиночного заключения, — именно такой притон и явился причиной его несчастья, ибо он не сомневался, что, не попади он туда, из него вышел бы образец добродетели. Затем имелись мистер Грэдграйнд и мистер Баундербри, известные своей: практичностью, которые сейчас шествовали по Кокстауну и которые могли бы, в случае необходимости, тоже представить сведения, основанные на личном опыте и подтвержденные примерами, очевидцами коих они были, из каковых примеров совершенно ясно, — в сущности одно только и ясно в данном случае, — что это люди, милостивые государи, без стыда и совести; что сколько для них ни делай, благодарности не жди; народ они, милостивые государи, беспокойный, сами не знают, чего хотят; живетсЯ им, дай бог всякому, сливочное масло у них не переводится, кофе пьют только мокко, из говядины потребляют одну вырезку, и все же вечно недовольны, просто никакого сладу с ними нет.

Словом, как говорится в старой детской побасенке:

Жила-была бабка, и что же, друзья?
Было вдоволь у бабки еды и питья.
И бабка та ела, еду запивала,
А все-таки старая бабка ворчала.

Хотел бы я знать, возможно ли, что поведение кокстаунских рабочих имело нечто общее с проступком малолетних Грэдграйндов? Кто в наше время, будучи в здравом уме и достаточно сведущим по части цифр, не понимает, что десятилетиями одну из важнейших сторон в жизни тружеников Кокстауна заведомо сводили на нет? Что они наделены воображением, которое требует свободного выхода вместо судорожных потуг? Что прямо пропорционально их томительно долгой и однообразной работе в них возрастает не только потребность физического отдыха, но и жажда заслуженного досуга, дабы они могли с полным правом рассеяться, повеселиться — пусть это будет всего лишь незатейливая пляска под зажигательную музыку или другая, столь же невинная забава, в которую даже мистер Чадомор не имел бы права совать свой нос; и что эту жажду надо безотлагательно утолить, иначе она неизбежно будет обращаться во

зло — до тех пор пока законы бытия не потеряют силу?

— Джуп живет на Подс-Энд, а я точно не помню, где эта улица, — сказал мистер Грэдграйнд. — Может быть, вы знаете, Баундерби?

Мистер Баундерби знал только, что это где-то в торговой части города, и больше ничего. Они остановились, озираясь по сторонам.

В ту же минуту из-за угла выбежала девочка — она бежала со всех ног, и лицо у нее было испуганное; мистер Грэдграйнд тотчас узнал ее.

— Что такое? — сказал он. — Стой! Стой! Куда ты мчишься?

Ученица номер двадцать, едва переводя дух, остановилась и присела.

— Что это ты носишься по улицам? — сказал мистер Грэдграйнд. — Разве так можно?

— За мной... за мной гнались, сэр, — задыхаясь, отвечала девочка, — Я и убежала.

— Гнались за тобой? — переспросил мистер Грэдграйнд. — Кому придет в голову гнаться за тобой?

Ответ на свой вопрос мистер Грэдграйнд получил самым внезапным и неожиданным образом, — ибо раньше чем Сесси успела открыть рот, из-за угла галопом вынесся белобрысый мальчишка и, не ожидая встретить препятствие, со всего размаха ударился о жилет мистера Грэдграйнда и отлетел на мостовую.

— Что такое, Битцер? — сказал мистер Грэдграйнд. — Что ты делаешь? Как ты смеешь так наскакивать на... на людей!

Битцер, подобрав шапку, упавшую с головы от толчка, попятился, стукнул себя костяшками пальцев по лбу и смиренно сказал, что «он нечаянно».

— Это он гнался за тобой, Джуп? — спросил мистер Грэдграйнд.

— Да, сэр, — с запинкой отвечала девочка.

— Неправда, сэр, неправда! — закричал Битцер. — Она первая побежала. Всем известно, что циркачи всегда болтают зря. Ты сама отлично это знаешь, — повернулся он к Сесси, — все говорят, что циркачи болтают зря. Весь город это знает так же твердо, как таблицу умножения, которой, кстати сказать, сэр, циркачи не знают. — Этим Битцер хотел угодить мистеру Баундерби.

— Он напугал меня, — сказала девочка. — Такие страшные рожи корчил!

— Ах вот ты как? — крикнул Битцер. — Ну, конечно, и ты такая же! Циркачка! Да я, сэр, и не глядел на нее. Я только спросил, сумеет ли она завтра определить, что есть лошадь, — не то я могу объяснить ей еще раз. Тут она убежала, и я побежал за ней, сэр, чтобы она сумела ответить, когда

ее спросят. Ты оттого и наговариваешь на меня, что ты циркачка!

— Я вижу, что дети отлично знают, кто она, — заметил мистер Баундерби. — Еще неделя, и вся школа уже подглядывала бы в щелку.

— Вы совершенно правы, — отвечал мистер Грэдграйнд. — Битцер, кругом марш и отправляйся домой. Джуп, подожди минутку. А ты, Битцер, ежели я еще раз узнаю, что ты как сумасшедший носишься по улицам, ты услышишь обо мне от своего учителя. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, ступай.

Мальчик, все время усиленно моргавший, еще раз стукнул себя костяшками по лбу, глянул на Сесси, повернулся и ушел.

— А теперь, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, — проводи меня и этого джентльмена к твоему отцу. Мы к нему шли. Что это у тебя в бутылке?

— Джин, конечно. — сказал мистер Баундерби.

— Что вы, сэр! Это девять масел.

— Как ты сказала? — вскричал мистер Баундерби.

— Девять масел, сэр. Я этим растираю отца.

— Какого дьявола, — захохотал мистер Баундерби, — ты растираешь отца девятью маслами?

— У нас все так делают, сэр, когда повредят себе что-нибудь на арене, — отвечала девочка, оглядываясь через плечо, чтобы удостовериться, что ее преследователь ушел. — Иногда они очень больно расшибаются.

— Так им и надо, — сказал мистер Баундерби, — пусть не бездельничают.

Сесси со страхом и недоумением подняла на него глаза.

— Черт возьми! — продолжал мистер Баундерби. — Я был моложе тебя лет на пять, когда уже познакомился с такими ушибами, что ни десять масел, ни двадцать, ни сорок не помогли бы. И ушибался я не оттого, что паясничал, а оттого, что мною швырялись. Мне не довелось плясать на канате, я плясал на голой земле, а канатом меня подстегивали.

Мистер Грэдграйнд, хоть и не отличался мягкосердечием, однако далеко не был столь черствым человеком, как мистер Баундерби. Он, в сущности, по натуре был не злой; и быть может, оказался бы даже добряком, если бы много лет тому назад допустил какую-нибудь ошибку, подытоживая черты своего характера. Когда Сесси привела их в узкий переулок, он сказал ей тоном, который в его устах был верхом дружелюбия:

— Значит, это и есть Подс-Энд, Джуп?

— Да, сэр, это Подс-Энд. А вот и наш дом, сэр, уж не взыщите.

Она остановилась перед убогим трактиром, в котором тускло светились красные огоньки; в сгущающихся сумерках трактир казался таким обшарпанным и жалким, словно за неимением посетителей он сам пристрастился к спиртному, пошел по дорожке, уготованной всем пьяницам, и вот-вот достигнет конца ее.

— Надо только пройти через распивочную, сэр, и подняться по лестнице. Пожалуйста, подождите меня наверху одну минуточку, пока я зажгу свечку. Если залает собака, сэр, вы не бойтесь — это наш Весельчак, он не кусается.

— «Весельчак», «девять масел»! Что вы скажете? — рассмеявшись своим металлическим смехом, проговорил мистер Баундерби, последним входя в трактир. — Как раз под стать такому человеку, как я!

Глава VI

Слири и его труппа

Трактир именовался «Щит Пегаса^[15]». Уместнее, пожалуй, было бы назвать его «Крылья Пегаса»; но на вывеске под изображением крылатого коня живописец вывел антиквой «Щит Пегаса», а пониже, затейливыми буквами, начертал четверостишие:

Из доброго солода — доброе пиво,
Входите, отведайте — вкусом на диво.
Желаєте бренди, желаєте джин?
Каких только нет здесь водок и вин!

На стене, позади грязной узенькой стойки, в раме и под стеклом висел другой Пегас — бутафорский — с крыльями из настоящего газа, весь усыпанный золотыми звездами и в красной шелковой сбруе.

Так как снаружи было слишком темно, чтобы разглядеть вывеску, а внутри недостаточно светло, чтобы разглядеть картину, то мистер Грэдграинд и мистер Баундербби не могли оскорбиться столь необузданной игрой воображения. Они взошли по крутой лестнице, никого не встретив, и остались ждать впотьмах, а девочка вошла в комнату за свечой. Вопреки их ожиданию, что вот-вот раздастся собачий лай, превосходно дрессированный Весельчак не подавал голоса.

— Отца здесь нет, — растерянно сказала Сесси, появляясь в дверях с зажженной свечой. — Пожалуйста, войдите, я сейчас разыщу его.

Они переступили порог, и Сесси, пододвинув им стулья, ушла своей быстрой легкой походкой. Комната — с одной кроватью — была обставлена убого и скудно. На стене висел белый ночной колпак с двумя павлиньими перьями и торчащей торчком косичкой, который еще сегодня украшал голову синьора Джупа, когда он оживлял представление шутками и остротами в шекспировском духе; но никаких других предметов одежды или следов его присутствия или деятельности нигде не было заметно. Что касается Весельчака, то почтенный предок превосходно дрессированного пса мог бы с таким же успехом и не попасть в Ноев ковчег^[16], ибо под шитом Пегаса не видно и не слышно было ничего похожего на собачью породу.

Наверху, этажом выше, хлопали двери — видимо, Сесси в поисках отца ходила из комнаты в комнату; раздавались возгласы удивления. Потом Сесси вбежала в комнату, кинулась к продавленному чемодану, обитому облезлым мехом, подняла крышку и, найдя его пустым, горестно всплеснула руками.

— Он, должно быть, пошел в цирк, сэр, — сказала она, испуганно озираясь. — Не знаю, зачем, но он, наверно, там. Я сию минуту приведу его. — Она убежала, как была, без шляпы, длинные, темные кудри, еще по-детски распущенные, падали ей на плечи.

— Что она говорит? — сказал мистер Грэдграйнд. — Сию минуту? Да ведь до балагана не меньше мили.

Прежде чем мистер Баундербби успел ответить, в дверях появился молодой человек и со словами: «Разрешите, господа!», не вынимая рук из карманов, вошел в комнату. Его бритое худое лицо отливало желтизной, тусклые черные волосы, разделенные прямым пробором, валиком лежали вокруг головы. Крепкие мускулистые ноги были несколько короче, нежели полагается при хорошем сложении, зато грудь и спина слишком раздались в ширину. На нем был камзол наездника, штаны в обтяжку, вокруг шеи шарф; от него пахло ламповым маслом, соломой, апельсинными корками, фуражом и опилками; больше всего он походил на диковинного кентавра^[17], составленного из конюшни и театра. Где начиналось одно и кончалось другое — определить с точностью не удалось бы никому. Молодой человек значился на сегодняшней афише как мистер И. У. Б. Чилдерс, несравненный мастер вольтижировки, Дикий Охотник Северо-американских прерий; в этом излюбленном публикой номере участвовал Мальчик с лицом старичка — он и сейчас сопровождал мистера Чилдерса, — изображавший малютку сына, которого отец нянчил, перекинув через плечо вверх тормашками и придерживая за пятку или поставив макушкой на ладонь, что, видимо, соответствовало общепринятому мнению о том, каким способом Дикий Охотник должен выражать свое неистовое чадолюбие. При помощи накладных кудряшек, веночков, крылышек, белил и румян этот талантливый юноша превращался в столь прелестного купидона, что все женские — и особенно материнские — сердца в публике таяли от восторга; но вне арены, облаченный в куцую куртку, он скорее походил на жокея, тем более что голос у него был весьма густой и грубый.

— Разрешите, господа, — сказал мистер Чилдерс, оглядывая комнату. — Если не ошибаюсь, вы желали видеть Джупа?

— Совершенно верно, — подтвердил мистер Грэдграйнд. — Его дочь

пошла за ним, но мне некогда дожидаться. Поэтому я попрошу вас кое-что передать ему.

— Дело в том, любезный, — вмешался мистер Баундерби, — что такие люди, как мы, — не вам чета: мы знаем цену времени, а вы не знаете.

— Не имею чести знать *вас*, — отвечал мистер Чилдерс, смерив собеседника взглядом, — но если вы хотите сказать, что ваше время приносит вам больше денег, чем мое время — мне, то, по всей видимости, вы правы.

— И расставаться с ними вы небось тоже не любите, — проворчал Купидон.

— Ты молчи, Киддерминстер! — сказал мистер Чилдерс. (Киддерминстер было земное имя Купидона.)

— А зачем он явился сюда? Смеяться, глядя на нас? — сердито вскричал Киддерминстер, видимо не отличавшийся кротким нравом. — Если вы желаете посмеяться — купите билет и ступайте в цирк.

— Киддерминстер, — сказал мистер Чилдерс, повышая голос, — замолчи! Послушайте меня, сэр, — обратился он к мистеру Грэдграйнду. — Не знаю, известно вам или нет (быть может, вы редко посещаете наши представления), что в последнее время Джуп очень много мазал.

— Что он делал? — спросил мистер Грэдграйнд, взглядом взывая к могущественному Баундерби о помощи.

— Мазал.

— Четыре раза вчера принимался и ни одного флик-флака не вытянул, — сказал юный Киддерминстер. — И на крутке подкачал, и в колесе.

— Словом, не сумел сделать, что нужно. Плохо прыгал и еще хуже кувыркался, — пояснил мистер Чилдерс.

— Вот что! — сказал мистер Грэдграйнд. — Это и значит «мазать»?

— Да, в общем и целом, это называется мазать, — отвечал мистер Чилдерс.

— Девять масел, Весельчак, мазать, флик-флак и крутка! Что вы скажете? — воскликнул Баундерби, хохоча во все горло. — Да, подходящая компания для человека, который своими силами залетел так высоко.

— А вы спуститесь пониже, — сказал Купидон. — О господи! Если вы сумели залететь так высоко, почему бы вам не спуститься немножко.

— Какой назойливый малый! — проговорил мистер Грэдграйнд, бросая на Купидона взгляд из-под насупленных бровей.

— К сожалению, мы вас не ждали, не то мы пригласили бы для вас вылощенного джентльмена, — ничуть не смущаясь, отпарировал

Купидон. — Уж если вы так привередливы, надо было заказать его заранее. Для вас это пустяк. Все равно что по тугому пройтись.

— Что такое? Опять какая-нибудь дерзость? — спросил мистер Грэдграйнд, почти с отчаянием глядя на Купидона. — Что это значит — пройтись по тугому?

— Довольно! Ступай отсюда, ступай! — крикнул мистер Чилдерс, выпроваживая своего юного друга с решительностью и проворством обитателя прерий. — Ничего особенного это не значит. Просто бывает туго или слабо натянутый канат. Вы что-то хотели передать Джупу?

— Да, да.

— По-моему, — сказал мистер Чилдерс, — вам это не удастся. Вы вообще-то его знаете?

— Ни разу в жизни не видел.

— Сомневаюсь, чтобы вы и впредь его увидели. Думаю, что он исчез.

— Вы хотите сказать, что он бросил свою дочь?

— Я хочу сказать, что он смылся, — кивнув головой, подтвердил мистер Чилдерс. — Вчера он обремизился и позавчера, и нынче опять обремизился. В последнее время он только и делал, что ремизился, вот и не выдержал.

— А зачем он... так много... ремизился? — запинаясь, спросил мистер Грэдграйнд.

— Гибкость теряет, поизносился, — сказал Чилдерс. — У ковра он еще годится, но этим не прокормишься.

— У ковра! — повторил Баундерби. — Опять начинается! Это еще что такое?

— Ну, в роли комика, если вам так больше нравится, — презрительно, через плечо, бросил мистер Чилдерс, отчего его длинные волосы взметнулись все разом. — И заметьте, сэр, Джупа мучил не самый провал, а то, что об этом знает его дочь.

— Прелестно! — вмешался мистер Баундерби. — Слышите, Грэдграйнд? Это прелестно. Он так любит свою дочь, что убежал от нее! Это просто перл! Ха-ха! Вот что я вам скажу, молодой человек: я не всегда был таким, каким вы меня видите. В этих делах я знаю толк. Представьте себе, моя мать бросила *меня*. Да, да, не удивляйтесь!

И. У. Б. Чилдерс не без колкости заметил, что ничего удивительного в этом не находит.

— Так вот, — сказал Баундерби. — Я родился в канаве, и моя мать бросила меня. Хвалю я ее за это? Нет. Может, я когда-нибудь хвалил ее за это? Отнюдь. Что мне сказать о ней? Скажу, что хуже нее не сыщешь

женщины на всем свете, кроме разве моей пьянчуги бабушки. Я не из тех, кто гордится своим рождением, блюдет честь семьи — такими дурацкими фокусами я не занимаюсь. Я всегда говорю все, как есть, и про мать Джосайи Баундерби из Кокстауна говорю без утайки, как сказал бы про мать любого бездельника. И про этого негодяя так скажу. Бродяга он и мошенник, ежели хотите знать.

— А с чего вы взяли, что я хочу знать? — поворачиваясь к Баундерби, спросил мистер Чилдерс. — Я объясняю вашему другу, что произошло. Если вам не угодно слушать, можете подышать свежим воздухом. Я вижу, вы любите язык распускать. Советую вам распускать его в своем доме, — саркастически заметил Чилдерс, — а здесь лучше попридержите язык, пока вас не спрашивают. Уж какой-нибудь домишко у вас, вероятно, найдется?

— Пожалуй, найдется, — отвечал мистер Баундерби, громко смеясь и звеня монетами в кармане.

— Так вот, будьте любезны распускать язык у себя дома. А то этот наш дом не больно крепкий, боюсь, он вас не выдержит!

Еще раз смерив мистера Баундерби взглядом, Чилдерс решительно отвернулся от него, давая понять, что разговор с ним окончен, и сказал, опять обращаясь к мистеру Грэдграйнду:

— Час тому назад Джуп послал свою дочь в аптеку. Потом видели, как он вышел крадучись, надвинув шляпу на лоб, с узелком под мышкой. Она, конечно, никогда этому не поверит, но он ушел совсем, а ее бросил.

— Почему вы думаете, что она не поверит? — спросил мистер Грэдграйнд.

— Потому, что они души друг в друге не чаяли. Потому, что они были неразлучны. Потому, что до нынешнего дня он, казалось, только ею и жил. — Чилдерс подошел к пустому чемодану и заглянул в него.

У мистера Чилдерса и мистера Киддерминстера была очень своеобразная походка: ноги они расставляли шире, чем простые смертные, и усиленно подчеркивали, что колени их утратили способность сгибаться. Такая походка отличала всю мужскую половину цирковой труппы и служила признаком постоянного пребывания в седле.

— Бедняжка Сесси! — сказал Чилдерс, поднимая голову от пустого чемодана и встряхивая пышной шевелюрой. — Напрасно он не отдал ее в ученье. Теперь она осталась ни при чем.

— Такое мнение делает вам честь, — одобрительно сказал мистер Грэдграйнд. — Тем более, что сами вы ничему не учились.

— Я-то не учился? Да меня начали учить с семи лет.

— Ах, вот оно что? — обиженно протянул мистер Грэдграйнд, словно

Чилдерс обманул его ожидания. — Я не знал, что существует обыкновение учить малолетних...

— Безделью, — ввернул с громким хохотом мистер Баундерби. — И я не знал, черт меня побери! Не знал!

— Отец Сесси, — продолжал мистер Чилдерс, даже не взглянув в сторону Баундерби, — вбил себе в голову, что она должна получить невесть какое образование. Как это взбрело ему на ум, понятия не имею, но засело крепко. Последние семь лет он только и делал, что подбирал для нее какие-то крохи ученья, чтобы она хоть немножко знала грамоте, ну и счету.

Мистер Чилдерс вынул одну руку из кармана, потер щеку и подбородок и устремил на мистера Грэдграйнда взор, выражавший сильнейшее сомнение и весьма слабую надежду. Чилдерс с самого начала, ради покинутой отцом девочки, пытался задобрить мистера Грэдграйнда.

— Когда Сесси поступила в здешнюю школу, — продолжал он, — ее отец радовался как ребенок. Я не понимал, чему он, собственно, радуется, ведь мы кочуем с места на место и здесь остановились только на время. А он, видимо, заранее все обдумал. Он и всегда-то был с причудами. Должно быть, он решил, что этим устроит судьбу девочки. Если вы, паче чаяния, пришли сюда, чтобы сообщить ему, что хотите чем-нибудь помочь ей, — сказал мистер Чилдерс, опять проводя рукой по лицу и глядя на мистера Грэдграйнда с сомнением и надеждой, — то это было бы очень хорошо и очень кстати; как нельзя лучше и очень, очень кстати.

— Напротив, — отвечал мистер Грэдграйнд, — я пришел сказать ему, что среда, к которой принадлежит его дочь, делает дальнейшее пребывание ее в школе невозможным и что она не должна больше приходить на занятия. Но ежели отец в самом деле бросил девочку без ее согласия и ведома... Баундерби, я хотел бы поговорить с вами.

Мистер Чилдерс тотчас же тактично покинул комнату и, выйдя своей кавалерийской походкой на площадку лестницы, остановился там, поглаживая подбородок и тихонько посвистывая. Из-за двери доносился громкий голос мистера Баундерби, повторявший: «Нет. Я решительно против. Не советую. Ни в коем случае». А более тихий голос мистера Грэдграйнда говорил: «Именно это и послужит для Луизы примером. Она поймет, к каким пагубным последствиям приводит то, что возбудило в ней столь низменное любопытство. Взгляните на дело с этой точки зрения, Баундерби».

Между тем члены цирковой труппы один за другим спускались с верхнего этажа, где они были расквартированы, и мало-помалу собрались на площадке лестницы; постояв там и пошептавшись между собой и с

мистером Чилдерсом, они постепенно вместе с ним просочились в комнату. Среди них были две-три миловидные женщины, два-три мужа, две-три тещи и восемь-девять ребятишек, исполняющих в случае надобности роли фей. Один отец семейства имел обыкновение удерживать другого отца семейства на конце высокого шеста; третий отец семейства частенько сооружал из обоих пирамиду, причем сам изображал основание, а юный Киддерминстер — вершину; все отцы семейства умели плясать на катящихся бочках, стоять на бутылках, ловить на лету ножи и шары, крутить на одном пальце тарелки, скакать на чем угодно, прыгать через что угодно и висеть не держась ни за что. Все матери семейства умели (и не делали из этого тайны) плясать и на туго и на слабо натянутом канате, гарцевать на неоседланных конях; никто из них не стеснялся показывать публике свои ноги, а одна мать семейства в каждый город въезжала на колеснице, собственноручно правя шестеркой лошадей. Все они, и мужчины и женщины, старались держаться развязно и самоуверенно; одежда их не блистала опрятностью, в домашнем быту царил хаос; что же касается грамоты, то познаний всей труппы вместе взятой едва хватило бы на коротенькое письмо. И в то же время это были люди трогательно простодушные и отзывчивые, от природы неспособные на подлость, всегда и неизменно готовые помочь, посочувствовать друг другу; их душевные качества заслуживали не меньшего уважения и уж, во всяком случае, столь же благожелательной оценки, как обычные добродетели, присущие любому человеческому сословию.

После всех появился сам мистер Слири — мужчина плотного сложения, как уже упоминалось, с одним неподвижным и одним подвижным глазом, с голосом (если только это можно назвать голосом), напоминавшим хрипение испорченных мехов, и бледным одутловатым лицом; никто никогда не видел его пьяным, однако и трезвым он тоже не бывал.

— Мое почтенье, хударь, — сказал мистер Слири: он страдал астмой, и его тяжелое натужное дыхание никак не справлялось с буквой «с». — Вот дело-то какое! Прямо беда! Вы уже знаете, — мой клоун и его хобака, очевидно, дали тягу.

Он обращался к мистеру Грэдграйнду, и тот ответил утвердительно.

— И что же, хударь? — спросил мистер Слири, сняв шляпу и вытирая подкладку носовым платком, каковой нарочно для этой цели носил в тулье. — Намерены вы чем-нибудь помочь бедной девочке?

— Когда она придет, я сообщу ей о возникшем у меня плане, — сказал мистер Грэдграйнд.

— Очень рад, хударь. Однако не подумайте, что я хочу избавиться от нее. Но и мешать ее благополучию я тоже не хочу. Я охотно взял бы ее в ученье, хотя в ее годы начинать поздновато. Прошу прощения, хударь, голох у меня хриплый, и непривычному человеку нелегко понять меня. Но ежели бы вы, будучи младенцем, потели и зябли, потели и зябли на арене, и вы бы захрипели не хуже моего.

— Вероятно, — согласился мистер Грэдграйнд.

— А куда мы ждем ее, не выпьете ли чего-нибудь, хударь? Рюмку хереху, а? — радушно предложил мистер Слири.

— Нет, нет, благодарю вас, — отвечал мистер Грэдграйнд.

— Зря, хударь, зря. А ваш приятель, ему что угодно? Ежели вы еще не обедали, то выпейте рюмочку горькой.

Но тут мистера Слири перебила его дочь Джозефина, хорошенькая блондинка лет восемнадцати, — ее привязали к лошади, когда ей минуло два года, а с двенадцати лет она носила при себе завещание, в котором выражала просьбу, чтобы на кладбище она была доставлена обоими пестренькими пони.

— Тише, папа, она идет! — крикнула Джозефина и тотчас в комнату вбежала Сесси Джуп так же стремительно, как час назад выбежала из нее. Увидев, что здесь собралась вся труппа, увидев, какие у всех лица, и не увидев среди собравшихся отца, она жалобно вскрикнула и бросилась на шею самой талантливой канатной плясунье (кстати, ожидавшей ребенка), а та опустилась на колени, и заливаясь слезами, нежно прижала девочку к груди.

— Хватило же у него ховехти на такое дело, черт побери, — сказал Слири.

— Папа, дорогой мой папочка, куда ты ушел? Я знаю, знаю, ты ушел ради меня! Ты ушел, чтобы мне было хорошо! И какой же ты будешь несчастный, какой одинокий, пока не воротишься ко мне, бедный, бедный мой папочка! — Так она причитала, и столько горя было в ее устремленном вверх взгляде, в простертых руках, которыми она словно пыталась обхватить и удержать исчезающую тень отца, что никто слова не мог вымолвить; но мистер Баундерби, потеряв терпение, наконец решил взять дело в свои руки.

— Вот что, люди добрые, — начал он, — все это трата времени. Пора девочке понять, что бегство отца — свершившийся факт. Ежели угодно, я могу объяснить ей это — ведь меня самого когда-то бросили. Слушай, ты — как бишь тебя! Твой отец потихоньку сбежал, бросил тебя, и больше ты его не увидишь, лучше и не жди.

Однако соратники мистера Слири столь мало ценили неприкрашенные факты и столь низко пали в этом отношении, что они не только не восхитились сокрушительным здравым смыслом оратора, но, напротив, встретили его речь в штыки. Мужчины пробормотали «стыд и срам!», женщины — «скотина!», а Слири поспешил отвести мистера Баундерби в сторонку и предостеречь его:

— Вот что, хударь. Откровенно говоря, — я так полагаю, что вам лучше кончить на этом и помолчать. Мои люди — народ предобрый, но они, видите ли, привыкли работать проворно. И ежели вы еще откроете рот, то я, черт побери, не уверен, что вы не вылетите в окошко.

Поскольку мистеру Баундерби ничего не оставалось, как последовать столь деликатному совету, то мистер Грэдграйнд воспользовался случаем и со свойственной ему практичностью изложил суть дела.

— Нет никакой надобности, — начал он, — задаваться вопросом, следует ли ожидать возвращения этого человека, или не следует. В настоящее время он отсутствует, и ничто не указывает на то, что он вскорости возвратится. Я думаю, что с этим согласны все.

— Ваша правда, хударь. Что верно, то верно, — поддакнул Слири.

— Так вот. Я пришел сюда с намерением сообщить отцу этой бедной девочки, Сесилии Джуп, что она впредь не может посещать школу, в силу некоторых соображений практического характера, о которых я здесь не стану распространяться, закрывающих доступ в нее детям, чьи родители занимаются вашим ремеслом. Однако ввиду изменившихся обстоятельств я хочу предложить следующее. Я согласен, Сесилия Джуп, взять тебя на свое попечение, воспитать тебя и заботиться о тебе. Но при одном условии (разумеется, ты к тому же должна хорошо вести себя), чтобы ты тут же на месте решила, идешь ты со мной или остаешься. А также — в случае, ежели ты идешь со мной, — ты должна прервать все отношения со своими присутствующими здесь друзьями. Больше мне добавить нечего.

— Позвольте же и мне, хударь, — заговорил Слири, — молвить хлово, чтобы ей было видно и лицо и изнанка. Ежели ты, Хехилия, хочешь пойти ко мне в ученье, что ж, — работу ты знаешь, и ты знаешь тоже, кто твои товарки. Эмма Гордон, у которой ты хидишь на коленях, будет тебе матерью, а Джозефина — хехтрой. Я не говорю, что я ангел во плоти и что, когда ты промажешь, я не выйду из хебя и не пошлю тебя к черту, но имейте в виду, хударь, никогда в жизни, что бы там ни было, как бы я ни рычал, я даже лошадь ни разу пальцем не тронул и уж навряд ли в мои годы начну колотить наездников. Я никогда не был говоруном, хударь, и потому на этом кончаю.

Вторая половина этой речи была адресована мистеру Грэдграйнду, и тот, наклоном головы давая понять, что принял слова Слири к сведению, сказал:

— Джуп, я ни в какой мере не хочу влиять на твое решение. Я только замечу тебе, что получить здоровое практическое воспитание — большое благо, и что твой отец сам (насколько я понимаю) отдавал себе в этом отчет и желал такового для тебя.

Последние слова, видимо, подействовали на девочку. Рыдания утихли, она слегка отодвинулась от Эммы Гордон и обратила лицо к мистеру Грэдграйнду. Все присутствующие отметили происшедшую в ней перемену и испустили дружный вздох, означавший: «Пойдет!»

— Подумай хорошенько, Джуп, прежде нежели принять решение, — предостерег мистер Грэдграйнд. — В последний раз говорю: подумай хорошенько.

— Когда отец воротится, — после минутного молчания вскричала девочка, снова заливаясь слезами, — как же он найдет меня, если я уйду?

— Насчет этого не тревожься, — спокойно отвечал мистер Грэдграйнд (он словно решал арифметическую задачу). — В таком случае, я полагаю, твой отец должен будет разыскать мистера...

— Хлири. Таково мое имя, хударь. И не плохое. Мало кто в Англии его не знает, и оно хорошо оправдывает хебя.

— ...разыскать мистера Слири и от него узнать, где ты находишься. Не в моей власти будет удерживать тебя против воли, а твой отец в любое время без всяких затруднений найдет мистера Томаса Грэдграйнда из Кокстауна. Я человек известный.

— Верно! — подтвердил мистер Слири, вращая подвижным глазом. — Вы, хударь, один из тех, из-за кого цирк терпит немалые убытки. Но не будем говорить об этом.

Опять наступило молчание; и вдруг девочка закрыла лицо руками и воскликнула сквозь слезы:

— Соберите мои вещи, только поскорей, и я сейчас уйду, не то у меня разобьется сердце!

Женщины, тяжело вздыхая, принялись за сборы, но это отняло мало времени — скудное достояние Сесси быстро было уложено в корзинку, с которой она уже не раз путешествовала. Сама же она все это время сидела на полу и горько рыдала, спрятав лицо в ладони. Мистер Грэдграйнд и его друг мистер Баундерби уже подошли к двери, готовясь увести девочку. Мистер Слири стоял посреди комнаты, окруженный мужской частью своей труппы, в точности так, как обычно стоял на арене, когда его дочь

Джозефина исполняла очередной номер. Не хватало только бича в его руке.

Молча уложив корзинку, женщины пригладили Сесси растрепавшиеся волосы, надели на нее шляпку; потом они дали волю своим чувствам — горячо обнимали ее, целовали, привели детей, чтобы она простилась с ними, и проделывали все то, что подсказывало отзывчивое сердце этим бесхитростным неразумным созданиям.

— Ну что ж, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, — ежели ты решилась, так идем!

Но она еще должна была попрощаться с мужской половиной труппы; и каждому из них пришлось разнять скрещенные на груди руки (ибо находясь в непосредственной близости к мистеру Слири, они неизменно сохраняли предписанную цирковым кодексом позу), чтобы заключить ее в объятия и поцеловать; уклонился от этого один только Киддерминстер, чью юную душу омрачала врожденная склонность к мизантропии и который, как всем было известно, вдобавок имел серьезные матримониальные виды на Сесси; а потому он угрюмо ретировался. Мистер Слири до последней минуты сохранял полное спокойствие и простился последним. Широко раскинув руки, он взял Сесси за кончики пальцев, точно она была наездница, только что соскочившая с лошади после удачной вольтижировки, и, как полагается, сейчас начнет резво подпрыгивать; но девочка не откликнулась на его профессиональный жест и неподвижно, вся в слезах, стояла перед ним.

— Прощай, моя дорогая! — сказал Слири. — От души желаю тебе благополучия, и будь покойна, никто из нас, грешных, тревожить тебя не хтанет. Зря твой отец увел Вехельчака, на афише-то его уже не будет — нехорошо как-то. Впрочем, без хозяина он не захотел бы работать, так что одно на одно бы и вышло.

После этого он устремил на Сесси неподвижный глаз, окинул подвижным своих соратников, поцеловал девочку и, тряхнув головой, передал ее мистеру Грэдграйнду, точно посадил на лошадь.

— Берите, ударь, — сказал он, внимательно оглядывая Сесси, словно проверяя, крепко ли она сидит в седле, — и поверьте, она не похрамит вах. Прощай, Хехилия!

— Прощай, Сесилия! Прощай, Сесси! Господь с тобой, родная! — раздалось на разные голоса со всех концов комнаты.

Но зоркий глаз шталмейстера заметил бутылку со смесью из девяти масел, которую Сесси прятала на груди, и он, удержав ее, сказал:

— Отдай бутылочку, дорогая. Она тяжелая, а на что она тебе теперь? Отдай ее мне.

— Нет, нет! — вскричала она, и слезы опять потекли по ее щекам. — Ах, не надо, прошу вас, позвольте мне хранить ее до возвращения отца! Она будет нужна ему, когда он воротится ко мне. Он не думал уйти, когда посылал за лекарством. Я сберегу его для отца. Пожалуйста!

— Будь по-твоему, дорогая (видите, хударь, какое дело). Прощай, Хехилия! И вот тебе мое прощальное хлово: не нарушай уговора, не перечь почтенному джентльмену и забудь нах. Но когда ты вырахтешь и выйдешь замуж и будешь богата — ежели ты узнаешь о бродячем цирке, не презирай его, не брани, поддержи его, чем можешь, и знай, что это будет доброе дело. Видите ли, хударь, — продолжал Слири, пыхтя все сильнее и сильнее по мере того, как речь его удлинялась, — людям нужны развлечения. Не могут они работать без передышки, не могут и наукам учиться без отдыха. Ищите в нах доброе, не ищите худого. Меня мой цирк кормит, что верно, то верно. Но я так полагаю, хударь, что ихтина заключена именно и этом: ищите в нах доброе, не ищите худого.

Сие философское рассуждение Слири излагал, уже провожая посетителей вниз по лестнице; и вскоре неподвижное око воплощенной мудрости — а также и подвижное — потеряло из виду в темноте улицы и обоих мужчин, и девочку, и ее корзинку.

Глава VII

Миссис Спарсит

Мистер Баундерби был холост, и потому хозяйством его, за известное ежегодное вознаграждение, ведала некая пожилая особа. Звали ее миссис Спарсит, и она, несомненно, служила украшением триумфальной колесницы, в коей мистер Баундерби, преисполненный чванного смирения, катил от успеха к успеху.

Дело в том, что миссис Спарсит не только знавала лучшие времена, но и принадлежала к высшему кругу. Ее ныне здравствующая двоюродная тетушка именовалась леди Скэджерс. А покойный мистер Спарсит со стороны матери был «из Паулеров», как поныне выражалась его безутешная вдова. Случалось, что люди, плохо осведомленные и туго соображающие, не только не понимали, из каких-таких Паулеров, но даже явно не знали — то ли это торговая фирма, то ли политическая партия, то ли религиозная секта. Однако более просвещенные умы не нуждались в разъяснениях — им было известно древнее происхождение Паулеров, чья родословная столь далеко уходила в глубь веков, что не удивительно, если они порой сбивались с пути и следы их приводили на скачки, в игорный притон, к еврею-ростовщику или в Суд по делам несостоятельных должников.

Итак, покойный мистер Спарсит, родня Паулерам со стороны матери, женился на девице, пришедшейся по отцу родней Скэджерсам. Леди Скэджерс (необыкновенно тучная старуха, весьма неводержная по части говядины и обремененная своенравной ногой, вот уже четырнадцать лет упорно не желавшей слезть с постели) сосватала их, когда Спарсит едва достиг совершеннолетия, и примечательного в нем было только до крайности худосочное туловище, подпертое длинными тощими ногами и увенчанное головой столь малых размеров, что о ней и говорить не стоит. Ему досталось от дяди весьма приличное наследство, которое он прожил в кредит прежде, нежели получил его, и дважды промотал после того, как вступил во владение им. Поэтому, когда двадцати четырех лет от роду он скончался (место действия — Кале, причина — бренди), супруга его, с которой он разошелся вскоре после медового месяца, осталась в несколько стесненных обстоятельствах. Печальная вдовица — на пятнадцать годков старше покойника — вскоре насмерть рассорилась со своей единственной родственницей, леди Скэджерс; и отчасти в пику ее милости, отчасти ради

хлеба насущного пошла в люди. И вот теперь, на склоне лет, миссис Спарсит, обладательница римского носа и густых черных бровей, некогда пленивших мистера Спарсита, заваривала чай для вкушавшего завтрак мистера Баундерби.

Будь Баундерби великим завоевателем, а миссис Спарсит пленной принцессой, выставленной напоказ во время его триумфального шествия, он не мог бы чваниться ею с большим азартом. Так же неустанно, как он хвастал своей безродностью, он превозносил ее родовитость. Рисуя в самых мрачных тонах свое собственное детство, он расцвечивал ярчайшими красками зарю ее юности и сплошь усыпал розами ее жизненный путь. «И что же, сэр, — говаривал он, — чем все это кончилось? Вот она здесь, за сто фунтов в год (я плачу ей сто фунтов, и она вполне этим довольна), и ведет хозяйство Джосайи Баундерби из Кокстауна!»

Мало того — он столь упорно и рьяно хвалился этой своей удачей, что она получила широкую огласку, и находились люди, не упускавшие случая упомянуть о сем. В чванстве Баундерби была одна особенно злобная черта: он не только славословил самого себя, он побуждал других петь ему хвалу. Он распространял вокруг себя заразу духовного клакверства. На банкетах в Кокстауне тот или иной заезжий гость, весьма скромный и сдержанный в любом другом месте, вдруг вскакивал и начинал неистово превозносить Баундерби. Послушать ораторов, — чего только Баундерби не олицетворял: и королевский герб, и британский флаг, и хартию вольностей^[18], и Джона Булля^[19], и хабеас корпус^[20], и билль о правах^[21], и «дом англичанина — его крепость», и «церковь и государство»^[22] и «боже, храни королеву». И каждый раз (а без этого дело не обходилось ни разу) как красноречивый гость уснащал свой спич цитатой:

Презренно счастье вельможей и князей!^[23]

Их миг один творит и миг уничтожает, —

присутствующие усматривали в этом намек на миссис Спарсит.

— Мистер Баундерби, — заметила миссис Спарсит, — вы нынче против обыкновения завтракаете без аппетита, сэр.

— Да вот, сударыня, — отвечивал он, — из головы нейдет причуда Тома Грэдграйнда. — Фамильное «Том» он произнес нарочито развязным тоном, словно хотел показать, что и за миллион не согласится назвать своего друга Томасом. — Выдумал тоже — взять на воспитание эту

циркачку.

— Девочка ждет и не знает, что ей делать, — сказала миссис Спарсит, — идти ли прямо в школу, или сначала явиться в Каменный Приют.

— Пусть ждет, — отвечал Баундерби, — я и сам еще не знаю. Вероятно, Том Грэдграйнд скоро пожалует сюда. Ежели он захочет, чтобы она побыла здесь еще день-другой, она, разумеется, может остаться.

— Разумеется, мистер Баундерби, ежели таково ваше желание.

— Я сам вчера вечером предложил, чтобы она переночевала у нас. Может быть, он еще одумается и не станет сводить эту девчонку с Луизой.

— Вот оно что! Какой вы заботливый, мистер Баундерби!

Миссис Спарсит поднесла чашку ко рту, слегка раздув ноздри кориолановского носа^[24] и сдвинув черные брови.

— Я лично убежден, что кiske такое знакомство не сулит ничего хорошего.

— Вы имеете в виду мисс Грэдграйнд, мистер Баундерби?

— Да, сударыня, я имею в виду Луизу.

— Поскольку вы, без предварительных разъяснений, упомянули о «кiske», — сказала миссис Спарсит, — а дело касается двух девочек, то я не знала, к какой из них относится это наименование.

— К Луизе, — повторил мистер Баундерби. — К Луизе.

— Вы прямо как родной отец для Луизы, сэр. — Миссис Спарсит отхлебнула чаю, и когда она, сдвинув брови, склонила лицо с классическим носом над дымящейся чашкой, казалось, что она колдовством вызывает богов преисподней.

— Ежели бы вы сказали, что я как родной отец для Тома, — не для моего друга Тома Грэдграйнда, конечно, а для брата Луизы, — это было бы верней. Я хочу взять его в свою контору. Будет у меня под крылышком.

— Вот как? А не слишком ли он молод, сэр? — Когда миссис Спарсит, обращаясь к мистеру Баундерби, прибавляла словечко «сэр», то делала это лишь из вежливости, что скорее служило к вящей ее чести, нежели возвеличивало его.

— Так ведь я не сейчас возьму его. Сначала ему вобьют в голову всякие науки, — отвечал Баундерби. — В них-то, уж будьте покойны, недостатка не будет! Вот подивился бы мальчишка, ежели бы знал, как мало учености вмещалось в моей башке, когда мне было столько лет, сколько ему сейчас. — Кстати, но всей вероятности, Том отлично это знал, ибо далеко не в первый раз Баундерби делал такое заявление. — Но просто поразительно, как трудно мне подчас разговаривать с кем-нибудь на равной

ноге. Взять хотя бы к примеру мой нынешний разговор с вами о циркачах! Ну что вы можете о них знать? В ту пору, когда кувыряться в уличной грязи на потеху публике было бы для меня сущим благодеянием, счастливым лотерейным билетом, вы сидели в Итальянской опере. Вы, сударыня, выходили из театра в белом шелковом платье, вся в драгоценных камнях, блистая пышным великолепием, а мне не на что было купить пакли, чтобы посветить вам^[25].

— Разумеется, сэр, — отвечала миссис Спарсит со скорбным достоинством, — Итальянская опера была мне знакома с весьма раннего возраста.

— И мне, сударыня, и мне, — сказал Баундерби, — но только с оборотной стороны. Можете мне поверить — жестковато было спать на мостовой под колоннадой Итальянской оперы. Такие люди, как вы, сударыня, которые с детства привыкли нежиться на пуховых перинах, и понятия не имеют, каково это — улечься спать на камни мостовой. Это надо самому испытать. Нет, нет, — какой смысл говорить с вами о циркачах. С вами надо беседовать о приезжих балеринах, о лондонском Вест-Энде, о Мэйфэре^[26], о лордах, знатных леди и членах парламента.

— Я так полагаю, сэр, — ответствовала миссис Спарсит не без смирения, но по-прежнему с достоинством, — что в этом нет никакой надобности. Лыщу себя надеждой, что я научилась приспособливаться к жизненным переменам. Ежели я с интересом слушаю ваши назидательные рассказы о выпавших вам на долю испытаниях и мой интерес никогда не ослабевает, то в этом, право, нет моей заслуги, — ведь это всем интересно.

— Не спорю, сударыня, — подтвердил принципал миссис Спарсит, — находятся люди, которые охотно слушают, как Джосайя Баундерби из Кокстауна рассказывает по-своему, без прикрас, о том, что ему пришлось пережить. Но вы-то, сознайтесь, вы-то сами родились в роскоши. Не отрицайте, сударыня, что вы родились в роскоши.

— Я и не отрицаю, сэр, — отвечала миссис Спарсит, тряхнув головой.

Мистер Баундерби с важным видом вышел из-за стола и, став спиной к камину, воззрися на особу, которая столь ощутимо увеличивала его общественный вес.

— И вы принадлежали к высшему кругу. К самой, черт возьми, верхушке, — проговорил он, подставляя огню свои ляжки.

— Вы правы, сэр, — отвечала миссис Спарсит самым смиренным тоном, не боясь, однако, затмить своего принципала, ибо самоуничтожение Баундерби зиждилось на противоположной основе.

— Вы вращались в самом фешенебельном обществе, и все такое, — не унимался Баундерби.

— Да, сэр, — отвечала миссис Спарсит, всем своим видом подчеркивая горечь утраты, — вы безусловно правы.

От удовольствия мистер Баундерби, согнув колени, даже обнял свои ляжки и громко захохотал. Но тут доложили о приходе мистера и мисс Грэдграйнд, и Баундерби пожал руку своему приятелю, а дочь его наградил поцелуем.

— Можно позвать сюда Джуп? — спросил, обращаясь к хозяину, мистер Грэдграйнд.

Пожалуйста. Итак, Джуп позвали. Девочка вошла, присела перед мистером Баундерби и перед его другом Томом Грэдграйндом, а также перед Луизой, но на беду от крайнего смущения пропустила миссис Спарсит. Заметив это, Баундерби, весь раздувшись от спеси, произнес целую речь:

— Ну-с, девочка, вот что я тебе скажу. Имя леди, что сидит за чайным столом, — миссис Спарсит. Эта леди исполняет здесь обязанности хозяйки дома, и у нее очень знатная родня. Следовательно, ежели ты еще раз переступишь порог моего дома и не выразишь этой леди должного уважения, ты очень скоро выйдешь отсюда. Имей в виду, что мне наплевать, как ты отнесешься ко мне, — я ни на что не притязую. У меня не только нет знатной родни, но вообще никакой родни нет, — я происхожу от подонков. Но мне не все равно, как ты ведешь себя с этой леди. И ты будешь с ней почтительна и вежлива, или ты больше не придешь в этот дом.

— Я надеюсь, Баундерби, — примирительно сказал мистер Грэдграйнд, — что это только упущение с ее стороны.

— Миссис Спарсит, — сказал Баундерби, — мой друг Том Грэдграйнд предполагает, что это всего только упущение. Очень может быть. Однако, сударыня, вы видите, что относительно вас я даже упущения не позволяю.

— Вы чрезвычайно добры, сэр, — сказала миссис Спарсит, с горделивым смирением тряхнув головой. — Право, не стоит об этом говорить.

Засим хозяин дома взмахом руки передал Сесси, которая все это время со слезами на глазах едва слышно лепетала извинения, мистеру Грэдграйнду. Девочка стояла перед ним и пристально смотрела ему в лицо, а Луиза неподвижно стояла подле, глядя в пол, и слушала, что говорит ее отец.

— Джуп, я решил взять тебя к себе в дом; в свободное от школьных

занятий время ты будешь прислуживать миссис Грэдграйнд — она больна и нуждается в уходе. Я уже объяснил мисс Луизе... вот это — мисс Луиза... печальную, но вполне естественную перемену в твоей судьбе, и ты должна хорошенько понять, что все, что было, то прошло, и помянуть о прошлом не следует. Жизнь твоя начинается с этого часа. В настоящее время, как мне известно, ты невежественна.

— Да, сэр, очень, — отвечала Сесси, приседая.

— Я рад, что под моим руководством ты получишь надлежащее воспитание. Для всех, кто будет иметь общение с тобой, ты послужишь живым свидетельством бесспорных преимуществ моей системы. Мы тебя выправим и образуем. Ты, кажется, читала вслух твоему отцу и тем людям, среди которых ты жила? — спросил мистер Грэдграйнд, понизив голос и знаком пододзав Сесси поближе.

— Только папе и Весельчаку, сэр... то есть я хочу сказать — только папе, а Весельчак всегда бывал при этом.

— Забудь про Весельчака, Джуп, — остановил ее мистер Грэдграйнд, поморщившись. — Я тебя не о нем спрашиваю. Стало быть, ты читала вслух своему отцу?

— Да, сэр, тысячу раз. — И мы были так счастливы. Ах, сэр, когда я читала ему вслух, — это было лучше всего!

Только теперь, услышав, как горестно зазвенел голос Сесси, Луиза взглянула на нее.

— И что же именно. — спросил мистер Грэдграйнд еще тише, — ты читала своему отцу, Джуп?

— Про волшебниц, сэр, и про карлика, и про горбуна, и про духов, — заливаясь слезами, проговорила Сесси, — и еще про...

— Ш-ш! — прервал ее мистер Грэдграйнд. — Довольно. И чтобы я больше не слышал о таком пагубном вздоре. Знаете, Баундерби, тут понадобится твердая рука. Это интересный случай, и я с охотой прослежу за ним.

— Ну что ж, — отвечал мистер Баундерби. — Свое мнение я вам уже высказал. На вашем месте я бы этого не делал. Но, пожалуйста, как вам будет угодно. Ежели вам уж так захотелось — пожалуйста!

Итак, мистер Грэдграйнд и его дочь увели Сесилию Джуп в Каменный Приют, и по дороге Луиза не проронила ни словечка, — ни доброго, ни худого. А мистер Баундерби приступил к своим повседневным занятиям. А миссис Спарсит укрылась за своими бровями и в этом мрачном убежище предавалась размышлениям до самого вечера.

Глава VIII

Никогда не раздумывай

Еще раз прислушаемся к основному ладу, прежде чем продолжать нашу песнь.

Когда Луиза была лет на шесть моложе, она однажды, разговаривая с братом, сказала: «Знаешь, Том, о чем я раздумываю?» На что мистер Грэдграйнд, подслушавший эти слова, выступил вперед и заявил: «Луиза, никогда не раздумывай!»

В этом правиле и была заложена пружина, приводящая в действие механику воспитательной системы, направленной на развитие ума при полном небрежении к чувствам и душевным порывам, — в нем же заключался и весь секрет ее. Никогда не раздумывай. При помощи сложения, вычитания, умножения и деления, так или иначе, решай все на свете и никогда не раздумывай. Приведите ко мне, говорит Чадомор, того младенца, что едва начинает ходить, и я ручаюсь вам, что он никогда не будет раздумывать.

Однако наряду со множеством едва начинающих ходить младенцев в Кокстауне имелось изрядное число таких, которые уже двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят годков, а то и больше шли по отмеренному им пути к жизни вечной. Поскольку эти, зловредные младенцы означали грозную опасность для любого человеческого общества, то все восемнадцать вероисповеданий неустанно выцарапывали глаза и вцеплялись в волосы друг дружке, пытаясь сговориться, какие следует принять меры к их исправлению. Но достичь согласия так и не удавалось, что поистине удивительно при столь действенных средствах, пущенных в ход для этой цели. Впрочем, невзирая на то, что разногласия возникали по всякому мыслимому и немыслимому (чаще немыслимому) поводу, все более или менее сходились на одном, а именно: эти злосчастные дети никогда не должны раздумывать. Клир номер первый утверждал, что они все должны принимать на веру. Клир номер второй утверждал, что они должны верить в политическую экономию. Клир номер третий писал для них нудные книжицы, в которых рассказывалось, как хорошие взрослые младенцы неизменно вносят деньги в сберегательную кассу, а гадкие взрослые младенцы неизменно попадают на каторгу. Клир номер четвертый кое-как маскировал мрачным юмором (хотя ничего веселого в этом не было) капканы научных теорий, в которые эти младенцы обязаны были дать себя

заманить. Но все соглашались с тем, что они никогда не должны раздумывать.

В Кокстауне имелась библиотека, в которую доступ был открыт для всех. Мысль о том, что же люди там читают, постоянно терзала мистера Грэдграйнда: ручейки сводных таблиц, приносящие соответствующие сведения, в положенные сроки вливались в ревущий океан статистических данных, куда еще ни один водолаз не спускался безнаказанно. Как ни печально, но нельзя было отрицать того очевидного факта, что даже читатели городской библиотеки упорствовали в своем желании раздумывать. Они раздумывали о человеческой природе, о человеческих страстях, надеждах и тревогах, о борьбе, победах и поражениях, о заботах, радостях и горестях, о жизни и смерти простых людей! Иногда, после пятнадцати часов работы, они садились за книжку и читали всякие рассказы про мужчин и женщин, похожих на них самих, и про детей, похожих на их собственных. Сердца их пленял Дефо, а не Евклид^[27], и они, видимо, находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера^[28]. Мистер Грэдграйнд без усталости трудился над этой каверзной задачей — для печати и не для печати — и, хоть убей, не мог понять, каким образом получается такой несуразный итог.

— Жить не хочется, Лу. Моя жизнь мне опротивела, и все люди, кроме тебя, опротивели, — сказал не по годам угрюмый Томас Грэдграйнд-младший, сидя под вечер в тихой комнате, похожей на цирюльню.

— И даже Сесси, Том?

— Противно, что нужно звать ее Джуп. И я ей противен, — мрачно отвечал Том.

— Нет, нет, это неправда, Том!

— А как же иначе? Она всех нас должна ненавидеть. Ее здесь совсем затормошат. Она уже сейчас бледная, как смерть, и тупая... как я.

Юный Том выражал свои невеселые мысли, сидя перед камином верхом на стуле, скрестив руки на спинке и спрятав хмурое лицо в скрещенные руки. Сестра его сидела подальше от огня, в темном углу, то глядя на брата, то устремляя взор на осыпающиеся яркие искры.

— А я, — продолжал Том, обеими руками ожесточенно ероша волосы, — я просто осел, и больше ничего. Такой же упрямый, как осел, еще глупее, чем осел, и так же мне сладко живется, и скоро я лягну кого-нибудь, как осел.

— Надеюсь, не меня, Том?

— Нет, Лу. Тебя я не трону. Я же сразу сказал, что ты — другое дело.

Даже и не знаю, что бы тут было без тебя в нашем распрекрасном... Каменном Мешке. — Том сделал паузу, подыскивая достаточно крепкое словцо, чтобы выразить свою любовь к отчему дому, и, видимо, остался очень доволен найденным определением.

— Правда, Том? Ты в самом деле так думаешь?

— Конечно, правда. Да что толку говорить об этом! — отвечал Том, и так свирепо потер лицо о рукав, словно хотел содрать с себя кожу и тем самым уравновесить душевные муки телесными.

— Понимаешь, Том. — сказала Луиза после минутного молчания, отрываясь от гаснущих искр и поднимая глаза на брата, — я уже почти взрослая, и чем старше я становлюсь, тем чаще я раздумываю о том, как грустно, что я не умею сделать так, чтобы тебе лучше жилось в нашем доме. Я не умею ничего такого, что умеют другие девушки. Ни сыграть, ни спеть тебе не могу. И поговорить с тобой, чтобы развлечь тебя, не могу, ведь я не вижу ничего веселого, не читаю ничего веселого, и мне нечем позабавить тебя или утешить, когда тебе скучно.

— Да и я такой же. С этой стороны я ничуть не лучше тебя. А к тому же я безмозглый мул, а ты нет. Если отец хотел сделать из меня либо ученого сухаря, либо мула, а ученого из меня не вышло, то кто же я, как не мул? Я и есть мул, — мрачно заключил Том.

— Все это очень печально, — помолчав, задумчиво сказала Луиза из своего темного угла. — Очень печально. Несчастные мы с тобой, Том.

— Ты-то нет, — возразил Том. — Ты, Лу, девочка, девочку это не так портит, как мальчика. Я вижу в тебе одно только хорошее. Ты единственное мое утешение — ты даже этот дом умеешь скрасить — и я всегда буду делать то, что ты хочешь.

— Ты хороший брат, Том. И если ты так обо мне думаешь, я рада, хотя и знаю, что ты ошибаешься. А я отлично знаю, что ты ошибаешься, и это очень прискорбно. — Она подошла к Тому, поцеловала его и опять села в свой уголок.

— Собрать бы все факты, о которых мы столько слышим, — заговорил Том, яростно скрипнув зубами, — и все цифры, и всех, кто их выкопал; и подложить под них тысячу бочек пороху и взорвать все сразу! Правда, когда я буду жить у старика Баундерби, я отыграюсь.

— Отыграешься, Том?

— Ну, я хочу сказать, я немножко повеселюсь, кое-что увижу, кое-что услышу. Вознагражу себя за то, как меня воспитывали.

— Смотри, Том, не очень обольщайся. Мистер Баундерби тех же мыслей, что и отец, и он много грубее и вполнину не такой добрый.

— Ну, — засмеялся Том, — это меня не пугает. Я отлично сумею управиться со стариком и уговорить его.

Их тени отчетливо чернели на стене, но тени высоких шкафов сливались воедино на стенах и потолке, точно над братом и сестрой нависла темная пещера. Богатое воображение — если бы такое кощунство было возможно в этой комнате — могло бы принять этот мрак за грозную тень, которую то, о чем шла речь между ними, отбрасывало на их будущее.

— А как ты думаешь управиться с ним и уговорить его, Том? Или это секрет?

— Если это и секрет, — сказал Том, — то за разгадкой ходить не далеко. Это ты, Лу. Ты его любимица, он души в тебе не чаёт, он ради тебя все сделает. Когда он скажет что-нибудь, что мне не по нутру, я ему пропою: «Мистер Баундерби, ваши слова очень огорчат и обидят мою сестру. Она была уверена и мне всегда говорила, что вы не будете притеснять меня». Уж тут-то он прикусит язык, будь покойна.

Том молчал в ожидании ответа от сестры, но, так и не дождавшись его, отложил мечты о будущем и снова дал волю своему унынию, усиленно зевая, вертясь на стуле и все ожесточеннее ероша волосы. Наконец он поднял глаза и спросил:

— Ты спишь, Лу?

— Нет, Том. Я смотрю на огонь.

— Не понимаю, что ты там видишь, — сказал Том. — Я лично ничего там не вижу. Должно быть, это еще одно преимущество девочки перед мальчиком.

— Том, — начала Луиза, медленно и раздумчиво, словно она читала произносимые ею слова в пламени камина, а начертаны они были не очень разборчиво, — ты радуешься, что будешь жить у мистера Баундерби?

— Одно-то хорошее в этом уж безусловно будет, — отвечал Том, слезая со стула. — Во всяком случае, это значит — уйти из дому.

— Одно-то хорошее в этом уж безусловно будет, — так же раздумчиво повторила Луиза. — Во всяком случае, это значит — уйти из дому. Да, да.

— Ты пойми, Лу, мне будет очень нелегко оставить тебя, да еще оставить здесь. Но ты же знаешь, что я должен уйти, хочу я этого или нет. И уж лучше мне отправиться туда, где я могу извлечь какую-то пользу из твоего влияния, чем в такое место, где ты мне ничем не сможешь помочь. Ты это понимаешь?

— Да, Том.

В ее голосе не слышалось колебаний, но она так медлила с ответом, что Том подошел к ней сзади и, перегнувшись через спинку стула, стал

вглядываться в огонь, который столь сильно занимал ее, пытаюсь сам что-то в нем увидеть.

— Огонь как огонь, — сказал Том, — и по-моему, он глупый и скучный, ничуть не лучше, чем все вообще. Что ты там видишь? Уж не цирк ли?

— Ничего такого я там не вижу. Но, глядя в огонь, я раздумываю о нас с тобой, о том, что мы уже почти взрослые.

— Опять раздумываешь! — сказал Том.

— У меня уж такие непокорные мысли, — отвечала Луиза, — ничего не могу с ними поделать.

— Очень прошу тебя, Луиза, — сказала миссис Грэдграйнд, бесшумно отворившая дверь, — ради бога, прекрати сию минуту это занятие. Ты же знаешь, бессовестная, что мне покою не будет от твоего отца. А тебе, Томас, не стыдно? С моей больной головой — и вдруг слышу, как ты подбиваешь сестру раздумывать, и это при твоём-то воспитании, на которое ухлопали столько денег, а ведь ты отлично знаешь, что отец твой строго-настрого запретил ей это.

Луиза начала было отрицать соучастие Тома в совершенном преступлении, но мать остановила ее неопровержимым доводом, решительно заявив, что «не с моим здоровьем слушать такие слова, потому что без подстрекательства у тебя не могло быть ни физической, ни нравственной возможности это сделать».

— Никто меня не подстрекал, мама, — я только смотрела, как огонь роняет красные искры, как они меркнут и гаснут. И, глядя на них, я думала о том, что, в сущности, жизнь моя будет очень коротка и многого совершить я не успею.

— Вздор! — сказала миссис Грэдграйнд с необычной для нее твердостью. — Вздор! И не стыдно тебе, Луиза! Говорить такие глупости прямо в глаза мне, хотя ты отлично знаешь, что, дойди это до твоего отца, мне от него покою не будет. И это после всех забот и хлопот о тебе! Сколько лекций тебе прочитали, сколько опытов показывали! Разве я сама, когда у меня вся правая сторона отнялась, не слышала, как ты со своим учителем долбила про горение, каление, сожжение и еще про невесть какие ения, лишь бы свести с ума несчастную больную. И после всего этого я должна терпеть твою болтовню об искрах и пепле! Я жалею, — со слезами в голосе заключила миссис Грэдграйнд, под натиском даже столь призрачных фактов падая в кресло и выпуская свой сильнейший заряд перед тем, как сдаться, — да, я от души жалею, что стала матерью. Лучше бы мне вовсе не иметь детей, вот тогда бы вы поняли, каково это —

обходиться без меня!

Глава IX

Успехи Сесси

Нелегко жилось Сесси Джуп под началом у мистера Чадомора и миссис Грэдграйнд, и в первые месяцы ее послушничества мысль о бегстве не раз приходила ей на ум. Так густо, с утра до ночи, сыпались на нее факты, и жизнь вообще так сильно напоминала разлинованную в мелкую клетку тетрадь, что она и впрямь убежала бы — не будь одного соображения.

Как это ни печально, но соображение, удержавшее Сесси от бегства, не было итогом математических выкладок, — напротив, оно бросало вызов всем и всяческим расчетам, и любой статистик страхового общества, составляющий таблицу вероятностей, исходя из данных предпосылок, мгновенно опроверг бы его. Девочка не верила, что отец ее бросил, она жила надеждой на встречу с ним и была твердо убеждена, что, оставаясь в этом доме, исполняет его желание.

Прискорбное неразумие, с каким Сесси цеплялась за эту надежду, упорно отвергая утешительную мысль, что отец ее — как дважды два — бессовестный бродяга, лишенный естественных человеческих чувств, наполняло сердце мистера Грэдграйнда жалостью. Но что было делать? Чадомор докладывал, что она чрезвычайно тупа на цифры; что однажды получив общее понятие о земном шаре, она не проявила ни малейшего интереса к подробным измерениям его; что ей крайне трудно дается хронология и запоминает она только те даты, которые знаменуют какое-нибудь горестное событие; что она раздражается слезами всякий раз, когда ей предлагают быстро сосчитать (в уме), сколько будут стоить двести сорок семь муслиновых чепцов по четырнадцать с половиной пенсов за штуку; что хуже ее во всей школе не учится никто; что после двухмесячного ознакомления с основами политической экономии, не далее, как вчера, ее поправил мальчишка, трех футов от пола, ибо она дошла до такой нелепости, что на вопрос, каков первейший закон этой науки, ответила: «Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мною».

[29]

Мистер Грэдграйнд, качая головой, говорил, что это очень грустно, что это доказывает необходимость энергичного и длительного перемолота на жерновах знания посредством дисциплины, строгого расписания, Синих книг [30], официальных отчетов и статистических таблиц от А до Зет! и что

нужно удвоить усилия. Что и было исполнено — от чего Джуп впадала в тоску, но учение не становилась.

— Хорошо быть такой, как вы, мисс Луиза! — сказала Сесси однажды вечером, покончив с уроками на завтра с помощью Луизы, которая пыталась хоть немного распутать клубок ее недоумений.

— Ты так думаешь?

— Не думаю, а знаю, мисс Луиза. Все, что мне сейчас так трудно, было бы совсем легко.

— Может быть, тебе от этого не стало бы лучше, Сесси.

Сесси, подумав немного, проговорила:

— Но мне не стало бы хуже, мисс Луиза. На что Луиза отвечала:

— Я в этом не уверена.

Девочки так редко сходились друг с другом — и потому, что жизнь в Каменном Приюте, своим однообразным круговращением напоминая шестерню, не располагала к общительности, и потому, что запрещалось касаться прошлого Сесси, — что они все еще были между собой почти как чужие. Сесси, глядя Луизе в лицо темными удивленными глазами, молчала, не зная, сказать ли что-нибудь еще, или ничего не говорить.

— Смотри, как ловко ты ухаживаешь за моей матерью и как ей хорошо с тобой. Мне бы никогда так не суметь, — продолжала Луиза. — Да ты и себе доставляешь больше радости, чем я себе.

— Но простите, мисс Луиза, — возразила Сесси, — ведь я — ах, я такая глупая!

Луиза, против обыкновения, засмеялась почти весело и заверила Сесси, что со временем она поумнеет.

— Если бы вы знали, — сказала Сесси, чуть не плача, — до чего я глупа. На всех уроках я делаю одни ошибки. Мистер и миссис Чадомор без конца вызывают меня, и в моих ответах всегда ошибки. Я, право, не виновата. Они как-то сами собой получаются.

— А мистер и миссис Чадомор никогда, вероятно, не ошибаются?

— Нет! — с жаром воскликнула Сесси. — Они все знают.

— Расскажи мне про свои ошибки.

— Даже стыдно рассказывать, — неохотно согласилась Сесси. — Вот, например, сегодня мистер Чадомор объяснял нам про натуральное процветание.

— Должно быть, национальное, — заметила Луиза.

— Да, верно. А разве это не одно и то же? — робко спросила Сесси.

— Лучше говори «национальное», раз он так сказал, — уклончиво отвечала Луиза.

— Ну хорошо, — национальное процветание. И он сказал: пусть этот класс будет нацией. И у этой нации имеется пятьдесят миллионов фунтов стерлингов. Разве это не процветающая нация? Ученица номер двадцать, отвечай: процветает ли эта нация, и обеспечено ли тебе благосостояние?

— А как ты ответила? — спросила Луиза.

— Вот то-то, мисс Луиза, — я ответила, что не знаю. Откуда же мне знать, процветает эта нация или нет, и обеспечено ли мне благосостояние, раз я не знаю, чьи это деньги и принадлежит ли мне сколько-нибудь из них? Но оказалось, что это совсем ни при чем. В цифрах об этом нет ничего, — всхлипнула Сесси, вытирая слезы.

— Это была грубая ошибка, — заметила Луиза.

— Да, мисс Луиза, теперь-то я поняла. Тогда мистер Чадомор сказал, что он задаст мне еще один вопрос: предположим, что наш класс — огромный город, и в нем миллион жителей, и за год только двадцать пять человек из них умирают от голода на улицах. Что ты можешь сказать о таком соотношении? И я сказала — ничего другого я придумать не могла, — что, по-моему, тем, кто голодает, вероятно ничуть не легче оттого, что других, неголодающих, целый миллион — хоть бы и миллион миллионов. И это тоже было неверно.

— Разумеется, неверно.

— Тогда мистер Чадомор сказал, что задаст мне еще один вопрос. И он сказал — вот казуистика...

— Статистика, — поправила Луиза.

— Верно, мисс Луиза, я всегда путаю ее с казуистикой, это еще одна моя ошибка. Вот статистика несчастных случаев на море. И вот я вижу (это говорит мистер Чадомор), что в течение определенного времени сто тысяч человек пустились в дальнее плавание, и только пятьсот из них утонули или сгорели живьем. Сколько это составляет процентов? И я сказала, — тут Сесси, сознаваясь в своей вопиющей ошибке, залилась горячими слезами, — я сказала нисколько.

— Нисколько, Сесси?

— Нисколько, мисс. Ведь это ничего не составляет для родных и друзей погибших. Нет, я никогда не выучусь. А хуже всего то, что хотя бедный мой папа так хотел, чтобы я училась, и я очень стараюсь учиться, потому что он этого хотел, а как раз ученье-то мне не по душе.

Луиза молча смотрела на темную хорошенькую головку, виновато склоненную перед ней, пока Сесси не подняла на нее глаза. Тогда она спросила:

— Твой отец, Сесси, сам был очень ученый и потому хотел, чтобы и

тебя хорошо учили?

Сесси медлила с ответом, и лицо ее выражало столь явное опасение, как бы не нарушить запрет, что Луиза поспешила добавить:

— Никто нас не услышит; а если бы и услышал, что может быть дурного в таком невинном вопросе?

— Нет, мисс Луиза, — сказала Сесси, ободренная словами Луизы, и покачала головой. — Мой папа совсем неученый. Он едва умеет писать, и редко кто может прочесть то, что он пишет. Я-то могу, конечно.

— А твоя мать?

— Папа говорит, что она была очень ученая. Она умерла, когда я родилась. Она... — Сесси дрожащим голосом сделала страшное признание — ...она была танцовщицей.

— Твой отец любил ее? — Луиза задавала вопросы со свойственной ей глубокой, страстной пытливостью — пытливостью, блуждающей во тьме, точно отверженное существо, которое скрывается от людских взоров.

— О да! Любил так же горячо, как меня. Папа и меня-то любил сначала только ради нее. Он повсюду возил меня с собой, когда я была еще совсем маленькая. Мы никогда с ним не расставались.

— А теперь, Сесси, он оставил тебя!

— Только потому, что желал мне добра. Никто не понимает его, как я, и никто не знает его, как я. Когда он оставил меня ради моей же пользы — он никогда не сделал бы это ради себя, — я знаю, что у него сердце разрывалось от горя. Он ни одной минуты не будет счастлив, пока не воротится.

— Расскажи мне еще про него, — сказала Луиза. — И больше я никогда не буду спрашивать. Где вы жили?

— Мы разъезжали по всей стране, а подолгу нигде не жили. Мой папа... — Сесси шепотом произнесла ужасное слово — ...клоун.

— Он смешит публику? — спросила Луиза, понимающе кивнув головой.

— Да. Но иногда публика не смеялась, и тогда он из-за этого плакал. В последнее время она очень часто не смеялась, и он приходил домой совсем убитый. Папа не такой, как все. Люди, которые не знали его так хорошо, как я, и не любили его так сильно, как я, иногда думали, что он немножко сумасшедший. Случалось, они зло шутили над ним; но они не знали, как он страдает от их шуток, это видела только я, когда мы оставались одни. Он очень застенчивый, а они этого не понимали.

— А ты была ему утешением во всех его горестях?

Она кивнула — слезы текли у нее по щекам.

— Надеюсь, что да, и папа всегда так говорил. Он стал такой робкий, боязливый, считал себя несчастным, слабым, беспомощным неучем (он сам постоянно твердил это). Вот потому-то он и хотел, чтобы я непременно многому выучилась и чтобы я выросла не такая, как он.

Я часто читала ему вслух, это как-то подбадривало его, и он очень любил слушать. Книжки я читала нехорошие — мне теперь нельзя говорить о них, — но мы не знали, что они приносят вред.

— А ему они нравились? — спросила Луиза, не сводя испытующих глаз с лица Сесси.

— Ах, очень нравились! И сколько раз они удерживали его от того, что в самом деле могло повредить ему. И много было вечеров, когда он забывал о всех своих бедах и думал только о том, позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше [\[31\]](#), или велит отрубить ей голову раньше, чем она кончит.

— И отец твой всегда был добрый? До самого последнего дня? — спросила Луиза, в нарушение строгого запрета явно раздумывая над рассказом Сесси.

— Всегда, всегда! — отвечала Сесси, стискивая руки. — И сказать вам не могу, до чего он был добрый. Я видела его сердитым только один раз, и то он рассердился не на меня, а на Весельчака. Весельчак... — она шепотом сообщила убийственный факт, — это дрессированная собака.

— А почему он рассердился на собаку? — спросила Луиза.

— Они воротилась домой после представления, а потом папа велел ей прыгнуть на спинки двух стульев и стоять так — это один из ее номеров. Она глянула на него и не сразу послушалась. В тот вечер у папы ничего не выходило, и публика была очень недовольна. Он закричал, что даже собака знает, что он уже ни на что не годен, и не имеет к нему жалости. Потом он начал бить собаку, а я испугалась и говорю: «Папа, папа, не бей ее, она же так тебя любит! Папа, ради бога, перестань!» Тогда он перестал ее бить, но она была вся в крови, и папа лег на пол и заплакал, а собаку прижал к себе, и она лизала ему лицо.

Тут Сесси разрыдалась, и Луиза, подойдя к ней, поцеловала ее, взяла за руку и села подле нее.

— Доскажи теперь, Сесси, как отец оставил тебя. Я так много у тебя выпросила, что уж расскажи все до конца. Если это дурно, то виновата я, а не ты.

— Вот как это было, мисс Луиза, — начала Сесси, прижимая ладони к мокрому от слез глазам: — Я пришла домой из школы, а папа тоже только что передо мной воротился из цирка. И вижу, сидит он у самого огня и

раскачивается, будто у него что болит. Я и говорю: «Папа, ты ушибся?» (это случилось с ним, да и со всеми в цирке); а он говорит: «Немножко, дорогая». А потом я подошла поближе и нагнулась к нему, и вижу, что он плачет. Я стала утешать его, а он прячет от меня лицо, весь дрожит и только повторяет: «Дорогая моя! Радость моя!»

Тут в комнату ленивой походкой вошел Том и посмотрел на девочек равнодушным взглядом, красноречиво говорившим о полном отсутствии интереса ко всему на свете, кроме собственной персоны; но и та в настоящую минуту, видимо, мало занимала его.

— Я просила Сесси рассказать мне кое о чем, — обратилась к нему Луиза. — Ты можешь остаться. Но помолчи минутку, не мешай нам, хорошо, Том?

— Пожалуйста! — сказал Том. — Я только зашел сказать, что отец привел старика Баундерби, и я хочу, чтобы ты вышла в гостиную. Потому что, если ты выйдешь, он непременно позовет меня обедать. А не выйдешь, ни за что не позовет.

— Сейчас приду.

— Я подожду тебя для верности.

Сесси продолжала, понизив голос:

— Под конец папа сказал, что он опять не угодил публике, и что теперь всегда так, и что он пропащий человек, и мне без него было бы куда лучше. Я говорила ему все самые ласковые слова, какие только приходили мне на ум; и он как будто успокоился, а я стала рассказывать про школу, про все, что мы делали и чему нас учили. Когда больше рассказывать было нечего, он обнял меня и долго целовал. Потом он попросил меня сходить за примочкой, которой он всегда лечил ушибы, и велел купить ее в самой лучшей аптеке, — а это в другом конце города; потом он опять поцеловал меня; и я ушла. Я уже спустилась с лестницы, но опять поднялась наверх, чтобы еще раз взглянуть на него, и спросила: «Папочка, можно, я возьму с собой Весельчака?» А он покачал головой и говорит: «Нет, Сесси, нет, родная. Ничего не бери с собой, что заведомо мое». Я ушла, а он остался сидеть у огня. Вот тут-то, должно быть, ему, бедному, и подумалось, что ради меня ему лучше уйти, потому что, когда я принесла лекарство, его уже не было.

— Послушай, Лу! Не прозевай старика Баундерби! — напомнил Том.

— Больше мне нечего рассказывать, мисс Луиза. Я берегу примочку, и я знаю, что он воротится. Как только увижу, что мистер Грэдграйнд держит в руках письмо, так у меня дух захватывает и в глазах темнеет, — все думаю, что это от папы или мистер Слири прислал мне весточку о нем.

Мистер Слири обещал тотчас написать, если услышит что-нибудь о нем, и я уверена, что он меня не обманет.

— Лу, не прозевай старика Баундерби! — повторил Том и присвистнул от нетерпения. — Он того и гляди уйдет!

С тех пор, каждый раз, как Сесси, приседая перед мистером Грэдграйндом, робко спрашивала: «Простите, сэр, за беспокойство... но... не получали ли вы письма обо мне?» — Луиза, если ей случалось быть при этом, отрывалась от любого занятия и с не меньшей тревогой, чем Сесси, ждала ответа. И каждый раз, после неизменного ответа мистера Грэдграйнда: «Нет, Джуп, ничего такого не было», у Луизы, так же, как у Сесси, дрожали губы и глаза ее участливо провожали Сесси до дверей. Мистер Грэдграйнд, бывало, как только Сесси выйдет из комнаты, не преминет заявить, что, ежели бы Джуп с ранних лет была воспитана надлежащим образом, она сама, путем здравых рассуждений, доказала бы себе полную беспочвенность своих несбыточных надежд. Однако, по всей видимости (впрочем, он-то этого не видел), несбыточные надежды способны были оказывать столь же сильное воздействие, как и любой факт.

Но это наблюдение оправдывалось только на примере дочери мистера Грэдграйнда. Что касается Тома, то он быстро приближался к отнюдь не редкому идеалу расчетливости, достигнув которого человек преимущественно хлопочет о самом себе. А миссис Грэдграйнд если вообще выражала какое-нибудь мнение по этому поводу, то слегка высовывалась из своих платков и шалей, точно соня из норы, и начинала:

— Иисусе Христе, разнесчастная моя голова, и как только она не отвалится! Долго еще эта упрямая девчонка будет приставать ко всем со своими письмами! Честное слово, уж, видно, судьба моя такая, просто наказание божие! И почему это вокруг меня вечно такое творится, что я покою не знаю! Удивительное дело, точно все сговорились, чтобы мне никогда покою не знать!

Но тут обыкновенно мистер Грэдграйнд устремлял взор на свою супругу, и под тяжестью этого леденящего душу факта она снова впадала в оцепенение.

Глава X

Стивен Блекпул

Я одержим нелепой мыслью, что английский народ заставляют так же тяжело трудиться, как и любой другой народ, живущий под солнцем. Я признаюсь в этой своей слабости, дабы объяснить, почему я желал бы, чтобы ему дали хоть немного вздохнуть.

В той части Кокстауна, где сосредоточен самый тяжелый труд; в самой сердцевине этой безобразной крепости, где плотные кирпичные стены так же безжалостно заграждают вход природе, как они заграждают выход убийственным испарениям; в самых глухих дебрях путаного лабиринта тесных тупичков и узких проулков, где строения, возведенные как придется, на скорую руку, каждое для нужд одного владельца, словно враждующие между собой родичи, толкаются, лезут друг на друга и давят насмерть; в самом душном закутке этого колокола, из которого выкачан весь воздух, где в судорожных поисках тяги каждая печная труба по-своему искривлена и скособочена, точно все дома хотят показать миру, какие существа только и могут появиться на свет под их крышей; в самой гуще обитателей Кокстауна, которые известны под общим наименованием «рабочие руки» — и которые сильно выиграли бы в глазах некоторых людей, если бы провидение рассудило за благо дать им одни лишь руки, или, как низшим морским животным, одни руки и желудки, — проживал некий Стивен Блекпул, сорока лет от роду.

Стивен казался старше — жизнь не баловала его. Говорят, что каждому человеку на земле уготованы и розы и тернии. Но с жизнью Стивена, видимо, произошла какая-то досадная ошибка, вследствие чего кто-то другой получил все причитавшиеся ему розы, а на его долю, сверх собственных, пришлись тернии, предназначенные этому другому. Он, по собственному выражению, хлебнул горюшка. Его обыкновенно называли Старый Стивен, как бы высказывая ему этим грубоватое сочувствие.

Сутулый, большеголовый, с редкими и длинными седеющими волосами, нахмуренным лбом и сосредоточенным взглядом, — Старый Стивен мог бы показаться человеком в своей среде значительным. Однако это было не так. Он не принадлежал к числу тех удивительных «рабочих рук», которые, год за годом, урывая редкие часы досуга, овладевали науками и набирались самых невероятных знаний. Он не был ни красноречивым оратором, ни искусным спорщиком. Тысячи его товарищей

умели говорить куда лучше, чем он. Он был хороший ткач и безупречно честный человек. Кем он был сверх того и что еще таилось в нем, — пусть покажет сам.

В громадных фабричных корпусах, которые, когда в них горел свет, походили на сказочные дворцы, — так по крайней мере утверждали пассажиры курьерского поезда, — огни погасли; колокола уже возвестили об окончании работы и снова умолкли; рабочие — мужчины и женщины, мальчики и девочки — расходились по домам. Старый Стивен стоял посреди улицы, и, как обычно, когда машины останавливались, ему казалось, что целый день они и стучали и теперь затихли у него в голове.

— Что-то не видать Рейчел! — проговорил он.

Моросил дождь, и молодые женщины, стайками пробежавшие мимо Стивена, крепко придерживали у подбородка накинутае на голову платки. Он, видимо, хорошо знал Рейчел, ибо одного взгляда на этих женщин ему было достаточно, чтобы удостовериться, что ее нет среди них. Наконец на улице не осталось ни одной; тогда он повернулся и сказал с сожалением: «Не иначе как я пропустил ее!»

Но не прошел он и трех улиц, как увидел впереди себя еще одну закутанную в платок женскую фигуру и стал так жадно вглядываться в нее, что, если бы он не видел саму женщину, которая двигалась от фонаря к фонарю, то скрываясь во мраке, то появляясь вновь, он, быть может, по одной ее тени, расплывающейся на мокрых камнях, угадал, кто это. Он ускорил шаг, быстро и бесшумно нагнал ее, пошел тише и только тогда окликнул: «Рейчел!»

Она поворнулась к нему и откинула платок со лба; свет фонаря упал на продолговатое смуглое лицо с тонкими чертами, на лучистые кроткие глаза, на гладко зачесанные черные блестящие волосы. Лицо это не сияло первым цветением молодости — женщине было лет тридцать пять.

— А, Стивен, это ты? — сказала она, улыбаясь, и улыбка ее была бы не менее выразительна, если бы видны были только ее ясные глаза; потом она снова низко надвинула платок на лицо, и они вдвоем пошли дальше.

— Я думал, ты позже меня вышла, Рейчел.

— Нет.

— Нынче пораньше ушла?

— Когда пораньше выхожу, когда попозже. Не стоит после работы поджидать меня, Стивен.

— Да и на работу, как видно, тоже. Да, Рейчел?

— Да.

Он грустно посмотрел на нее, но вместе с тем взгляд его выражал

безропотную покорность и глубочайшее убеждение, что она всегда и во всем права. Она поняла смысл этого взгляда и, словно в благодарность за него, легко коснулась его руки.

— Мы с тобой такие верные друзья, Стивен, и такие старые друзья, и мы сами уже становимся стариками.

— Нет, Рейчел, неправда, ты все такая же молодая.

— Пока мы оба живы, — сказала она, засмеявшись, — ни тебе, ни мне, пожалуй, не догадаться, как это стареть в одиночку. Но все равно, мы с тобой очень старые друзья, и скрывать правду друг от дружки было бы просто грешно. Лучше нам пореже ходить вместе. А иногда будем! Трудно нам вовсе не ходить вместе, правда? — сказала она весело, стараясь подбодрить его.

— И так нелегко, Рейчел.

— А ты не думай, что трудно, вот и станет легче.

— Пробовал, и долго пробовал, — не помогает. Но ты верно рассудила. Народ болтать начнет даже и про тебя. Ты, Рейчел, уже сколько лет — знаешь, что ты для меня? Мне с тобой так хорошо, всегда ты утетишишь, развеселишь, стало быть, слово твое для меня закон. И хороший, правильный закон. Лучше, чем настоящие законы.

— Никогда не хлопочи о них, Стивен, — быстро отвечала она, скользнув тревожным взглядом по его лицу. — Оставь законы в покое.

— Да, — сказал он, качнув головой. — Оставь законы в покое. Не трогай их. Ничего вообще не трогай. И никого. Морока, да и только.

— Уж будто одна только морока? — сказала Рейчел, снова касаясь руки Стивена, чтобы отвлечь его от мрачных дум.

Он тотчас же откликнулся на ее движение и, выпустив длинные концы шейного платка, которые в рассеянии покусывал на ходу, отвечал ей с добродушным смешком:

— Да, Рейчел, одна только морока. То и дело она попадаетея мне на пути, и я никак из нее не вылезу.

Они шли уже довольно долго, и до их жилищ оставалось немного. Дом, где квартировала женщина, был ближе. Он стоял в одном из многочисленных проулков, для которых самый популярный в округе гробовщик (извлекающий весьма приличный доход из единственной убогой роскоши, какую позволяла себе здешняя беднота) нарочно держал выкрашенную черной краской лестницу, дабы те, кто каждый божий день протискивался вверх и вниз по узким ступенькам, могли, покидая этот мир, с удобством выскользнуть из него через окно. Женщина остановилась и, протянув своему спутнику руку, пожелала ему спокойной ночи.

— Покойной ночи, дорогая, спи спокойно!

Она свернула за угол, а он еще постоял, глядя вслед стройной, аккуратной фигурке, степенно и скромно уходившей по темной улице, пока она не вошла в один из домишек. Вероятно, ни одно колыхание ее грубого платка не ускользнуло от его внимательных глаз, — и ни один звук ее речи не остался без отклика в самых сокровенных тайниках его сердца.

Когда она скрылась из виду, он продолжал свой путь, время от времени подымая глаза к небу, по которому стремительно неслись клочковатые тучи. Но теперь они поредели, дождь прекратился, и ярко сияла луна — она заглядывала в высокие трубы Кокстауна, освещая потухшие горны и отдыхающие паровые машины, чьи исполинские тени чернели на стенах. Вместе с прояснившимся вечером, казалось, и у Стивена стало яснее на душе.

Он жил на втором этаже над лавочкой, в таком же проулке, что и Рейчел, только еще поуже. Каким чудом находились люди, готовые продавать или покупать жалкие игрушки, выставленные в окне вперемежку с газетами и кусками свинины (в тот вечер там лежал окорок, который предстояло разыграть на другой день), — этого мы здесь касаться не будем. Стивен достал с полки свой огарок, зажег его о другой огарок, стоявший на прилавке, и, не беспокоив хозяйку, которая спала в каморке за лавочкой, поднялся к себе в комнату.

Комната эта не раз видела, как жильцы покидали ее, пользуясь черной лестницей гробовщика, но сейчас в ней было почти уютно. Несколько книг и тетрадей лежали на старенькой конторке в углу, мебель была приличная и в должном количестве, и хоть воздух и не отличался свежестью, комната блистала чистотой.

Подходя к круглому, на трех ножках столику возле очага, чтобы поставить на него свечу, Стивен споткнулся обо что-то. Он попятился, глянул вниз и увидел женщину, которая, лежа на полу, силилась приподняться.

— Господи помилуй! — вскрикнул он, отпрянув от нее. — Опять ты здесь?

Как страшна была эта женщина! Беспомощная, пьяная, она полулежала на полу, опираясь, чтобы не упасть, на замызганную руку, а другой рукой делала слабые попытки откинуть со лба спутанные волосы, мешавшие ей видеть, но от этого только грязь размазывалась по лицу. Отвратительное существо, — но как ни отталкивал ее внешний облик, ее заляпанные, забрызганные отрепья, нравственное падение этой женщины было еще ужасней, и даже смотреть на нее казалось постыдным делом.

Бранясь и чертыхаясь, неловко теребя растрепанные волосы, она, наконец, кое-как отбросила лезшие ей в глаза пряди и посмотрела на Стивена. Потом она стала раскачиваться, слабо размахивая свободной рукой, как будто хотела показать, что давится от хохота, хотя лицо ее оставалось неподвижным и сонным.

— А-а, это ты? Явился? — наконец прохрипела она насмешливо и уронила голову на грудь.

— Опять здесь? — взвизгнула она после минутного молчания, словно только что услышала от него этот возглас. — Да! Опять здесь. Опять здесь, и еще приду. Здесь? Да, здесь! А почему бы и нет?

Как будто бессмысленная ярость, с какой она выкрикивала эти слова, придала ей силы, она поднялась на ноги и стала перед ним, прислонившись к стене и пытаясь изобразить на своем лице презрительный гнев.

— Я опять все твое распродам, и опять распродам, и опять, и опять! — кричала она и тыкала в него рукой, в которой за шнурок держала жалкий остаток шляпки, не то исходя лютой злобой, не то силясь исполнить какую-то воинственную пляску. — Сойди-ка с кровати! — Стивен сидел на краю постели, спрятав лицо в ладони. — Сойди, это моя кровать, моя!

Когда она, пошатываясь, шагнула к нему, он с дрожью отвращения, не открывая лица, посторонился и прошел в дальний угол комнаты. Она тяжело упала на постель и тотчас захрапела. Он опустил на кресло и просидел не шевелясь всю ночь. Только раз он поднялся и набросил на нее одеяло — словно мало было одних его рук, чтобы заслониться от нее, даже впотьмах.

Глава XI

Тупик

Сказочные дворцы вспыхнули огнями прежде, нежели бледный утренний свет озарил огромные змеи дыма, ползущие над Кокстауном. Стук деревянных подошв по мостовой, торопливый звон колоколов — и все грузные слоны, начищенные и смазанные, уже снова в припадке тихого помешательства делали свое тяжкое, однообразное дело.

Стивен работал, склонясь над своим станком, молча, внимательно, спокойно. Как непохож был он и все, кто трудился вместе с ним в этой чащобе ткацких станков, на гремучую, трескучую, неугомонную машину, у которой он стоял! Не бойтесь, добрые люди с опасливым складом ума, — никогда художество не предаст забвению природу. Поставьте рядом, где угодно, и сравните созданное богом и созданное человеком, и первое, будь то даже всего-навсего кучка очень скромных рабочих рук, неизмеримо превзойдет достоинством второе.

Столько-то сотен рабочих рук на этой фабрике; столько-то сотен лошадиных сил. Известно с точностью до силы в один фунт, чего можно ожидать от машины; но вся армия счетчиков, выводящих цифры государственного долгу, не скажет мне, какова сила добра или зла, любви или ненависти, патриотизма или недовольства, добродетели, выродившейся в порок, или порока, переродившегося в добродетель, на какую способна, в любую минуту, душа хотя бы одного из молчаливых слуг машины с непроницаемым лицом и мерными движениями. В машине нет тайн; в каждом, самом ничтожном из них, заключена глубочайшая тайна — на веки веков. Не прибегать ли нам математические вычисления для предметов неодушевленных, и не, управлять ли этими грозными неведомыми величинами с помощью других средств?

Настало утро, дневной свет, проникая в окна, уже затмевал зажженные в цехах огни. Потом огни потушили, и работа продолжалась. Шел дождь, и дымовые змеи, покорные проклятию, тяготеющему над всем змеиным семенем, волочились по земле. На заднем дворе пар, паливший из выпускной трубы, дырявые бочки и железный лом, поблескивающие кучи каменного угля, зола, рассыпанная повсюду кругом, — все было затянуто пеленой дождя и тумана.

Работа продолжалась до полудня. Зазвонил колокол. Снова стук башмаков по мостовой. Ткацкие станки, и зубчатые колеса, и рабочие руки

остановились на один час.

Стивен, бледный, осунувшийся, вышел из душного цеха на холод и сырость мокрых от дождя улиц. Покинув своих собратьев и свой квартал, захватив с собой только кусок хлеба, он направился к холму, где жил его хозяин — в красном доме с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, черной входной дверью, к которой вели две белые ступеньки, с именем БАУНДЕРБИ (из букв, размерами сильно напоминающих его самого) на медной доске над круглой, тоже медной дверной ручкой, похожей на поставленную в конце предложения медную точку.

Мистер Баундерби сидел за вторым завтраком. Стивен так и думал. Может быть, слуга доложит, что один из фабричных просит позволения поговорить с ним? Слуга воротился с вопросом — кто именно из фабричных? Стивен Блекпул. Ничего крамольного за Стивеном Блекпулом не числилось; да, пусть войдет.

Стивен Блекпул в столовой. Мистер Баундерби (которого Стивен едва знал, и то с виду) за бараньей отбивной и хересом. Миссис Спарсит у камина, за вязаньем сеток, в позе амазонки, опираясь одной ногой на стремя из бумажной пряжи. И собственное достоинство миссис Спарсит и ее положение в доме требовали, чтобы она не завтракала дважды. По долгу службы она надзирала над этой трапезой, но давала понять, что лично она, с высоты своего величия, считает второй завтрак недопустимой слабостью.

— Ну-с, Стивен, — спросил мистер Баундерби, — что с вами приключилось?

Стивен поклонился. Без угодливости — этого от рабочих рук не дождешься! Помилуйте, сэр, такого за ними не водится, хоть бы они проработали у вас двадцать лет! — и, отдавая должное присутствию миссис Спарсит, засунул концы шейного платка за жилет.

— Ну-с, Стивен, — продолжал мистер Баундерби, прихлебывая херес, — с вами мы никогда никаких хлопот не знали и вы никогда не были в числе беспокойных. Вы не воображаете, что вас должны катать в карете шестеркой и кормить черепаховым супом и дичью с золотой ложечки, как воображают очень многие из вас! — Мистер Баундерби всегда объявлял именно это единственной, непосредственной и прямой целью всех рабочих рук, стоило им выразить малейшее недовольство. — И потому я знаю наперед, что вы пришли сюда не с жалобой. Ну-с, так вот, я в этом заранее уверен.

— Нет, сэр, я вовсе не за этим пришел.

Мистер Баундерби, видимо, был приятно удивлен, вопреки только что

высказанному им твердому убеждению.

— Отлично, — проговорил он, — вы человек положительный, я в вас не ошибся. Ну-с, послушаем, какое у вас дело. Коли вы не за этим пришли, то за чем же? В чем надобность? Выкладывайте, любезный!

Стивен покосился на миссис Спарсит.

— Я могу уйти, если вам угодно, — самоотверженно предложила сия достойная особа, делая вид, что вынимает ногу из стремени.

Мистер Баундерби остановил ее, задержав во рту кус баранины и вытянув вперед левую руку. Засим он отвел руку, проглотил баранину и обратился к Стивену:

— Ну-с, вот что: эта леди — леди по рождению, знатная леди. Оттого, что она ведет у меня хозяйство, вы не думайте, пожалуйста, что она не занимала раньше высокое положение — очень высокое! Ну-с, ежели вы хотите мне сказать такое, чего нельзя сказать при высокородной леди, эта леди выйдет из комнаты. А ежели вы хотите сказать мне такое, что *можно* сказать при высокородной леди, тогда эта леди останется здесь.

— Надеюсь, сэр, что с самого моего собственного рождения я ни разу не сказал ничего, что не пристало слушать прирожденной леди, — вспыхнув, отвечал Стивен.

— Отлично, — сказал мистер Баундерби, отодвигая тарелку и откидываясь на спинку стула. — Валяйте!

— Я пришел, — начал Стивен после минутного раздумья, подымая глаза от пола, — спросить у вас совета. Совет мне нужен до зарезу. Я женился давным-давно, в понедельник на Святой будет девятнадцать лет. Она были молодая, собой хороша и слава о ней шла добрая. Так вот — она сбилась с пути, очень скоро сбилась. Не по моей вине. Видит бог, я был ей неплохим мужем.

— Об этом я уже слышал, — сказал мистер Баундерби. — Она стала выпивать, бросила работу, распродала мебель, заложила одежду и вообще загуляла.

— Я долго терпел.

(— Ну и дурак, — вполголоса ввернул мистер Баундерби, обращаясь к бокалу с хересом.)

— Я долго терпел. Думал, отучу ее, все надеялся. Чего я только не делал! Уж я и так, и сяк, и этак. Приду, бывало, домой, гляжу — добро мое все растащено, а она без памяти валяется пьяная на голом полу. И не раз так-то, не два, а двадцать раз!

Все морщины на лице Стивена обозначились резче, пока он говорил, красноречиво свидетельствуя о перенесенных им страданиях.

— Так оно и пошло, и все хуже и хуже. Потом она ушла от меня. И уж тут стала совсем пропащая. И вот — нет-нет, да и приходит. Приходит и приходит. А как я могу не пустить ее? Бродишь, бродишь по улицам всю ночь, лишь бы домой не идти. Я уж и к мосту наведывался, брошусь, думаю, в воду, и делу конец. Уж так-то я намучился, что смолоду стариком стал.

Миссис Спарсит, покачиваясь в седле и не спеша передвигая вязальные челноки, подняла свои кориолановские брови и повела головой, словно хотела сказать: «Горе знают и великие и малые мира сего. Так обрати свой смиренный взор на *меня*».

— Я платил ей деньги, чтобы она не показывалась мне на глаза. Целых пять лет платил. И опять обзавелся кое-каким добром. Жил я трудно, тоска заедала, но стыда не было, и я не трясся от страха день и ночь. Пришел я домой вчера вечером. А она лежит у меня перед очагом! И сейчас там!

Доведенный до отчаяния, весь во власти своего горя, Стивен забылся и говорил независимо и страстно. Но уже в следующую минуту он снова стоял так, как стоял все время, — ссутулившись, обратив к мистеру Баундерби задумчивое лицо и глядя на него не то испытующе, не то с недоумением, словно силился разрешить очень трудную задачу; левой рукой он крепко прижимал к бедру свою шляпу; движения правой руки грубовато, со сдержанной энергией подчеркивали его слова, и не менее выразительна была эта рука, слегка согнутая в локте, но не опущенная, когда Стивен умолкал.

— Все это мне давным-давно известно, — заметил мистер Баундерби, — кроме разве последнего пункта. Плохо ваше дело; хуже некуда. И чего вам не хватало? Зачем это вы вздумали жениться? Впрочем, об этом теперь поздно говорить.

— Скажите, сэр, а не был ли это неравный брак в смысле разницы лет? — спросила миссис Спарсит.

— Слышите, о чем леди спрашивает? Ваш брак оказался неудачным из-за разницы лет? — повторил мистер Баундерби.

— Зачем же? Мне был двадцать один год, ей шел двадцатый.

— Вот как, сэр? — елеиным тоном обратилась миссис Спарсит к своему принципалу. — А я было подумала, что этот несчастливый брак следствие неравенства в годах.

Мистер Баундерби не очень милостиво и вместе с тем как-то неуверенно глянул на свою домоправительницу. Для бодрости духа он отхлебнул хересу.

— Ну-с? Чего же вы замолчали? — нетерпеливо спросил он,

поворотившись к Стивену Блекпулу.

— Я пришел, сэр, спросить у вас совета, как мне избавиться от этой женщины. — Сосредоточенное лицо Стивена, по-прежнему выражавшее смесь недоумения и пытливости, при его последних словах еще более посуровело. Миссис Спарсит тихо ахнула, точно слова Стивена поразили ее в самое сердце.

— Что такое? — сказал мистер Баундерби и, встав из-за стола, прислонился спиной к камину. — О чем вы говорите? Вы же взяли ее в жены на радость и горе... [\[32\]](#)

— Я должен избавиться от нее. Сил моих больше нету. Я долго терпел, потому терпел, что одна женщина — второй такой на всем свете не сыщешь — жалела меня и утешала. Ежели бы не она, я наверняка рехнулся бы.

— Боюсь, сэр, что он хочет разойтись с женой, чтобы жениться на женщине, о которой говорит, — вполголоса заметила миссис Спарсит, крайне удрученная столь явной безнравственностью простого народа.

— Верно. Леди правду говорит. Это верно. Я так и хотел сказать. Я читал в газетах, что люди важные (бог с ними, я им зла не желаю!) не так уж крепко связаны на радость и горе, и в случае несчастливого брака им-то можно разойтись и опять жениться. Когда нет согласия, не сошлись характерами, — у них в домах имеются разные комнаты и можно жить поврозь. А у нашего брата одна только комната, и мы так не можем. А ежели и этого мало, то у них и добра и денег много, они скажут: «Это вот тебе, а это мне», и каждый пойдет своей дорогой. А мы так не можем. И расходятся-то они по сущим пустякам, ежели сравнить с моим горем. Нет, я должен избавиться от этой женщины, и я прошу вас научить меня, — как?

— Никак, — отвечал мистер Баундерби.

— Ежели я что над ней сделаю, сэр, есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели я сбегу от нее, — есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели я женюсь на другой, любимой женщине, есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели бы мы стали жить вместе не женатые, — хотя этого и быть бы не могло, такая она честная, — есть такой закон, чтобы наказать меня в каждом моем ни в чем не повинном младенце?

— Разумеется.

— Тогда, бога ради, назовите такой закон, который помог бы мне! — сказал Стивен Блекнул.

— Гм! Это священные узы, — отвечал мистер Баундерби, — и... и... их надо охранять.

— Только не так, сэр. Нисколько их это не охраняет. Наоборот. От этого они хуже рвутся. Я простой ткач, с детства работаю на фабрике, но я не слепой и не глухой. Я читаю в газетах, как людей судят, — да и вы наверняка тоже, — и просто страх берет, когда видишь, что из-за этой самой цепи, которую будто бы нельзя разорвать, ни за что и ни в коем случае, кровь льется по всей стране. Среди простого народа, между мужьями и женами, не то что до драки, а и до смертоубийства дело доходит. Это надо понимать. У меня большая беда, и я прошу вас назвать закон, который мне поможет.

— Ну-с, вот что, — сказал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы, — если хотите знать, есть такой закон.

Стивен, по-прежнему не спуская глаз с лица Баундерби, одобрительно кивнул головой.

— Но он вам не подойдет. Это денег стоит. Больших денег.

— А сколько, к примеру? — спокойно осведомился Стивен.

— Вам надо было бы поехать в Лондон и подать прошение в суд по семейным делам, подать прошение в гражданский суд, подать прошение в палату лордов^[33] и добиться постановления парламента о том, что вам разрешается вторично вступить в брак, и обошлось бы это вам (ежели бы все шло гладко) не то в одну, не то в полторы тысячи фунтов. А может быть и вдвое больше.

— Другого закона нет?

— Нет.

— Стало быть, сэр, — сказал Стивен, бледнея и безнадежно махнув рукой, словно говоря «пропадай все пропадом», — стало быть, верно, что все одна только морока. Всюду морока, и больше ничего, и чем скорее я помру, тем лучше.

(Такой недостаток благочестия в народе опять сразил бедную миссис Спарсит.)

— Ну, ну, не болтайте вздора, любезный, — возразил мистер Баундерби, — и особенно о том, в чем вы ничего не смыслите. И лучше не называйте наши отечественные учреждения морокой, не то вы сами чего доброго мороки не оберетесь. А наши отечественные учреждения — это вам не нитки сучить. Вы знайте свою работу, а остальное вас не касается. Вы брали жену не на время, не для обману, а на всю жизнь, на радость и

горе. Вышло горе, а могла выйти радость, — и больше тут говорить не о чем.

— Морока, — качая головой, повторил Стивен и повернулся к двери, — одна морока.

— Ну-с, вот что! — начал мистер Баундерби, решив не отпускать Стивена без прощального напутствия. — Своими, я бы сказал, богохульными речами вы совсем расстроили эту леди, а я уже говорил вам, что она прирожденная леди, и сама она, хотя я этого не говорил вам, пострадала в замужестве на десятки тысяч фунтов — десятки ты-сяч фунтов! (повторил он, смакуя каждый слог). — Ну-с, до сих пор вы всегда были человек положительный. Но сдается мне, прямо вам говорю, что вы не туда заворачиваете. Вы слушаете всяких зловредных чужаков, которые вечно здесь околачиваются, и мой вам совет, вы это бросьте. У меня, — тут он изобразил на своем лице необычайную проницательность, — у меня, знаете ли, нюх не хуже, чем у людей, а пожалуй, и получше, потому что меня с детства во все тыкали носом. И я чую, что это пахнет супом из черепахи, дичью и золотой ложечкой. Да, чую! — крикнул мистер Баундерби, упрямо мотая головой и всем своим видом показывая, что его, мол, не проведешь. — Чую, черт побери!

Стивен тоже помотал головой, но совсем иначе, тяжело вздохнув, сказал: «Благодарю вас, сэр, будьте здоровы», — и вышел. Мистер Баундерби остался стоять перед своим портретом на стене и, любуясь им, так раздулся от чванства, что, казалось, вот-вот треснет и осколками засыплет свое изображение; а миссис Спарсит все так же трусила мелкой рысью, опершись ногой о стремя, донельзя удрученная испорченностью простого народа.

Глава XII

Старушка

Старый Стивен спустился по двум белым ступенькам, затворил черную дверь с медной доской, взявшись за медную точку и не преминув на прощанье потереть ее рукавом, так как заметил, что на ней остались следы его влажных пальцев. Он перешел через улицу, не подымая глаз, и погруженный в невеселые думы продолжал свой путь, как вдруг кто-то тронул его за локоть.

Это было не то прикосновение, в котором он превыше всего нуждался в ту минуту, — прикосновение, способное утишить бурю, кипевшую в его душе, как простертая рука воплощенной любви и кротости усмирила бушующее море — однако, коснулась его все же женская рука. Женщина, остановившая Стивена, оказалась старушкой, с морщинистым, увядшим лицом, но довольно высокого роста и все еще статная. Одета она была очень просто и опрятно, но к башмакам пристала дорожная грязь, видимо она пришла пешком издалека. Ее растерянность в непривычном шуме городских улиц; теплая шаль, перекинута через руку; громоздкий зонтик; корзиночка, перчатки не в пору и не обношенные, слишком широкие, с пустыми кончиками пальцев, — все изобличало старую крестьянку, которая, надев свой скромный праздничный наряд, отправилась в Кокстаун по какому-то чрезвычайному случаю. С присущей рабочему человеку сметливостью Стивен Блекнул сразу догадался об этом и чтобы лучше расслышать вопрос женщины, приблизил к ней свое лицо — сосредоточенное, как у многих его собратьев по ремеслу, у которых от долгой непрерывной работы глаз и рук под грохот машин лица приобретают то напряженное выражение, какое мы привыкли видеть на лицах глухих.

— Извините, сэр, — сказала женщина, показывая пальцем на дом Баундерби, — вы вышли из дома того джентльмена? Как будто это были вы — я не обозналась?

— Да, миссис, я вышел оттуда, — отвечал Стивен.

— А вы... уж вы простите меня, старуху... видели джентльмена?

— Да, миссис.

— А как он вам показался, сэр? Что он — полный, здоровый, всем довольный? — Для наглядности она бодро выпрямилась и вскинула голову, и вдруг у Стивена мелькнула мысль, что он эту старую женщину где-то уже

видел и она ему не очень понравилась.

— Будьте покойны, — отвечал он, внимательно приглядываясь к ней, — таким он и был.

— И веселый, — продолжала старушка, — как ясный день?

— Да, — отвечал Стивен. — Он пил и ел в свое удовольствие.

— Спасибо! — радостно сказала старушка. — Спасибо!

Он, несомненно, никогда в жизни не видел эту женщину. И вместе с тем она вызывала в нем какое-то смутное воспоминание, словно ему не раз снилась старуха, похожая на нее.

Она шла рядом с ним, и, чутко отзываясь на ее состояние духа, он заметил, что в Кокстауне очень много шума к толкотни, правда? На что она ответила: «Очень даже! Просто страх!» Потом он сказал, что она приехала из деревни, верно? На что она ответила утвердительно.

— По железной дороге, парламентским^[34], нынче утром. Сорок миль проехала в поезде нынче утром, нынче же проеду сорок миль обратно. А до станции пешком шла девять миль, и коли никто мне не попадетсЯ на дороге, кто бы подвез, опять девять миль пешком пройду нынче вечером. В мои-то годы, сэр, каково! — говорила словоохотливая старушка, торжествующе глядя на Стивена заблестевшими глазами.

— Еще бы! Но часто вам этого делать нельзя, миссис.

— Нет, нет. Только раз в году, — отвечала она, качая головой. — Целый год коплю денежки. Раз в году приезжаю, хожу по улицам и гляжу на господ.

— Только глядите на них? — спросил Стивен.

— Мне и этого довольно, — сказала она проникновенно. — Большого я не прошу! Я стояла напротив вон того дома, думала, увижу, как он выйдет, — она оглянулась через плечо на дом Баундерби. — Но в этом году он запоздал, и я его не видела. Вместо него вышли вы. Коли уж так суждено мне уехать, не взглянув на него — я ведь только взглянуть хотела, — ну что же! Я видела вас, а вы видели его, с тем и останусь. — Она пристально посмотрела на Стивена, словно стараясь запечатлеть в памяти его черты, и глаза ее уже не блестели так радостно.

Стивен подумал, что вкусы, конечно, бывают всякие, и такое смиренное почитание кокстаунских патрициев тоже можно понять, однако ему все же казалось странным, чтобы кто-нибудь тратил столько сил ради удовольствия взглянуть на них. Но в ту минуту они проходили мимо церкви, и Стивен, бросив взгляд на часы, ускорил шаг.

Он спешит на работу? — спросила старушка, с легкостью тоже ускоряя шаг. Да, время почти истекло. Когда он сказал ей, где работает,

женщина повела себя еще более странно.

— Вы очень счастливы, да? — спросила она.

— У всякого свои заботы, миссис. — Стивен отвечал уклончиво, — старушка, видимо, была твердо убеждена в том, что он чрезвычайно счастлив, и у него не хватило духу разочаровывать ее. Он хорошо знал, что на свете довольно горя, и если эта старая женщина, прожившая столь долгую жизнь, могла предположить, что оно миновало его, — тем лучше для нее, а его от этого не убудет.

— Да, да, понимаю! Дома небось не все ладно? — сказала она.

— Бывает кое-когда, — небрежно отвечал он.

— Но на фабрике вы уже не помните о своих заботах? Вы ведь работаете на такого хозяина!

Нет, нет, там он о них не помнит, заверил ее Стивен. Там все ладно. Без сучка и задоринки. (Стивен не зашел слишком далеко в своем желании потешить старушку и не сказал, что там действует нечто вроде божественного права, но мне в последние годы доводилось слышать и такие заявления.)

Они уже подходили к фабрике, по черному проулку, вместе с толпой возвращающихся после перерыва рабочих. Звонил колокол, змий свивался кольцами, Слоны готов были приступить к делу. Удивительная старушка даже от колокола пришла в восторг. Она сказала, что в жизни не слышала такого чудесного колокола, до чего же хорош звон!

Когда он остановился и с доброй улыбкой протянул ей на прощание руку, она спросила, давно ли он здесь работает?

— Лет двенадцать, — отвечал он.

— Дайте я поцелую руку, — сказала она, — которая проработала двенадцать лет на этой чудесной фабрике!

Прежде чем он успел удержать ее, она схватила его руку и прижала к губам. Он не понимал, что в этой женщине, помимо старости и детской простоты, создавало впечатление цельности и душевной гармонии, но даже ее более чем странный поступок не показался ему неуместным или нелепым, он только чувствовал, что никто другой не сделал бы это так проникновенно, естественно и трогательно.

Он уже с добрых полчаса работал на своем станке, раздумывая о непонятной старушке, когда ему понадобилось обойти его кругом, и, случайно бросив взгляд в окно, он увидел, что она все еще стоит на улице, самозабвенно созерцая фабричное здание. Невзирая на дым, грязь, сырость, на долгий проделанный путь и предстоящее обратное путешествие, она с таким восхищением глядела на многоэтажные корпуса,

словно нестройный шум, доносившийся оттуда, звучал для нее сладчайшей музыкой.

Потом она ушла, и день ушел вслед за ней, и опять зажглись огни и курьерский поезд промчался по железнодорожному мосту мимо сказочных дворцов — едва замеченный в цехах среди сотрясающихся машин, едва услышанный в грохоте и стуке шестерен. Задолго до этого мысли Стивена снова обратились к страшной комнате над лавкой, где потерявшее человеческий образ существо тяжело лежало на кровати, но еще большей тяжестью лежало у него на сердце.

Машины замедлили ход, едва уловимая дрожь, будто биение замирающего пульса, прошла по ним; остановились. Снова колокол; погасли яркие огни и пышущие жаром горны; фабричные корпуса громоздились в сыром вечернем мраке, вздымая к небу свои высокие трубы, словно соперничающие между собой Вавилонские башни^[35].

Он, правда, только вчера виделся с Рейчел и вместе с ней прошел немного по дороге домой; но с тех пор его постигло новое несчастье, и никто, кроме Рейчел, не мог бы, хоть на краткий миг, облегчить его горе; зная это и зная, что только звук ее голоса способен утишить закипавший в нем гнев, он решил, вопреки ее вчерашним словам, опять подождать ее. Он ждал, но она уклонилась от встречи с ним. Он так и не дождался ее. А в какой другой вечер так страстно желал он увидеть ее кроткое лицо!

Лучше быть бездомным и не иметь где приклонить голову, чем иметь дом и страшиться войти в него. Он где-то поужинал, потому что сильно проголодался, но не замечая и не помня, что ест и что пьет; потом бродил под моросящим дождем, и все думал и думал, терзаясь мрачными мыслями.

Ни единого слова о новом браке никогда не было сказано между ними; но много лет тому назад Рейчел выказала ему глубокое участие, и все минувшие годы он ей одной изливал душу, сетуя на свою злосчастную судьбу; и он очень хорошо знал, что, будь он свободен, она пошла бы за него. Он думал о доме, который мог быть у него и куда он в эту самую минуту спешил бы с отрадой и гордостью; о себе, о том, что в этот вечер он был бы совсем другим человеком, о том, что на сердце у него было бы легко, не давила бы, как сейчас, свинцовая тяжесть; о том, что честь его, достоинство, спокойствие духа — все, что теперь пошло прахом, было бы вновь обретено. Он думал о загубленной лучшей поре своей жизни, о том, что ото дня ко дню он становится хуже, озлобленнее, о страшном существовании, на которое он обречен, связанный по рукам и ногам, прикованный к живому трупу, терзаемый злым демоном в обличье пропойцы жены. Он думал о Рейчел, — такой юной, когда они впервые

встретились, — о том, что теперь она зрелая женщина и старость для нее уже не за горами. Сколько девушек и молодых женщин на ее глазах вышли замуж, сколько вокруг нее возникло семейных очагов, — и год за годом она стойко шла своей тихой одинокой тропой — ради него, и лишь изредка он видел легкую тень печали на ее милом лице, и тогда сердце у него разрывалось от жалости и раскаяния. Он мысленно ставил ее образ рядом с гнусным видением прошлой ночи и думал — возможно ли, чтобы весь земной путь столь доброго, чистого, самоотверженного создания был омрачен такой жалкой тварью!

Переполненный этими мыслями — до такой степени переполненный, что ему казалось, будто он сделался больше, будто все предметы, мимо которых он проходил, приобрели какие-то новые, искаженные очертания, а радужные кружки вокруг тусклых фонарей стали красными, — он, наконец, воротился домой.

Глава XIII

Рейчел

Пламя свечи тускло мерцало в окне, откуда столь часто по приставленной черной лестнице навеки ускользал из жизни тот, кто был дороже всех на свете для измученной жены и голодных детей; и к другим думам Стивена прибавилась еще гневная мысль о том, что из всех несчастий земного существования наименее справедливо люди одеваются смертью. Неравенство рождения ничто перед этим.

Пусть этой ночью в одно и то же мгновение родится сын короля и сын ткача — что эта прихоть судьбы рядом со смертью любого человека, кто был опорой, счастьем ближнего своего, между тем как эта погибшая женщина продолжает жить!

Он поднялся к себе, затаив дыхание, медля на каждом шагу. Подойдя к своей двери, он отворил ее и вошел в комнату.

Мир и тишина царили здесь. У изголовья кровати сидела Рейчел.

Она поворотилась к нему, и сияние ее глаз озарило кромешный мрак его души. Она сидела подле кровати и ухаживала за его женой. Вернее — он угадывал, что кто-то лежит там, и слишком хорошо знал, что это она; но Рейчел занавесила кровать, и он не видел жену. Ее грязные лохмотья исчезли, и в комнате появилось кое-что из одежды Рейчел. Каждая вещь, как всегда у него, лежала на своем месте, повсюду было прибрано, неяркий огонь подправлен, очаг чисто выметен. Ему казалось, что все это он прочел на лице Рейчел и что он смотрел только на нее. Глаза его наполнились слезами, мешая ему видеть ее, но он успел заметить устремленный на него внимательный взгляд и слезы, выступившие и на ее глазах.

Она опять поворотилась к постели и, убедившись, что там все спокойно, заговорила тихим и ровным голосом:

— Хорошо, что ты, наконец, пришел, Стивен. Уже очень поздно.

— Я ходил по улицам.

— Так я и думала. Только ночь-то какая. Дождь льет, и ветер задувает.

Ветер? А ведь правда. И сильный ветер. Как он громко воет в трубе, как ревет за окном. Шататься по улицам на таком ветру, и даже не заметить его!

— Я уже побывала здесь нынче, Стивен. Хозяйка приходила за мной в обед. Сказала, тут одна расхворалась, надо присмотреть за ней. И верно сказала, Стивен. Без памяти была, бредила. Да и вся разбитая, пораненная.

Он медленно подошел к стулу и сел напротив нее, опустив голову.

— Я пришла помочь ей чем могу. Потому пришла, что мы вместе с ней работали, когда обе были молоды, и потому, что когда ты полюбил ее и взял за себя, мы с ней дружили...

Он с подавленным стоном прижал руку к изборозженному морщинами лбу.

— И еще потому, что я знаю твое сердце, знаю, что оно жалостливое и не можешь ты дать ей умереть, или хотя бы мучиться без помощи. Ты знаешь, кем сказано: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». [\[36\]](#) И многие, очень многие бросают. Но только не ты, Стивен. Ты не бросишь в нее камень, когда она такая несчастная.

— Ах, Рейчел, Рейчел!

— Ты тяжелый крест несешь, воздай тебе за это господь! — участливо сказала Рейчел. — А я твой бедный друг всем сердцем и всей душой.

Раны, о которых говорила Рейчел, видимо, были на шее у злополучной, погубившей себя женщины. Рейчел стала перевязывать их, по-прежнему скрывая больную от Стивена. Она смачивала белую тряпку в тазике, куда наливала какую-то жидкость из склянки, и осторожно прикладывала ее к ссадинам. Круглый столик был пододвинут к кровати, и на нем стояли две склянки. У Рейчел в руках была одна из них.

Стивен не отрывал глаз от рук Рейчел, но если бы он сидел подальше, он, быть может, не разобрал бы, что было начертано крупными печатными буквами на ярлыке. Он побледнел как смерть, точно им внезапно овладел невыразимый ужас.

— Я побуду здесь, Стивен, — сказала Рейчел, тихо сядя на прежнее место, — пока не пробьет три часа. В три часа опять сделаю примочку, а потом ее можно оставить до утра.

— Дорогая, ведь тебе завтра на работу.

— Я хорошо выспалась прошлой ночью. Я могу много ночей не спать, коли нужно. Вот тебе надо отдохнуть, ты такой бледный, измученный. Ты поспи немного, а я посторожу. Небось прошлую ночь совсем не спал. Тебе завтра куда труднее будет на работе, чем мне.

Он слышал неистовое завывание ветра, доносившееся снаружи, и ему чудилось, что дух возмущения и гнева, недавно владевший им, кружит у дверей, пытаясь добраться до него: это Рейчел изгнала дурные мысли; она не даст им войти; он знал, что она сумеет оградить его от него самого.

— Она меня не узнает, Стивен. Смотрит, будто не видит, и бормочет что-то в бреду. Я заговаривала с ней, сколько раз принималась, а она и не слышит! Но это к лучшему. Когда она опомнится, мое дело будет сделано, а

она ничего и не приметит.

— А сколько, надо думать, она так пролежит?

— Доктор сказал, может быть, завтра очнется.

Взгляд его снова упал на склянку, и дрожь прошла по всему телу, как от озноба. Рейчел сказала, что его, видно, прохватило сыростью. Нет, отвечал он, не то. Это с испугу.

— С испугу?

— Да, да! Когда я вошел. И когда ходил по улицам. И когда думал. И когда... — Его опять начало трясти; он встал, держась за полку над очагом, и провел по влажным волосам дрожащими, как у паралитика, пальцами.

— Стивен!

Она хотела подойти к нему, но он остановил ее движением руки.

— Нет! Не надо, не вставай. Я хочу видеть, как ты сидишь у постели. Я хочу видеть твою доброту и милосердие. Я хочу видеть тебя такой, какой увидел, когда вошел. Такой ты останешься для меня навсегда. Навсегда!

Весь дрожа, словно его била лихорадка, он упал на стул. Немного погодя он справился с собой и, облокотившись на одно колено, подперев голову рукой, посмотрел на Рейчел. Свеча горела тускло, он глядел сквозь слезы, застилавшие глаза, и ему чудилось сияние нимба вокруг ее головы. Он почти верил, что видит это воочию. И чем сильнее бушевала непогода, стучась в окно, сотрясая входную дверь, оглашая весь дом криками и стонами, тем крепче становилась его вера.

— Когда она поправится, Стивен, скорее всего, она опять уйдет и не станет тебя тревожить. Будем надеяться на это. А теперь я помолчу, а ты усни.

Он закрыл глаза, не столько потому, что хотел, наконец, дать себе отдых, сколько ради спокойствия Рейчел. Но мало-помалу вой ветра за окном стал глуше, потом превратился в стук его ткацкого станка и даже в шум голосов, слышанных днем (включая и его собственный) и повторяющих то, что было сказано наяву. А потом и это полузабытье кончилось, и ему привиделся долгий, путанный сон.

Ему снилось, что он и еще кто-то, кому он давно отдал свое сердце — но это была не Рейчел, что очень удивляло его, несмотря на владевшую им радость, — венчаются в церкви. Среди зрителей он узнавал немногих, о ком знал, что они живы, и многих, о ком знал, что они умерли; внезапно наступил полный мрак, прервавший совершение обряда, затем вспыхнул ослепительный свет. Он исходил от одной из десяти заповедей^[37], начертанных на доске над аналоем, и слова этой заповеди озаряли всю церковь. Они и звучали под сводами, как будто огненные письма обрели

голос. Но вот все вокруг него изменилось, не осталось никого и ничего — только он сам и священник. Они стояли в ярком свете дня перед огромной толпой, столь огромной, словно сюда стеклись люди всего мира; и все они гнушались им, и ни в одном из миллионов устремленных на него взоров он не прочел дружественного участия или жалости. Он стоял на высоком помосте под своим ткацким станком; взглянув вверх, он увидел, чем обернулся станок, услышал, как читают отходную, и понял, что осужден на казнь. Спустя мгновение то, на чем он стоял, ушло из-под его ног, и все было кончено.

Какими таинственными путями он возвратился к своей привычной жизни и знакомым местам, он не в силах был рассудить; но так или иначе он снова очутился на старом месте и над ним тяготел приговор — никогда, ни в этой жизни, ни в грядущей, во все неисчислимые столетия вечности не видеть лица Рейчел, не слышать ее голоса. Он бродил уныло, без устали, ни на что не надеясь, и все искал, не зная, что он ищет (он знал только, что обречен искать), и ни на один миг его не отпускал владевший им невыразимый ужас, смертельный страх перед предметом, форму которого принимало все вокруг. На что бы он ни поглядел, — рано или поздно глаза его узнавали то, чего он страшился. Его жалкое существование имело одну-единственную цель — не допустить, чтобы кто-нибудь из людей, с которыми он сталкивался, разгадал зловещее видение. Тщетные усилия! Если он выводил их из комнаты, где оно находилось, запирали шкафы и чуланы, где оно стояло, отгонял любопытных от тайников, где оно было спрятано, и выпроваживал их на улицу, — тогда каждая фабричная труба принимала те же страшные очертания, и вокруг нее вилось предостерегающее слово.

Снова завывал ветер, дождь барабанил по крыше, и бескрайнее пространство, в котором он только что блуждал, сузилось и снова было ограничено четырьмя стенами его комнаты. Ничто не изменилось с тех пор, как он сомкнул глаза, только в очаге погас огонь. Рейчел все так же сидела у изголовья кровати и, видимо, задремала. Завернувшись в платок, она сидела тихо, не шевелясь. Столик стоял на прежнем месте, у самой постели, и на нем, снова обретя обычный вид и обычный размер, стояло то, что преследовало его во сне.

Ему почудилось, что занавеска колыхнулась. Он глянул еще раз и увидел, что не ошибся. Показалась рука, пошарила вокруг. Занавеска колыхнулась сильнее, лежащая на кровати женщина отодвинула ее и села в постели.

Тяжелым, лихорадочным взглядом широко раскрытых воспаленных

глаз она угрюмо обводила комнату. Миновав угол, где стоял его стул, она снова обратила взор в ту сторону и стала напряженно всматриваться, заслонившись рукой от света. Потом опять стала оглядывать комнату, едва замечая Рейчел, а вернее, не видя ее вовсе, и опять уставилась в угол, где он сидел. Когда она опять заслонила рукой — не то вглядываясь в него, не то ища его глазами, словно какой-то темный инстинкт подсказывал ей, что он здесь, — он подумал, что ни в этих обезображенных чертах, ни в столь же обезображенной пороком душе и следа не осталось от той женщины, на которой он женился восемнадцать лет назад. Если бы он не видел сам, как она шаг за шагом опускалась все ниже, он ни за что бы не поверил, что это она.

И все это время он сидел точно заговоренный, не в силах шелохнуться, и только неотступно следил за ней.

Теперь она, сжав руками виски, тупо глядела перед собой, то ли в полусне, то ли тщетно пытаясь собраться с мыслями. Потом опять стала шарить глазами по комнате. И тут впервые взгляд ее уперся в круглый столик и стоявшие на нем склянки.

Она быстро, со злобой и вызовом, как и накануне, глянула в его сторону и осторожно, крадучись протянула руку. Нашупав кружку, она взяла ее в постель и с минуту раздумывала, какую из склянок выбрать. Наконец, не чуя опасности, она жадно схватила ту, которая сулила скорую и верную смерть, и зубами вытащила пробку.

Сон ли то был, или явь — он не мог шевельнуться, не мог слова вымолвить. Если это явь и ее урочный час еще не настал, проснись, Рейчел, проснись!

Она тоже подумала о Рейчел. Покосившись на нее, она очень медленно, очень осторожно наполнила кружку. Поднесла к губам. Миг один — и уже ничто не спасет ее, хотя бы весь мир проснулся и бросился ей на помощь! Но в это самое мгновение Рейчел, тихо вскрикнув, вскочила со стула. Пьянчуга сопротивлялась, ударила ее, вцепилась в волосы, но Рейчел отняла кружку.

Стивен сорвался со стула.

— Рейчел, во сне это или наяву? Какая страшная ночь!

— Все хорошо, Стивен. Я тоже уснула. Скоро три часа. Слышишь?

Ветер доносил бой церковных часов до самого окна. Они прислушались — пробило три. Стивен поглядел на Рейчел, увидел ее бледность, растрепанные волосы, багровые отпечатки пальцев на лбу и понял, что зрение и слух не обманули его. Она и кружку еще держала в руках.

— Я так и знала, что уже около трех, — сказала она и, спокойно вылив содержимое кружки в тазик, смочила тряпку, как и в прошлый раз. — Я рада, что осталась. Сейчас я перевяжу ее, и дело будет сделано. Вот! Она уже утихла. А что осталось в тазике, я лучше вылью, хоть тут одна капля только, а все-таки долго ли до греха. — И она выплеснула жидкость в золу, а склянку разбила о решетку очага.

Покончив с этим, она накинула платок, готовясь выйти на дождь и ветер.

— Позволь мне проводить тебя, Рейчел. Ведь ночь на дворе.

— Не надо, Стивен. Одна минута, и я уже дома.

— А ты не боишься, — сказал он вполголоса, выйдя с Рейчел на лестницу, — оставлять меня наедине с ней?

Когда она, удивленно посмотрев на него, спросила: «Что ты, Стивен?» — он преклонил перед ней колени на убогой ветхой лестнице и прижал к губам край ее платка.

— Ты ангел. Благослови тебя бог!

— Я уже сказала тебе, Стивен, что я только твой бедный друг. Ангелы не такие. Между ними и грешной работницей глубокая пропасть. Моя сестричка среди них, но она преображенная.

Она подняла глаза к небу, потом опять посмотрела ему в лицо своим кротким, сострадательным взглядом.

— Ты преображаешь меня, из дурного делаешь хорошим. Я знаю, что не стою тебя, но я всем сердцем хочу быть хоть немного таким, как ты, чтобы не потерять тебя, когда окончится эта жизнь и вся морока рассеется. Ты ангел! Кто знает, не спасла ли ты нынешней ночью мою душу живую!

Она взглянула на него — он все еще стоял на коленях перед ней, держась за край ее платка, — и слова укоризны замерли у нее на устах, когда она увидела его исказившееся лицо.

— Я пришел домой в отчаянии. Я пришел домой, ни на что уже не надеясь, не помня себя от злости, потому что стоило мне рот открыть, чтобы пожаловаться на свою судьбу, как меня тут же назвали смутьяном. Я говорил тебе, что я очень испугался. Меня испугала склянка на столе. Я в жизни своей и мухи не обидел, но когда я увидел так вдруг эту склянку с ядом, я подумал: «Могу я поручиться, что не сделаю чего над собой, или над ней, или и над ней и над собой?»

Ужас изобразился на ее лице, и она обеими руками зажала ему рот, чтобы заставить его замолчать. Он схватил ее руки свободной рукой и, не выпуская край ее платка, продолжал торопливо:

— Но ты, Рейчел, сидела у ее постели. Я увидел тебя. Я видел тебя

всю ночь. В моем тревожном сне я и то знал, что ты здесь. Впредь я всегда буду видеть тебя на том месте. Каждый раз, как я увижу ее или подумаю о ней, — всегда ты будешь подле нее. И что бы я ни увидел, о чем бы ни подумал, от чего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во сто крат лучше меня. И так я буду ждать, так буду надеяться на то время, когда мы, наконец, вместе уйдем далеко, далеко, по ту сторону глубокой пропасти, туда, где твоя сестричка.

Он еще раз поцеловал край ее платка и отпустил ее. Она дрожащим голосом простилась с ним и вышла на улицу.

Ветер дул с той стороны, откуда уже недолго было ждать рассвета, дул, не утихая. Тучи излились дождем или унеслись далеко, небо расчистилось, и звезды ярко сверкали. Он стоял на улице с обнаженной головой, глядя ей вслед. Как сияние звезд затмевало тусклый пламень свечи в окне, так образ Рейчел в безыскусственном воображении Стивена Блекпула затмевал все житейские дела и заботы.

Глава XIV

Великий фабрикант

Время работало в Кокстауне — как кокстаунские машины: столько-то выделано тканья, столько-то потреблено топлива, столько-то израсходовано лошадиных сил, столько-то выручено денег. Но менее беспощадное, чем железо, сталь и медь, оно вносило перемены даже в эту продымленную каменную пустыню, и только оно одно противилось ее гнетущему однообразию.

— Луиза, — сказал мистер Грэдграйнд, — уже почти взрослая девица.

Время, работая во всю мощь своих неисчислимых лошадиных сил, не прислушиваясь ни к чьим словам, вскоре показало мистеру Грэдграйнду, что Томас вырос на целый фут с того дня, когда он в последний раз удосужился взглянуть на сына повнимательней.

— Томас, — сказал мистер Грэдграйнд, — уже почти взрослый юноша.

Время еще немного обработало Томаса на своих машинах, и не успел его отец опомниться, как сын предстал перед ним во фраке и крахмальной манишке.

— Я считаю, — сказал мистер Грэдграйнд, — что Томасу пора перебираться к Баундерби.

Время, не выпуская Томаса из рук, определило его в банкирскую контору Баундерби, сделало его домочадцем Баундерби, привело к покупке первой бритвы и старательно изоштрило его дар расчетливости.

Тот же великий фабрикант, чья фабрика постоянно загружена несметным множеством самых разнообразных изделий, на всех ступенях производства, пропустил и Сесси через свои машины и изготовил — что и говорить — весьма привлекательную вещицу.

— Я полагаю, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, — что продолжение твоих занятий в школе будет бесполезно.

— Боюсь, что так, — приседая, отвечала Сесси.

— Не стану скрывать от тебя, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, насупив брови, — что итог твоего обучения в школе разочаровал меня, глубоко разочаровал. Ты не переняла у мистера и миссис Чадомор и сотой доли тех точных знаний, которые, по моим расчетам, ты должна была приобрести. Твой запас фактов весьма скуден. Твое знакомство с цифрами крайне ограничено. Ты отстала в своем развитии, и успехи твои — ниже среднего.

— Мне очень жаль, сэр, — сказала Сесси, — но это сушая правда. А ведь я очень старалась, сэр.

— Да. — отвечал мистер Грэдграинд, — мне кажется, ты очень старалась. Я наблюдал тебя, и с этой стороны ни в чем тебя упрекнуть не могу.

— Благодарю вас, сэр. Мне иногда думалось — может быть, я чересчур стараюсь, и если бы я попросила позволения немножко меньше стараться, то, кто знает...

— Нет, Джуп, нет, — возразил мистер Грэдграинд, глубокомысленно и в высшей степени практически качая головой. — Нет. Тебя учили согласно системе — понимаешь, системе, — и этим все сказано. Остается только предположить, что обстоятельства, в которых протекало твое раннее детство, были слишком неблагоприятны для развития твоих умственных способностей, и что мы начали слишком поздно. Однако, повторяю, я сильно разочарован.

— Мне очень грустно, сэр, что я не сумела лучше отблагодарить вас за вашу доброту. Вы взяли на себя заботу о бедной одинокой девочке, которая была вам совсем чужая и не имела никакого права на ваше попечение...

— Не надо плакать, — сказал мистер Грэдграинд. — Не надо. Я тебя не браню. Ты добрая, скромная, благодетельная девушка... и... удовлетворимся этим.

— Благодарю вас, сэр, от души, — сказала Сесси, низко приседая.

— Ты приносишь пользу миссис Грэдграинд и в известном смысле вообще полезна всему нашему семейству. Так я заключаю из слов мисс Луизы, да и сам я не раз убеждался в этом. Посему я надеюсь, — сказал мистер Грэдграинд, — что ты будешь вполне довольна своей жизнью среди нас.

— Я была бы совершенно счастлива, сэр, если бы только...

— Понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал мистер Грэдграинд. — Ты все еще думаешь о своем отце. Я слышал от мисс Луизы, что ты до сих пор хранишь ту бутылку с примочкой. Ну что ж! Ежели бы ты более успешно занималась наукой, помогающей приходить к точным выводам, ты бы в этом пункте проявила больше благоразумия. Вот все, что я могу сказать.

Он так низко ставил умение Сесси разбираться в цифрах, что, в сущности, должен был просто-напросто презирать ее; однако для этого он слишком сильно привязался к ней. Мало-помалу он проникся мыслью, что в этой девочке кроется нечто такое, что нелегко объяснить с помощью таблиц. Пусть ее способность давать точные определения минимальна, ее

познания в математике равны нулю; но он далеко не был убежден, что если бы ему потребовалось включить ее в парламентский отчет, он знал бы наверняка, по каким графам ее разнести.

Бывает пора, когда обработка человеческого материала на машинах Времени идет ускоренным ходом. Юный Томас и Сесси были именно в такой поре, и потому выделка их совершилась года за два; между тем мистер Грэдграинд, казалось, застыл на месте, и никаких перемен в нем не наблюдалось.

Кроме, впрочем, одной, — но эта перемена произошла помимо его неотвратимого прохождения через машины Времени. На сей раз оно сунуло его в маленький, трескучий и довольно грязный механизм, приткнутый в глухом углу, в итоге чего получился член парламента от Кокстауна, пополнивший собой ряды уважаемых членов — представителей таблицы умножения, великих мастеров по части крохоборства, достопочтенных глухих джентльменов, слепых джентльменов, безгласных, безруких и бесчувственных ко всему, что не подсчитано и не взвешено на аптекарских весах. Недаром же мы живем в христианской стране, через тысячу восемьсот с лишним лет после нашего Учителя!

Минувшие годы изменили и Луизу, но она росла такая молчаливая и замкнутая, так тихо в сумерках сидела у камина, глядя, как падают и гаснут тлеющие угольки, что ее отец, который не бросил лишнего взгляда в ее сторону с той поры — казалось, это произошло только вчера, — когда он сказал: «Луиза уже почти взрослая девица», был весьма удивлен, увидев перед собой девицу совсем взрослую.

— Совсем взрослая девица, — озабоченно сказал мистер Грэдграинд. — Ай-ай-ай!

Сделав это открытие, он несколько дней ходил еще более сосредоточенный, чем обычно, явно обдумывая какое-то важное решение. Наконец, однажды вечером, когда Луиза пришла пожелать ему доброй ночи, так как он уходил из дому с тем, чтобы воротиться поздно, — и следовательно, они расставались до утра, — он обнял ее, ласково посмотрел ей в лицо и сказал:

— Дорогая моя Луиза, ты совсем взрослая!

Она ответила ему быстрым, пытливым взглядом, как в тот давний вечер, когда он застал ее у цирка; и тотчас потупилась.

— Да, отец.

— Дорогая, — продолжал мистер Грэдграинд, — мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз об очень важном деле. Приходи в мой кабинет завтра утром после завтрака — хорошо?

— Да, отец.

— Почему у тебя такие холодные руки, Луиза? Тебе нездоровится?

— Я здорова, отец.

— И весела?

Она опять взглянула на него и улыбнулась своей сдержанной улыбкой.

— Я такая же веселая, отец, какой бываю всегда, вернее, была до сих пор.

— Вот и отлично, — сказал мистер Грэдграйнд. — Он поцеловал ее и ушел; а Луиза возвратилась в тихую комнату, похожую на цирюльню, и, подперев голову рукой, опять стала глядеть на скоротечные искры, столь быстро обращавшиеся в пепел.

— Ты здесь, Лу? — окликнул ее Том, просунув голову в приоткрытую дверь, и вошел в комнату. Теперь это был законченный повеса, из самых настоящих, но далеко не из самых приятных.

— Том, милый, — сказала Луиза, поднимаясь с места и обнимая брата, — как долго ты не приходил навестить меня!

— Да вот, понимаешь ли, все вечера заняты. А днем старик Баундерби вздохнуть не дает. Но когда он уж очень разойдется, я умею образумить его, напомнив о тебе, и мы неплохо ладим. Скажи, Лу, отец ничего такого тебе не говорил сегодня или вчера?

— Пока нет, Том. Но он только что предупредил меня, что хочет поговорить со мной завтра утром.

— Ага! Так я и думал, — сказал Том. — Ты знаешь, где он сейчас? — спросил он тоном заговорщика.

— Нет.

— Так я тебе скажу. Он сидит со стариком Баундерби. Совещаются, и знаешь где? В банке. А почему в банке, как по-твоему? И это я тебе скажу. Чтобы уши миссис Спарсит были подальше.

Положив руку на плечо брата, Луиза все еще смотрела в огонь. Томас взглянул ей в лицо с большим вниманием, чем обычно, и, обняв ее одной рукой, ласкательно привлек к себе.

— Ты меня очень любишь, Лу?

— Очень, хоть ты и слишком редко навещаешь меня.

— Ну вот, дорогая сестрица, мысли наши сходятся. Мы ведь могли бы гораздо чаще видаться, правда? Почти что не расставаться, правда? Если бы ты решилась на... уж я знаю, на что, — для меня это было бы просто чудесно. Лучшего и желать нельзя. То-то зажили бы!

Не зная, как истолковать ее задумчивое молчание, он глядел на нее хитрым, испытующим взглядом; но ничего не мог прочесть на ее лице.

Тогда он крепко обнял сестру и поцеловал ее в щеку. Она ответила на его поцелуй, по-прежнему не сводя глаз с огня.

— Ну так, Лу! Я только забежал сообщить тебе, что происходит; хоть я и думал, что ты уже знаешь, а если нет, то догадалась. А теперь мне пора, меня ждут к одной компании. Ты не забудешь, что очень любишь меня?

— Нет, Том, не забуду.

— Ты у меня умница, — сказал Том. — Прощай, Лу.

Она сердечно простилась с ним и проводила его на крыльцо, откуда видны были бледные отсветы далеких огней Кокстауна. Устремив взор в ту сторону, она прислушивалась к удаляющимся шагам брата. Шаги были частые, быстрые — казалось, они радовались тому, что уходят прочь от Каменного Приюта; и еще долго после того, как Том ушел, она стояла неподвижно среди наступившей тишины. Словно она не только в огне камина внутри дома, но и в огнистой мгле вне его стен пыталась разглядеть, какой добротности ткань изготовит величайший и древнейший мастер — седое Время — из кудели, уже спряденной им в женщину. Но ткаля его — потаенное место, работа ее не слышна, а рабочие руки безгласны.

Глава XV

Отец и дочь

Сам мистер Грэдграйнд ничем не походил на Синюю бороду, однако кабинет его с полным основанием можно было назвать синей комнатой, ввиду обилия в нем Синих книг. Что бы им ни надлежало доказать (а доказать они, как правило, могут, что угодно), доказывала здесь вся многотомная армия их, неуклонно пополняемая новобранцами. В этом заколдованном покое самые сложные социальные вопросы вычислялись, подытоживались и благополучно улаживались, — но, к сожалению, те, кого они касались, лишены были возможности узнать об этом. Подобно астроному, который сидел бы в обсерватории без окон и устроил звездную вселенную единственно при помощи пера, чернил и бумаги, мистер Грэдграйнд в своей обсерватории (а таких очень много) мог не приглядываться к мириадам человеческих существ, кишевших вокруг него, а потому вершил их судьбы на грифельной доске, утирая им слезы грязным огрызком губки.

В эту-то обсерваторию — мрачноватую комнату, украшенную убийственно точными часами, которые каждую отмеренную секунду сопровождали зловещим стуком, словно приколачивали крышку гроба, — и пришла на другое утро Луиза. Одно из окон выходило на Кокстаун; и когда она села подле письменного стола мистера Грэдграйнда, взору ее открылись высокие трубы и длинные спирали дыма, угрюмо поднимавшиеся вдали.

— Дорогая Луиза, — начал ее отец, — я вчера вечером предупредил тебя о предстоящем серьезном разговоре между нами и просил тебя отнестись внимательно к тому, что я имею сказать тебе. Ты получила столь образцовое воспитание и — я счастлив, что могу засвидетельствовать это, — так блестяще оправдала мои надежды, что я вполне полагаюсь на твой здравый смысл. Ты не мечтательница, не горячая голова; ты привыкла судить обо всем трезво, бесстрастно, руководствуясь разумом и расчетом. И я знаю, что именно так ты взглянешь на то, что я намерен сообщить тебе.

Он помолчал, словно надеясь услышать что-нибудь в ответ. Но Луиза не проронила ни слова.

— Луиза, дорогая моя, у меня просят твоей руки.

Опять он помолчал, и опять она не сказала ни слова. Это так удивило его, что он счел нужным повторить: «Просят твоей руки, дорогая». На что

она отвечала, видимо, без малейшего волнения:

— Я слышу, отец. Я очень внимательно слушаю, уверяю вас.

— Отлично! — Мистер Грэдграйнд, успокоенный, одобрительно улыбнулся. — Ты даже более рассудительна, чем я ожидал, Луиза. Или, быть может, ты уже приуготовлена к тому, что мне поручено объявить тебе?

— Не могу ответить вам, отец, пока не узнаю, о чем идет речь. Но приуготовлена или нет, я хочу все услышать из ваших уст.

Странное дело — мистер Грэдграйнд в эту минуту далеко не был так невозмутимо спокоен, как его дочь. Он взял в руки разрезальный нож, повертел его, положил обратно, опять взял в руки и даже, прищурив один глаз, посмотрел вдоль лезвия, обдумывая, что сказать.

— Твои слова, дорогая Луиза, вполне разумны. Так вот, я согласился уведомить тебя о том, что... короче говоря, мистер Баундерби сообщил мне, что он много лет с особенным интересом и радостью следил за твоим развитием и много лет питал надежду, что, наконец, наступит час, когда он сделает тебе предложение. Этот час, которого он так долго и с таким упорным постоянством дожидался, теперь настал. Мистер Баундерби через меня просит твоей руки и поручил мне поставить тебя об этом в известность и выразить от его имени надежду, что ты отнесешься к его просьбе благосклонно.

Молчание. Глухое тиканье убийственно точных часов. Черный, густой дым вдалеке.

— Отец, — сказала Луиза, — вы думаете, что я люблю мистера Баундерби?

Этот неожиданный вопрос крайне расстроил мистера Грэдграйнда.

— Дитя мое, — отвечал он, — я... право же... не берусь судить об этом.

— Отец, — продолжала Луиза все тем же ровным, невозмутимым тоном, — вы требуете, чтобы я любила мистера Баундерби?

— Нет, дорогая моя, нет. Я ничего не требую.

— Отец, — так же спокойно продолжала она, — мистер Баундерби требует, чтобы я любила его?

— Право же, дорогая, очень трудно ответить на твой вопрос...

— Трудно ответить «да» или «нет», отец?

— Разумеется, дорогая. Ибо, — тут можно было пуститься в теоретические выкладки, и мистер Грэдграйнд воспрянул духом, — ибо ответ в данном случае существенно зависит от того, какое значение мы вкладываем в это слово. Мистер Баундерби вполне отдает справедливость тебе, равно как и себе самому, и поэтому всякие притязания на какие-либо

фантазии, химеры или романтические бредни (все это синонимы) исключаются. Недаром ты росла на глазах у мистера Баундерби. Он слишком уважает твой здравый смысл, не говоря уже о собственном, чтобы ему пришло в голову обращаться к тебе с подобными причудами. Посему, само по себе это слово — я, дорогая, только высказываю свое мнение, — быть может, не вполне уместно.

— Каким словом вы советуете заменить его, отец?

— Дорогая Луиза, — отвечал мистер Грэдграйнд, окончательно оправившись от овладевшего им было смущения, — я бы советовал тебе (поскольку ты об этом просишь) рассмотреть этот вопрос в точности так же, как ты привыкла рассматривать любой другой вопрос, а именно — обратиться к фактам. Люди невежественные и взбалмошные склонны усложнять такого рода случаи разными не относящимися к делу фантазиями и другими нелепостями, кои, ежели разобраться, вообще не существуют в природе; мне незачем говорить тебе, что ты на это не способна. Каковы же в данном случае факты? Тебе, круглым счетом, двадцать лет; мистеру Баундерби, круглым счетом, пятьдесят. Следовательно, имеется некоторое несоответствие возрастов; что касается средств и положения, то тут не только нет несоответствия, а напротив, налицо полное отсутствие такового. Отсюда вытекает вопрос: может ли сие одно несоответствие служить препятствием к вступлению в подобный брак? Разбирая этот вопрос, не следует пренебрегать статистическими данными, коими мы в настоящее время располагаем касательно браков, заключаемых в Англии и Уэльсе. Цифры показывают, что число неравных по возрасту браков весьма велико, причем свыше трех четвертей этого числа приходится на случаи, когда старший из брачующихся именно жених. Небезынтересно отметить, что повсеместное преобладание этого закона подтверждается теми подсчетами, которые мы произвели на основании сведений, собранных среди туземцев путешественниками по Британским владениям в Индии, а также в значительной части Китая и среди калмыков, населяющих Татарию. Итак — несоответствие, о котором я упомянул, можно почти не считать таковым, и (собственно говоря) оно все равно что не существует.

— Чем вы предлагаете заменить то слово, которое я употребила и которое вы нашли неуместным? — спросила Луиза все так же сдержанно и холодно, вопреки обнадеживающим выводам, к которым пришел ее отец.

— Мне кажется, Луиза, — отвечал мистер Грэдграйнд, — что это яснее ясного. Строго придерживаясь фактов, ты задаешь себе вопрос: фактически — мистер Баундерби сделал мне предложение? Да, сделал. Остается один-

единственный вопрос: принять ли его предложение? Что может быть яснее?

— Принять ли его предложение? — медленно, с расстановкой повторила Луиза.

— Вот именно. И мне, твоему отцу, Луиза, отрадно сознавать, что на твое решение не могут повлиять ни образ мыслей, ни образ жизни, свойственные многим молодым девушкам.

— Нет, отец, — подтвердила она, — не могут.

— Теперь предоставляю тебе самой судить, — сказал мистер Грэдграйнд. — Я изложил тебе обстоятельства дела так, как они обычно понимаются людьми практическими; так в свое время обстояло дело между мной и твоей матерью. В остальном, дорогая моя Луиза, слово за тобой.

С самого начала разговора она пристально смотрела ему в лицо. Теперь и он, откинувшись на спинку кресла, в свою очередь устремил на нее взгляд глубоко посаженных глаз, — и, быть может, то была минута, когда он мог бы угадать ее смятение, почувствовать, что она готова броситься к нему на грудь и излить перед ним душу. Но чтобы понять ее порыв, ему пришлось бы одним прыжком перескочить через искусственные преграды, которые он долгие годы воздвигал между собой и человеческим естеством, чья сокровенная сущность не поддается тончайшим ухищрениям алгебры и не поддается до самого того дня, когда в последний раз на земле возгласит труба архангела и даже алгебра будет развеяна в прах^[38]. Для такого прыжка преграды были слишком многочисленны и высоки. Не прочтя в его взгляде ничего кроме черствой, бездушной деловитости, она снова замкнулась в себе: и минута канула в бездонные глубины прошлого, где исчезают все упущенные мгновения.

Она отвела глаза и так долго молчала, глядя в окно, выходящее на Кокстаун, что отец в конце концов спросил ее:

— Ты ищешь совета у фабричных труб, Луиза?

— Сейчас там только дым, скучный, медлительный дым. Но когда приходит ночь, огонь вырывается наружу, отец! — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд.

— Разумеется, Луиза, это известно. Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение... — Надо отдать ему справедливость — он в самом деле ничего не понял.

Она небрежно повела рукой, словно отмахиваясь от его вопроса, и, снова посмотрев ему прямо в глаза, сказала:

— Я часто думаю о том, что жизнь очень коротка. Это замечание имело столь явное касательство к его излюбленному предмету, что он тотчас прервал ее:

— Несомненно, дорогая, жизнь коротка. Однако доказано, что в последние годы продолжительность человеческой жизни возрастает. Подсчеты различных обществ по страхованию жизни и выплате ренты, наряду с другими бесспорными данными, установили этот факт.

— Я говорю о своей жизни, отец.

— Ах, вот оно что! Тем не менее, — сказал мистер Грэдграйнд, — мне незачем объяснять тебе, Луиза, что она подчинена тем же законам, что и все жизни в совокупности.

— Пока она длится, я хотела бы совершить то малое, что в моих силах и на что я способна. Так не все ли равно?

Мистер Грэдграйнд, сбитый с толку этим неожиданным выводом, переспросил с недоумением:

— Почему все равно? Что именно все равно, дорогая?

— Мистер Баундерби, — не ответив отцу, продолжала она, отчеканивая каждое слово, — сделал мне предложение. Вопрос, который я должна задать себе, гласит: принять ли его предложение? Так ведь, отец? Вы так объяснили мне. Так или нет?

— Именно так, дорогая.

— Пусть так и будет. Если мистер Баундерби согласен взять меня в жены на таких условиях, я принимаю его предложение. Передайте ему мой ответ хоть сегодня, отец. Повторите его по возможности слово в слово, — я хочу, чтобы он знал все, что я сказала.

— Это очень хорошо, дорогая, что ты стоишь за точность, — похвалил мистер Грэдграйнд. — Я непременно исполню твою просьбу. Нет ли у тебя особых пожеланий относительно того, на когда назначить свадьбу?

— Никаких, отец. Не все ли равно?

К концу разговора он придвинулся поближе к дочери и взял ее руку в свои. Но когда она повторила этот странный вопрос, он насторожился, словно его слух поразил какой-то диссонанс. Он помолчал, внимательно посмотрел на дочь и, не выпуская ее руки, сказал:

— Луиза, я не счел нужным задать тебе один вопрос, ибо я мысли не допускал, что на него возможны два ответа. Но, пожалуй, лучше спросить тебя для верности. Скажи, ты втайне никому другому не давала слова?

— Отец, — почти с гневом возразила она, — кому другому могла я дать слово? Кого я видела? Где бывала? Какие чувства знало мое сердце?

— Дорогая моя Луиза, — сказал мистер Грэдграйнд, успокоенный и весьма довольный, — я заслужил твой упрек. Но я хотел только исполнить свой долг.

— Что знаю я, отец, о самой себе? — негромко сказала Луиза. — О

своих склонностях и вкусах, стремлениях и чувствах, о всем том, что могло бы зародиться во мне? Могла ли я вырваться из круга доказуемых истин и осязаемых явлений? — Она безотчетно сжала руку, как будто держала в ней какой-то твердый предмет, потом медленно разогнула пальцы, словно высыпая горсть золы или праха.

— Дорогая моя, — подтвердил ее в высшей степени практический родитель, — ты права, ты совершенно права.

— Как могли вы, отец, задать подобный вопрос мне? Невинные прихоти, столь свойственные детям — о чем даже я знаю понаслышке, — никогда не находили приюта в моей душе. Вы так заботливо берегли меня, что сердце мое никогда не было сердцем ребенка. Вы так образцово воспитывали меня, что мне никогда не снились детские сны. Вы так мудро растили меня, отец, от колыбели до сего часа, что я никогда не знала ни детской веры, ни детского страха.

Мистер Грэдграйнд даже растрогался, услышав такое признание своего успеха.

— Моя дорогая Луиза, — проговорил он, — ты сторицей вознаграждаешь мои труды. Поцелуй меня, дочка.

И дочь поцеловала его. Не выпуская ее из своих объятий, он продолжал:

— Теперь я могу сказать тебе, любимое дитя мое, что я счастлив здравым решением, к которому ты пришла. Мистер Баундерби человек весьма замечательный, а что касается маленького — я бы сказал, едва уловимого — несоответствия между вами, то ты с самого начала так настроила свои мысли, что его как бы и не существует. Это именно та цель, которую я всегда видел перед собой: воспитать тебя так, чтобы ты, будучи еще очень молодой, имела (если можно так выразиться) почти любой возраст. Поцелуй меня еще раз, Луиза. А теперь пойдем к твоей матушке.

Они направились в гостиную, где почтенная леди, не склонная ни к каким фокусам, как обычно, возлежала на диване, а подле нее сидела Сесси с работой в руках. Когда они вошли, она подала кое-какие слабые признаки жизни, и немного погодя бледный транспарант занял сидячее положение.

— Миссис Грэдграйнд, — провозгласил ее супруг, с явным нетерпением дожидавшийся конца этого подвига, — позвольте представить вам миссис Баундерби.

— Вот как? — сказала миссис Грэдграйнд. — Я вижу, дело сладилося! Ну что ж, Луиза, надеюсь, здоровье твое выдержит, но ежели у тебя станет болеть голова с первого дня замужества, как случилось со мной, то, по совести говоря, ничего завидного тут нет, хотя ты, конечно, уверена, что

очень даже есть, все девушки так думают. Впрочем, поздравляю тебя, дорогая, и желаю тебе, чтобы твои ологические науки пошли тебе впрок, от души желаю! Обними меня, Луиза, только не задень за правое плечо, оно можжит у меня с самого утра. А теперь, — захныкала миссис Грэдграйнд, снова натягивая на себя все свои шали после состоявшегося материнского объятия, — я день-деньской буду мучиться, потому что как же мне называть его?

— Миссис Грэдграйнд, — грозно спросил ее супруг, — о чем вы говорите?

— О том, мистер Грэдграйнд, как мне называть его, когда он женится на Луизе! Как-то я же должна буду называть его. Ведь немисливо, — сказала миссис Грэдграйнд, не то с обидой, не то озабоченная соблюдением правил вежливости, — постоянно обращаться к нему, никак его не называя. Я не могу звать его Джосайя, потому что не выношу этого имени. Звать его Джо вы никогда мне не позволите, вы сами отлично это знаете. Так что же? Своего собственного зятя я должна называть «мистер»? Думается мне, что нет, ежели только мое семейство не решило, что пришла пора, когда бедную больную можно топтать ногами. Ну, так как же мне все-таки звать его?

Поскольку никто из присутствующих не предложил выхода из столь затруднительного положения, миссис Грэдграйнд на время переселилась в лучший мир, успев, однако, присовокупить к своей духовной такой пункт:

— А относительно свадьбы, Луиза, я прошу только одного — и прошу с дрожью в сердце, которая, верь не верь, пробирает меня до самых пяток, — пусть она будет поскорей. Иначе, я уже знаю, и, минуты покою мне не будет.

Когда мистер Грэдграйнд произнес «миссис Баундерби», Сесси резко повернула голову и устремила на Луизу взгляд, полный тревоги, и удивления, и жалости, и горя, и еще многого другого. Луиза знала это, видела, хоть и не глядела на Сесси. С той минуты Луиза круто переменилась к Сесси — была с ней холодна, высокомерна и не допускала ее до себя.

Глава XVI

Муж и жена

Мистер Баундерби, узнав о своем счастье, прежде всего со страхом подумал о том, что радостную весть необходимо сообщить миссис Спарсит. Он решительно не знал, как за это взяться и каковы могут быть последствия такого шага. Соберет ли она немедля свои пожитки и укатит к леди Скэджерс, или наотрез откажется покинуть его дом; разразится слезами или бранью; будет просить или требовать; разобьет ли новость ее сердце, или она разобьет зеркало — об этом мистер Баундерби мог только гадать. Однако выбора у него не было, — как ни верти, а сделать дело нужно; поэтому, после нескольких неудачных попыток изъясниться на бумаге, он решил прибегнуть к помощи устной речи.

По дороге домой, в тот вечер, который он отвел для сей знаменательной беседы, он предосторожности ради зашел в аптеку и приобрел пузырек самых крепких нюхательных солей. «Ей-ей! — сказал себе мистер Баундерби. — Ежели она вздумает падать в обморок, я уж, во всяком случае, сдеру всю кожу с ее носа». Но даже оснащенный столь действенным оружием, он вошел в собственный дом далеко не героем и явился перед предметом своих опасений с виноватым видом собаки, только что побывавшей в кладовой.

— Добрый вечер, мистер Баундерби!

— Добрый вечер, сударыня, добрый вечер. — Он пододвинул к огню свое кресло, а миссис Спарсит свое отодвинула, словно говоря: «Ваш камин, сэр. Я вполне признаю это — можете занять его весь, ежели считаете, что так надо».

— Не удаляйтесь на Северный полюс, сударыня! — сказал мистер Баундерби.

— Благодарю вас, сэр, — отвечала миссис Спарсит и передвинула кресло обратно, хотя и не совсем на старое место.

Мистер Баундерби молча смотрел, как она острыми кончиками ножниц протыкала в куске батиста дырки, кои, судя по всему, каким-то загадочным образом должны были служить ему украшением, и это ее занятие, вкупе с густыми бровями и римским носом, сильно напоминало работу коршуна над глазами неподатливой пичужки. Она была так поглощена своим делом, что прошло довольно много времени, прежде чем она взглянула на него; но как только это произошло, он заручился ее

вниманием, многозначительно потрянув головой.

— Миссис Спарсит, сударыня, — начал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы и ощупывая правой рукой пробку купленного им пузырька, дабы убедиться, что ее легко вынуть. — Мне незачем говорить вам, что вы не только высокородная и высокопросвещенная особа, но и дьявольски разумная женщина.

— Сэр, — отвечала сия особа, — не в первый раз я удостоена чести слышать от вас похвалу мне в подобных выражениях.

— Миссис Спарсит, сударыня, — объявил мистер Баундерби, — я намерен удивить вас.

— Да, сэр? — сказала миссис Спарсит вопросительно, но с полным спокойствием. Отложив рукоделье, она стала разглаживать свои митенки, которые носила почти не снимая.

— Я, сударыня, намерен жениться на дочери Тома Грэдграйнда.

— Да, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Надеюсь, вы будете счастливы, мистер Баундерби. О, я очень надеюсь, что вы будете счастливы, сэр! — Она сказала это столь покровительственно и вместе с тем участливо, что Баундерби, который меньше растерялся бы, если бы она запустила в зеркало свою рабочую шкатулку или грохнулась без чувств на коврик перед камином, плотно всадил пробку в пузырек с нюхательными солями и подумал: «Ах, чтоб ей! Кто бы мог предвидеть, что она так отнесется к делу?»

— От всего сердца, сэр, — сказала миссис Спарсит не без высокомерия, — с самой этой минуты она явно присвоила себе право всегда и неизменно жалеть его, — желаю вам полного счастья.

— Сударыня, — отвечал Баундерби несколько обиженно и против воли сбавляя тон, — благодарю вас. Я надеюсь быть счастливым.

— Вот как, сэр? — снисходительно сказала миссис Спарсит. — Ну, конечно, надеется. Разумеется.

Мистер Баундерби не нашелся что ответить, и наступило неловкое — для него — молчание. Миссис Спарсит продолжала чинно работать, время от времени покашливая, и даже в ее легком кашле слышалось сознание своего превосходства.

— Так вот, сударыня, — снова заговорил Баундерби, — сдается мне, что при изменившихся обстоятельствах такая особа, как вы, вряд ли пожелает остаться здесь, хотя здесь ей были бы только рады.

— Нет, сэр, нет, что вы! Это для меня совершенно невозможно! — Миссис Спарсит все с тем же высокомерием покачала головой, и в кашле ее появился новый оттенок — теперь он звучал так, словно в ней подымался

дух пророчества, но она считала нужным удерживать его.

— Однако, сударыня, — сказал Баундерби, — в моем банке имеются свободные комнаты, и там высокородная, высокопросвещенная леди в качестве домоправительницы была бы просто находкой. Ежели тот же размер жалованья...

— Прошу прощения, сэр. Вы любезно обещали мне во всех случаях называть это «ежегодная премия».

— Хорошо, сударыня, пусть так. Ежели вы сочтете прежний размер ежегодной премии за вашу деятельность в банке приемлемым, то я не вижу никаких причин расставаться с вами, разве только вы сами того пожелаете.

— Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — ваше предложение достойно вас. И ежели должность, которую я должна занять в банке, не заставит меня спуститься ниже по общественной лестнице...

— Разумеется, не заставит, — сказал Баундерби. — Иначе разве я позволил бы себе предложить эту должность особе, которая, как вы, вращалась в самом высшем обществе? Хоть мне-то, знаете, до этого общества дела нет. Но вам есть.

— Мистер Баундерби, вы чрезвычайно любезны.

— У вас будут свои отдельные комнаты, свой уголь и свечи, и все прочее, и своя девушка для услуг, и свой рассыльный для охраны, и я беру на себя смелость утверждать, что жить вы будете там очень и очень неплохо, — сказал Баундерби.

— Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — больше ни слова. Оставление моего поста здесь не освобождает меня от необходимости есть хлеб неволи, — она могла бы сказать «ливер», ибо сие лакомое кушанье под темным пикантным соусом неизменно составляло ее ужин, — и уж лучше мне получать его из ваших рук, чем из чьих-нибудь еще. Поэтому, сэр, я с благодарностью принимаю ваше предложение и весьма признательна вам за все знаки внимания в прошлом. И я надеюсь, сэр, — заключила миссис Спарсит, чуть не плача от жалости, — я искренне надеюсь, что в мисс Грэдграйнд вы найдете все, что вы желаете и чего заслуживаете.

Ничто не могло сдвинуть миссис Спарсит с этой точки. Сколько бы Баундерби ни важничал, сколько бы ни пускал пыль в глаза, миссис Спарсит отказывалась смотреть на него иначе, как на достойную сострадания жертву. Она была учтива, предупредительна, бодра и весела, но чем учтивее, предупредительней, бодрей и веселей держалась она, чем вообще примерней становилось ее поведение, тем явственней он чувствовал себя принесенным в жертву мучеником. Она принимала столь нежное участие в его горестной судьбе, что, когда она глядела на него, его

толстые щеки багровели и весь он покрывался холодным потом.

Между тем решено было отпраздновать свадьбу через два месяца, и мистер Баундерби каждый вечер посещал Каменный Приют в качестве признанного жениха. Свои чувства к невесте он выражал при помощи браслетов, и вообще все приготовления к свадьбе носили сугубо промышленный характер. Изготавливались платья и драгоценности, изготавливались перчатки и торты, изготавливался брачный контракт, оснащенный богатым подбором фактов. С начала до конца все было подчинено фактам. Время не разыгрывало с влюбленными тех милых шуток, которые ему приписывают неразумные поэты, да и стрелки часов двигались не быстрее и не тише, чем обычно. Убийственно точные часы в обсерватории Грэдграйнда стукали по голове каждую секунду, едва она успевала родиться, и хоронили ее с привычной пунктуальностью.

И торжественный день настал, как любой другой день настает для людей, которые не признают ничего кроме разума; и в тот день их повенчали в церкви, украшенной толстенькими деревянными ногами (излюбленный архитектурный орден) — Джосайю Баундерби, эсквайра, из Кокстауна, с Луизой, старшей дочерью Томаса Грэдграйнда, эскваира, из Каменного Приюта, члена парламента от сего округа. И после того как они сочетались священными узами брака, они в оный Каменный Приют отправились завтракать.

Отпраздновать радостное событие собралось изысканное общество, которое в точности знало, из чего приготовлено все, что ели и пили за завтраком, а также ввозятся ли эти товары, или вывозятся, и в каких количествах, и на каких судах — иностранных или отечественных, и так далее и тому подобное. Подружки невесты, вплоть до малолетней Джейн Грэдграйнд, в умении считать не уступали ярмарочному чудо-счетчику; и ни за одним из гостей не водилось никаких фокусов.

К концу завтрака новобрачный обратился к присутствующим со следующими словами:

— Леди и джентльмены! Я Джосайя Баундерби из Кокстауна. Поскольку вы оказали честь моей жене и мне, выпив за наше здоровье и счастье, я, видимо, должен поблагодарить вас; однако вы все знаете меня, знаете, откуда я вышел, и потому не можете ожидать застольной речи от человека, который, когда видит балку, говорит, что это балка, а когда видит палку, говорит — это палка и ни за что не согласится назвать балку палкой или палку балкой, и ни то, ни другое не назовет зубочисткой. Ежели вам желательно услышать настоящий спич, то вот мой друг, а с нынешнего дня и мой тесть. Том Грэдграйнд — он заседает в парламенте, к нему и

обращайтесь. Я для этого не гожусь. Но я полагаю, мне простительно чувствовать себя независимо за этим столом — ведь мог ли я подумать, что женюсь на дочери Тома Грэдграйнда, когда был маленьким оборванцем, который ополаскивал рожу только у водокачки, и то дай бог, чтобы раз в две недели. Стало быть, я чувствую себя независимо и надеюсь, вам это нравится, а ежели нет — дело ваше. Ничем помочь вам не могу. Так вот я говорю, что нынче я женился на дочери Тома Грэдграйнда. Я очень этому рад. Это было мое давнишнее желание. Она росла на моих глазах, и я так считаю, что она достойна меня. И еще я считаю — не стану вас обманывать, — что я достоин ее. Итак, я благодарю вас от своего и от ее имени за ваши добрые пожелания, а я в свою очередь могу пожелать неженатым среди присутствующих только одно: чтобы все холостяки нашли себе жен не хуже той, какую нашел я; и чтобы все девицы нашли себе мужей не хуже того, какого нашла моя жена.

Так как новобрачные вознамерились совершить свадебное путешествие в Лион, дабы мистер Баундербери получил возможность самолично проверить, как живут рабочие руки в тех краях, и требуют ли они тоже, чтобы их кормили с золотой ложечки, счастливая чета вскоре отбыла на железную дорогу. Новобрачная, спускаясь с лестницы уже в дорожном платье, увидела поджидавшего ее Тома — очень красного, то ли от избытка чувств, то ли от возлияний за завтраком.

— Какая ты молодчина, Лу! Золото, а не сестра! — прошептал Том.

Она крепко обняла его — как должна была бы обнять в тот день куда более достойного человека, — и впервые за все время ее сдержанное спокойствие изменило ей.

— Старик Баундербери уже снарядился, — сказал Том. — Тебе пора. Прощай! Буду ждать тебя с нетерпением. Что я тебе говорил, Лу? Теперь заживем!

Конец первой книги

КНИГА ВТОРАЯ

«ЖАТВА»

Глава I

Положение дел в банке

Ясный летний день. Даже в Кокстауне иногда выпадали ясные дни.

В такую погоду Кокстаун, если смотреть на него издалека, был весь окутан собственной мглой, словно бы непроницаемой для солнечных лучей. Знаешь, что это он, но знаешь только потому, что, не будь там города, не чернело бы впереди столь мрачное расплывчатое пятно. Огромная туча копоты и дыма, которая, повинувшись движению ветра, то металась из стороны в сторону, то тянулась вверх к поднебесью, то грязной волной стлалась по земле, густой, клубящийся туман, прорезанный полосами хмурого света, не пробивавшего плотную толщу мрака, — Кокстаун и в отдалении заявлял о себе, хотя бы ни один его кирпич не виден был глазу.

А между тем он уцелел каким-то чудом. Он так часто подвергался разорению, что просто диву даешься, как мог он выдержать столько испытаний. Трудно даже вообразить, до какой степени хрупок был фарфор, пошедший на выделку кокстаунских промышленников. Только тронь их, и они разваливались на части с такой легкостью, что невольно возникало подозрение — а может быть, трещины в них уже были? Их разоряли, когда требовали, чтобы они посылали работающих детей в школу; когда назначали инспекторов для обследования их предприятий; когда инспекторы брали под сомнение их право калечить людей в своих машинах; а при одном только намеке на то, что, быть может, следовало бы чуть поменьше дымить, они просто погибали. Наряду с золотой ложечкой мистера Баундерби, признанной всем Кокстауном, в большом ходу была еще одна излюбленная фикция. Она облакалась в форму угрозы. Когда кто-нибудь из кокстаунцев чувствовал себя несправедливо обиженным — другими словами, когда ему не предоставляли полной свободы делать все, что заблагорассудится, и пытались возложить на него ответственность за его поступки, он тотчас начинал кричать, что «скорее выбросит свою собственность в Атлантический океан». Министр внутренних дел так пугался этих убийственных слов, что раза два чуть не умер от страха.

Однако у кокстаунцев все же хватало патриотизма на то, чтобы не выбрасывать свою собственность в Атлантический океан, — во всяком случае, доселе они этого не делали, а напротив, не жалея сил, берегли ее как зеницу ока. Потому она и уцелела там, в дыму и копоты; и она

неуклонно росла и множилась.

В этот ясный летний день на улицах было жарко и пыльно, солнце сияло так ярко, что прорывалось даже сквозь тяжелые испарения, висевшие над городом, и если долго смотреть на его сверкающий диск, начинали болеть глаза. На фабричных дворах, из дверей, ведущих в подвал, выходили кочегары, садились на ступеньки, на тумбы, на забор и, глядя на кучи угля, вытирали закопченные потные лица. Весь город, казалось, жарился в масле. Удушливый чад разогретого масла стоял повсюду. Паровые машины лоснились от масла, одежда рабочих была измазана им, во всех этажах фабричных корпусов сочилось и кипело масло. Воздух в сказочных дворцах иссушал, как дыхание самума; и обитатели этой пустыни, истомленные зноем, работали через силу. Но на тихое помешательство слонов ни жара, ни холод не действовали. Их головы так же размеренно и докучно опускались и подымались, в зной и стужу, в сырость и сушь, в ведро и ненастье. Однообразное движение их теней на стенах служило Кокстауну заменой прохладной тени шелестящего леса; а вместо летнего гудения насекомых он круглый год, с рассвета в понедельник до субботнего вечера, не мог предъявить ничего кроме жужжанья колес и приводов.

Они дремотно жужжали весь этот знойный день, нагоняя сон на прохожих и обдавая их жаром из-за гудящих стен заводов и фабрик. Опущенные шторы, политые водой мостовые давали немного прохлады на главных улицах и в лавках; но фабрики, дворы и проулки превратились в сущее пекло. На реке, черной и густой от краски, несколько мальчуганов, урвавших часок досуга — случай весьма редкий в Кокстауне, — усердно гребли, усевшись в утлую лодчонку, которая двигалась рывками, оставляя за собой пузырчатый след, и при каждом взмахе весла из воды подымалось мерзостное зловоние. Даже солнце, столь животворное повсюду, было менее милостиво к Кокстауну, нежели крепкий мороз, и когда оно особенно упорно глядело в его трущобы, оно часто приносило с собой смерть вместо жизни. Так само око небес оборачивается дурным глазом, если неумелые или скаредные руки заслоняют от его взора все то, что оно призвано благословить.

Миссис Спарсит, по своему обыкновению, сидела у окна, выходящего на теневую сторону раскаленной от зноя улицы. Занятия в банке кончились; и, как всегда в теплую погоду, она в этот час украшала своим присутствием кабинет членов правления, который помещался над общей залой. Ее собственная гостиная была расположена этажом выше, и оттуда, со своего наблюдательного пункта у окна, она каждое утро приветствовала пересекающего улицу мистера Баундерби сочувственным

наклоном головы, как и подобает приветствовать злополучную жертву. Со дня его свадьбы минул уже год, но миссис Спарсит ни на минуту не избавляла его от своей непреклонной жалости.

Банкирская контора Баундерби ничем не нарушала здорового однообразия города. Это было еще одно кирпичное здание с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, двумя белыми ступеньками, которые вели к черной входной двери, снабженной медной дощечкой и медной ручкой, похожей на точку. От резиденции Баундерби оно отличалось только размерами, будучи на номер больше, так же, как другие дома отличались от нее, будучи на один или несколько номеров меньше; во всем остальном оно строго соответствовало образцу — Миссис Спарсит не сомневалась, что, появляясь на исходе дня среди конторок и письменных принадлежностей, она наделяет кабинет женским, — чтобы не сказать аристократическим, — изяществом. Расположившись у окна с шитьем или вязаньем, она тешилась мыслью, что своим великосветским обликом смягчает суровую деловитость комнаты. В соответствии с этой благородной ролью, миссис Спарсит мнила себя в некотором роде феей банкирской конторы. Кокстаунцы, проходившие мимо окна, видели в ней дракона, стерегущего сокровища банковских подземелий.

Какие именно сокровища — о том миссис Спарсит знала не больше, чем они. Золото и серебро, ценные бумаги, тайны, раскрытие которых привело бы к неведомым бедствиям каких-то неведомых людей (преимущественно, однако, людей ей несимпатичных), были главными статьями ее воображаемого перечня. Зато она знала, что после закрытия банка ей принадлежит верховная власть над всей конторской мебелью и над запертой на три замка, обитой железом кладовой, у двери которой рассыльный каждый вечер приклонял голову на выдвижной койке, исчезавшей при первом пении петуха. Кроме того, она была повелительницей над сводчатым подвалом, защищенным решеткой с острыми от хищного мира; в ее ведении находились и реликвии истекшего дня, как то: чернильные пятна, затупившиеся перья, сломанные облатки и клочки разорванной бумаги, столь крошечные, что при всем старании миссис Спарсит ничего интересного на них разобрать не могла. Наконец она была хранительницей небольшого арсенала, состоявшего из тесаков и ружей, в грозном боевом порядке висевших над одним из каминов; а также выстроенных в ряд пожарных ведер — по давнему обычаю неотъемлемой принадлежности всякой претендующей на богатство фирмы, — каковые сосуды держат отнюдь не в расчете на ощутимую пользу в случае несчастья, а ради их более тонкого, морального воздействия, почти равного

по силе, как было замечено, тому впечатлению, которое производит на большинство посетителей вид золотого или серебряного слитка.

Глухая служанка и рассыльный завершали империю миссис Спарсит. Ходили слухи, что глухая служанка богата; и долгие годы среди кокстаунского простонародья крепла уверенность, что как-нибудь темной ночью, когда банк закрыт, ее убьют и ограбят. Более того — по утвердившемуся мнению, все сроки уже прошли, и этой ночи давно пора бы настать; но злонравная служанка, к разочарованию и обиде кокстаунцев, и не думала расставаться ни с жизнью, ни с работой в банке.

Чай для миссис Спарсит был сервирован на кокетливом столике с тремя резными ножками, который, по ее милости, ежевечерне, после закрытия банка, проводил время в обществе сурового, крытого кожей, длинного стола, оседлавшего середину комнаты. Рассыльный поставил поднос на столик и в знак почтения стукнул себя костяшками пальцев по лбу.

— Спасибо, Битцер, — сказала миссис Спарсит.

— Вам спасибо, мэм, — отвечал рассыльный. Он был все такой же белесый, как в те далекие дни, когда он, моргая обоими глазами зараз, давал определение лошади вместо ученицы номер двадцать.

— Все заперто, Битцер? — спросила миссис Спарсит.

— Все заперто, мэм.

— А какие нынче новости? — спросила миссис Спарсит, наливая себе чаю. — Есть что-нибудь?

— Да нет, мэм, ничего такого не слыхал. Люди у нас здесь нехорошие, но, к сожалению, это не новость.

— А что эти несчастные бунтари теперь затеяли? — спросила миссис Спарсит.

— Все то же, как всегда, — велят объединяться, вступать в союзы, стоять друг за дружку.

— Весьма печально, — сказала миссис Спарсит очень строго, отчего нос ее и брови стали еще более древнеримскими, — что объединенные хозяева допускают эти классовые союзы.

— Совершенно верно, мэм, — сказал Битцер.

— Поскольку они сами объединены, они должны все, как один, отстаивать свое право не принимать на работу никого, кто с кем-нибудь объединен, — изрекла миссис Спарсит.

— Они пытались, мэм, — отвечал Битцер, — но из этого как будто ничего не вышло.

— Я, разумеется, не могу считать себя сведущей в такого рода

делах, — с достоинством сказала миссис Спарсит, — ибо мне суждено было возвращаться в совсем иных сферах. Тем более что мистер Спарсит, будучи из Паулеров, тоже не имел ничего общего с подобными раздорами. Но одно я знаю, и знаю твердо: этих людей надо укротить, и давно пора это сделать, раз и навсегда.

— Верно, мэм, — почтительно поддакнул Битцер, не скрывая действия, какое оказывали на него непрерываемые вещания миссис Спарсит. — Яснее и сказать нельзя — что правда, то правда.

Так как доверительные беседы между ним и миссис Спарсит обычно происходили во время ее вечернего чаепития и он уже успел догадаться по ее глазам, что она намерена задать ему вопрос, то он не уходил, а передвигал с места на место линейки, чернильницы и прочее, пока она, поглядывая в открытое окно, прихлебывала чай.

— Очень занятой был день, Битцер? — спросила миссис Спарсит.

— Не сказать, чтобы очень, миледи. Как обыкновенно. — Время от времени, разговаривая с ней, Битцер заменял обращение «мэм» более церемонным «миледи», как бы невольно отдавая должное личным качествам миссис Спарсит и ее наследственному праву на всяческое уважение.

— Все клерки, — продолжала миссис Спарсит, осторожно стряхивая невидимую крошку намазанного маслом хлеба с левой митенки, — разумеется, добросовестны, пунктуальны и прилежны?

— Да, мэм, пожалуй, что так. Все, кроме одного, конечно.

Он отправлял в банке почетную должность главного шпиона и доносчика, и за эти добровольные услуги, помимо причитающегося ему жалования, получал на рождество наградные. Битцер с годами превратился в необыкновенно трезвого, осмотрительного, благоразумного молодого человека, который не мог не преуспеть в жизни. Духовный механизм его работал так исправно и точно, что он не знал ни чувств, ни страстей. Все его поступки были итогом самых тонких и хладнокровных расчетов; недаром миссис Спарсит всегда говорила, что еще не встречала молодого человека столь твердых принципов. Удостоверившись после смерти отца, что мать его имеет право на признание^[39] в Кокстауне, сей многообещающий юный экономист весьма ревностно и принципиально стал на защиту этого ее права, вследствие чего она очутилась в рабочем доме^[40], где и пребывала поныне. Впрочем, надо отдать ему должное — она получала от него ежегодный дар в виде полуфунта чаю, что, несомненно, было слабостью с его стороны: во-первых, любые дары

неизбежно ведут к пауперизации одаряемого; и, во-вторых, единственный разумный способ распорядиться этим товаром заключался в том, чтобы купить его как можно дешевле, а продать как можно дороже; ибо ученые с полной ясностью доказали, что это и есть весь долг каждого человека^[41], — не какая-то часть его долга, а весь целиком.

— Пожалуй, что все, мэм. Кроме одного, конечно, — повторил Битцер.

— А-а! — протянула миссис Спарсит, помотав головой над чашкой чаю и отхлебывая большой глоток.

— Мистер Томас, мэм, — сомнителен он мне очень. Мне, мэм, не нравится, как он себя ведет.

— Битцер, — предостерегающим тоном сказала миссис Спарсит, — вы не помните, говорила я вам что-нибудь относительно имен?

— Виноват, мэм. Это верно. Вы сказали, что не любите, когда называют имена и что вообще лучше обходиться без них.

— Прошу вас не забывать, что я здесь в должности, — торжественно сказала миссис Спарсит. — Я облечена доверием, Битцер, доверием мистера Баундерби. Пусть в прошлом ни он, ни я не могли бы и помыслить о том, что он некогда станет моим принципалом и назначит мне ежегодную премию, — я все же обязана видеть его в этом свете. Мистер Баундерби всегда с таким глубоким почтением относился к моему общественному рангу и родственным связям, что лучшего я и ожидать не могла.

Напротив, действительность превзошла все мои ожидания. За это я должна быть преданной ему до конца. И я не считаю, не буду считать, не могу считать, — продолжала миссис Спарсит, выпуская весь свой запас нравственных правил и понятий о чести, — что я предана ему до конца, ежели я позволю, чтобы под этим кровом упоминались имена, которые, к несчастью, к величайшему несчастью — это бесспорно, — имеют касательство к нему.

Битцер опять стукнул себя костяшками по лбу и опять попросил извинить его.

— Да, Битцер, — заключила миссис Спарсит, — ежели вы скажете — одна личность, я вас слушаю; скажете мистер Томас — не взыщите.

— Конечно, мэм, кроме одной личности, — поправился Битцер.

— А-а! — повторила свой возглас миссис Спарсит, так же помотав головой над чашкой чаю и отпивая большой глоток, словно хотела подчеркнуть, что разговор возобновляется с той точки, на которой он прервался.

— Одна личность, мэм, — подхватил Битцер, — с самого того дня, когда она в первый раз вошла в нашу контору, повела себя не так, как надо.

Это беспутный, расточительный лентяй. Он даром чужой хлеб ест. И не ел бы, мэм, не будь ему кое-кто родня и друг.

— А-а! — вздохнула миссис Спарсит, опять с грустью покачав головой.

— Я только надеюсь, мэм, — добавил Битцер, — что его родня и друг не снабжает его средствами на мотовство. Иначе, мэм, — мы ведь знаем, из чьего кармана шли бы эти деньги.

— А-а! — снова вздохнула миссис Спарсит и снова грустно покачала головой.

— Мне жаль его, мэм. Я имею в виду того, кого я упомянул последним.

— Да, Битцер, — отвечала миссис Спарсит. — Я всегда с жалостью взирала на это заблуждение, всегда.

— А что до самой личности, — сказал Битцер, понизив голос и подходя поближе, — то он такой же легкомысленный, как все в нашем городе. А вы знаете, мэм, что это значит. Кому же и знать, если не такой важной леди, как вы.

— Им бы надо брать пример с вас, Битцер, — сказала миссис Спарсит.

— Вы слишком добры, мэм. Но раз уж вы упомянули обо мне, то вот что я вам скажу. Я, мэм, уже отложил малую толику. Наградные, которые мне дают на рождество, я никогда не трачу. Я даже своего жалованья не проедаю, хоть оно и не бог весть какое. Почему я могу, а другие не могут? Что один может, то могут и другие.

Эта фикция тоже имела хождение в Кокстауне. Любой богач, начавший с шести пенсов и впоследствии наживший шестьдесят тысяч фунтов, постоянно задавал недоуменный вопрос — почему все шестьдесят тысяч окрестных рабочих не наживают каждый по шестьдесят тысяч фунтов, начав с шести пенсов, и даже как бы укорял их за то, что они не совершили сего несложного подвига. Что я сделал, то и вы можете. Почему же вы этого не делаете?

— Вот говорят, что им нужен отдых, нужны развлечения, — сказал Битцер. — Вздор и чепуха. Мне не нужны развлечения. Никогда в них не нуждался и впредь не буду. У меня к ним душа не лежит. А уж их союзы — я уверен, что многим из них, если бы они глядели в оба и доносили друг на дружку, кое-что перепало бы, деньгами ли, или покровительством, и жилось бы им получше. Почему же они не стараются жить получше, мэм? Ведь эта первейшая цель всякого разумного существа, и они сами всегда этим отговариваются.

— Хороши отговорки! — сказала миссис Спарсит.

— И вечно-то они твердят, прямо до тошноты, про своих жен и детей, — продолжал Битцер. — Вот поглядите на меня, мэм! Мне не нужны жена и дети. Почему же им нужны?

— Потому что они легкомысленны, — сказала миссис Спарсит.

— Да, мэм, — поддакнул Битцер, — именно. Будь они менее легкомысленны и развращены, что бы они сделали? Они бы сказали: «Покуда я один» или «покуда я одна» — как придется, — «мне нужно накормить только одного едока, и как раз того, кого я кормлю с особенным удовольствием».

— Еще бы! — подтвердила миссис Спарсит, надкусывая пышку.

— Благодарю вас, мэм, — стукнув себя по лбу, сказал Битцер, польщенный душеспасительной беседой с миссис Спарсит. — Прикажете подать еще кипяточку, мэм, или еще чего-нибудь принести?

— Пока ничего не нужно, Битцер.

— Благодарю вас, мэм. Не хотелось бы мне беспокоить вас, мэм, за едой, а пуще всего за чаем, — я ведь знаю, как вы его любите, — сказал Битцер, выворачивая шею, чтобы бросить взгляд на улицу, — но вот уже несколько минут какой-то господин смотрит на вас, а теперь он перешел улицу и, кажется, намерен постучать. А вот и стук, мэм, — наверняка это он стучит.

Он подошел к окну, высунул голову, потом втянул ее обратно и подтвердил свои наблюдения:

— Да, мэм, это он. Прикажете проводить его сюда, мэм?

— Не понимаю, кто это может быть, — сказала миссис Спарсит, вытирая губы и оправляя митенки.

— Надо думать, приезжий.

— Уж не знаю, зачем приезжему понадобился банк в такой час — разве только он пришел по делу и опоздал, — сказала миссис Спарсит. — Но я здесь на посту, вверенном мне мистером Баундерби, и что бы ни случилось, я свой долг исполню. Ежели принять его входит в обязанности, которые я взяла на себя, то я приму его. А это вы сами рассудите, Битцер.

Тут посетитель, не подозревавший о произнесенных миссис Спарсит великодушных словах, так громко стал колотить в дверь, что Битцер со всех ног кинулся отворять; а миссис Спарсит, на всякий случай припрятав маленький столик со всеми атрибутами чаепития в шкаф, поспешила наверх, дабы появиться, если будет надобность, с большей торжественностью.

— Прошу прощения, мэм, джентльмен желает вас видеть, — сказал Битцер, приложив белесый глаз к замочной скважине.

Итак, миссис Спарсит, которая тем временем успела поправить чепец на голове, опять понесла вниз свой классический профиль и вошла в кабинет правления величавой поступью, словно римская матрона, вышедшая за ворота осажденного города для переговоров с вражеским полководцем.

На посетителя, который, подойдя к окну, рассеянно поглядывал на улицу, этот эффектный выход не произвел ровно никакого впечатления. Он как нельзя более хладнокровно посвистывал про себя, не снимая шляпы, и вид у него был несколько утомленный — отчасти от жаркой погоды, отчасти от чрезмерной изысканности. Ибо с первого взгляда было видно, что это истинный джентльмен последнего образца — пресыщенный всем на свете и не более Люцифера способный во что-либо верить.

— Вы, кажется, хотели видеть меня, сэр, — промолвила миссис Спарсит.

— Простите, — сказал он, поворачиваясь к ней и снимая шляпу, — прошу прощенья.

«Гм! — подумала миссис Спарсит, величественно отвечая на его поклон, — лет тридцать пять, хорош собой, хорошо сложен, хорошие зубы, хорошо воспитан, хорошо одет, приятный голос, темные волосы, дерзкие глаза». Все это миссис Спарсит отметила по-женски молниеносно, за те две секунды, которые потребовались ей, чтобы наклонить голову и опять поднять ее — точно султан, сунувший голову в ведро с водой^[42].

— Прошу садиться, сэр, — сказала миссис Спарсит.

— Спасибо. Разрешите мне. — Он пододвинул ей стул, сам же, не садясь, небрежно прислонился к краю стола. — Я оставил своего слугу на вокзале позаботиться о вещах, — поезд переполнен, и багажный вагон забит, — а сам пошел пешком, немного оглядеться. Очень странный город. Позвольте узнать, он всегда такой черный?

— Обычно гораздо черней, — сурово отвечала миссис Спарсит.

— Да неужели? Простите... вы, должно быть, не здешняя уроженка?

— Нет, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Когда-то, до того как я овдовела, я имела счастье или, быть может, несчастье принадлежать к совсем иному кругу. Мой муж был Паулер.

— Простите, я не расслышал, — сказал приезжий. — Был... кто?

Миссис Спарсит повторила:

— Он был Паулер.

— Из семьи Паулеров, — сказал приезжий после минутного раздумья. Миссис Спарсит утвердительно кивнула головой. Лицо приезжего казалось еще более утомленным.

— Вам здесь, вероятно, очень скучно? — сказал он, делая логический вывод из ее сообщения.

— Я подчиняюсь обстоятельствам, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — и я давно научилась применяться к силам, управляющим моей жизнью.

— Это отличная философия, — сказал приезжий, — весьма мудрая, похвальная и... — Он, видимо, почел излишним договаривать свою мысль и умолк, лениво поигрывая часовой цепочкой.

— Позвольте узнать, сэр, — начала миссис Спарсит, — чему я обязана честью...

— Разумеется, — отвечал приезжий. — Спасибо, что напомнили. У меня с собой рекомендательное письмо к мистеру Баундерби, банкиру. Прогуливаясь по этому странному черному городу в ожидании, когда успеет обед в гостинице, я спросил у одного прохожего, — это был, вероятно, рабочий, только что принявший душ из чего-то пушистого, очевидно из какого-то сырья...

Миссис Спарсит наклонила голову.

— ...спросил у него, где живет банкир мистер Баундерби, а он, услышав слово «банкир», недолго думая, указал мне дорогу в банк. Но я так полагаю, что мистер Баундерби *не* живет в этом здании, где я имею честь объяснять свой приход?

— Нет, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — не живет.

— Благодарю вас. Я не имел намерения предъявить письмо сейчас. Просто я прогулялся до банка, чтобы убить время и, по счастливой случайности, заметив в окне, — он томно повел рукой в ту сторону и слегка поклонился, — особу весьма благородной и приятной наружности, я решил, что лучше всего будет, если я возьму на себя смелость справиться у этой особы, где же в таком случае живет банкир мистер Баундерби. Что я и позволю себе сделать, принося тысячу извинений.

В глазах миссис Спарсит его рассеянная и небрежная манера держаться вполне искупалась известной непринужденной галантностью, распространявшейся даже на нее. Вот он, к примеру, чуть ли не уселся на стол, а между тем, лениво склонившись к ней, дает почувствовать, что в ней есть какое-то своеобразное обаяние.

— Банки, я знаю, склонны к подозрительности, и так оно и быть надлежит, — сказал приезжий, который, помимо всего прочего, обладал приятным даром говорить плавно, легко и таким тоном, как будто в его словах скрыто больше глубокомыслия и остроумия, чем может показаться (вероятно, искусный прием, изобретенный учредителем этой

многочисленной секты, кто бы ни был сей великий муж), и поэтому, прошу удостовериться, что автор письма — вот оно — член парламента от этого города Грэдграйнд, с которым я имел удовольствие познакомиться в Лондоне.

Миссис Спарсит признала руку, намекнула, что предъявлять письмо не было никакой надобности, и сообщила адрес мистера Баундерби, присовокупив все нужные указания и советы.

— Премного благодарен, — сказал приезжий. — Вы, конечно, хорошо знаете банкира?

— Да, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Я уже десять лет знаю его как моего принципала.

— Целая вечность! Он, кажется, женат на дочери Грэдграйнда?

— Да, — сказала миссис Спарсит, сразу поджав губы, — он удостоился этой... чести.

— Я слышал, что его супруга чуть ли не философ?

— Вот как, сэр? — сказала миссис Спарсит. — Неужели?

— Простите мое назойливое любопытство, — вкрадчиво сказал приезжий, дабы умиловить нахмурившую брови миссис Спарсит, — но вы знаете эту семью и знаете свет. Я скоро тоже узнаю семью банкира и, быть может, мне придется часто бывать там. Скажите мне, его жена очень грозная? Послушать ее отца, так это какое-то чудище, мне просто не терпится узнать, правда ли это. К ней не подступишься, да? Умна до отвращения, до ужаса? Вижу по вашей многозначительной улыбке, что вы иного мнения. Это бальзам для моей смятенной души. А сколько ей лет? Сорок? Тридцать пять? Миссис Спарсит расхохоталась.

— Девчонка, — сказала она. — Ей и двадцати не было, когда она замуж вышла.

— Честное слово, миссис Паулер, — проговорил приезжий, отделяясь от стола, — вы просто ошеломили меня!

Он, видимо, и в самом деле очень удивился, по крайней мере настолько, насколько это было для него возможно. Он добрых пятнадцать секунд, не отрываясь, смотрел на миссис Спарсит, словно ее неожиданное сообщение никак не укладывалось у него в голове. — Уверяю вас, миссис Паулер, — сказал он наконец, — что отец ее подготовил меня к встрече с женщиной зрелой и непреклонно суровой. Я особенно признателен вам за то, что вы исправили эту нелепую ошибку. Еще раз простите меня за вторжение. Тысячу благодарностей. До свиданья!

Отвесив несколько поклонов, он удалился, и миссис Спарсит, спрятавшись за портьеру, увидела, как он, едва волоча ноги, шел по теневой

стороне улицы, привлекая внимание всего города.

— Что вы скажете об этом джентльмене, Битцер? — спросила миссис Спарсит, когда рассыльный пришел убрать посуду.

— Много денег тратит на одежду, мэм.

— Надо сознаться, — сказала миссис Спарсит, — одет он с большим вкусом.

— Да, мэм, — возразил Битцер, — но стоит ли это истраченных денег? А кроме того, — продолжал Битцер, вытирая стол, — сдается мне, что он картежник.

— Играть в карты безнравственно, — сказала миссис Спарсит.

— И очень глупо, — сказал Битцер, — потому что шансы всегда против понтеров.

То ли жара истомила миссис Спарсит, то ли работа не спорилась, но в тот вечер она не рукодельничала. Она сидела у окна, когда солнце начало опускаться за пеленой дыма; она сидела там, когда дым пламенел багровым огнем, и когда огонь угас, и когда темнота, медленно поднявшись словно из-под земли, поползла все выше и выше, добираясь до кровлей домов, до церковных шпилей, до верхушек фабричных труб, до самого неба. Не зажигая свеч, миссис Спарсит сидела у окна, сложив руки на коленях, не замечая вечерних звуков: ни гиканье мальчишек, ни лай собак, ни стук колес, ни шаги и голоса прохожих, ни пронзительные уличные крики, ни топот деревянных подошв по мостовой в час окончания работы, ни громыханье ставень, опускаемых над витринами лавок, не прерывали нить ее мыслей. Только когда рассыльный пришел сказать, что ее ужин готов, миссис Спарсит очнулась от задумчивости и перенесла на третий этаж свои густые черные брови, в ту минуту явно нуждавшиеся в утюге, так сильно они были наморщены от напряженной умственной работы.

— Дурак! — сядясь за ужин, сказала миссис Спарсит после того, как Битцер вышел из комнаты. К кому это относилось, она не объяснила; но вряд ли она имела в виду ливер под пикантным соусом.

Глава II

Мистер Джеймс Хартхаус

Партия Грэдграйнда нуждалась в помощи на предмет умерщвления Граций. Она вербовала сторонников; а где же и вербовать их, как не среди изысканных джентльменов, которые, додумавшись до того, что ничто на свете не имеет цены, ни перед чем на свете не останавливались?

Вдобавок, трезвые умы, достигшие столь возвышенного образа мыслей, обладали притягательной силой для многих приверженцев грэдграйндской школы. Сии ревнители фактов питали слабость к изысканным джентльменам; они притворялись, будто это не так, но слабость, несомненно, питали. Они из кожи вон лезли, подражая им, гнусавили, растягивали слова, как они; и с томным видом скармливали своим вновь завербованным ученикам заплесневелые порции политической экономии. Мир не знал более ублюдочного племени, чем то, какое породила эта их деятельность.

Среди изысканных джентльменов, формально не принадлежавших к грэдграйндской школе, был один, который не только происходил из хорошей семьи и обладал приятной наружностью, но еще отличался тонким юмором, имевшим огромный успех в палате общин, — особенно в тот раз, когда он, излагая свою точку зрения (и точку зрения директоров компании) на катастрофу, во время которой пятеро пассажиров было убито, а тридцать два ранено, уверял своих коллег, что на столь идеально проложенной линии, оснащенной самыми хитроумными механизмами, где служат невиданно добросовестные машинисты, под началом неслыханно щедрых управляющих, и вся система действует так, что лучшего и желать нельзя, для полного совершенства положительно не хватало только несчастного случая. Одной из жертв крушения оказалась корова, а среди разбросанных предметов, неизвестно кому принадлежащих, нашли вдовый чепец. И почтенный член парламента так распотешил палату (весьма чувствительную к тонким шуткам), надев чепец на корову, что никто уже не пожелал вникать в протоколы дознания, и компания была оправдана под аплодисменты и смех.

Так вот — у этого джентльмена был младший брат, еще более приятной наружности, нежели он сам, который побывал в драгунских корнетах — и соскучился; потом побывал за границей в свите английского посланника — и соскучился; потом добрался до Иерусалима и там тоже

соскучился; наконец побродил на яхте по всему свету и опять-таки соскучился. В один прекрасный день парламентский остролов по-братски сказал ему: «Джим, есть дело. Партии непреложных фактов нужны люди. Ты мог бы там преуспеть. Почему бы тебе не взяться за статистику?» Мысль эта отчасти даже понравилась Джиму своей новизной, к тому же он так жаждал какой-нибудь перемены, что готов был взяться за что угодно, хоть бы и за статистику. Он и взялся. Начал он с того, что вызубрил несколько Синих книг; а брат его оповестил об этом Партию непреложных фактов и сказал: «Если вы хотите провести в парламент от любого округа смазливый шалопай, который умеет красно говорить, то поинтересуйтесь моим братом Джимом, он вам пригодится». После нескольких проверок на публичных собраниях мистер Грэдграйнд и совет политических мудрецов одобрили Джима, и было решено, что он поедет в Кокстаун, дабы его узнали в городе и окрестностях. Отсюда и письмо, которое Джим накануне вечером показывал миссис Спарсит и которое теперь держал в руках мистер Баундерби, — письмо с надписью: «Джосайе Баундерби, эсквайру, банкиру, Кокстаун. Рекомендация Джеймсу Хартхаусу, эсквайру. Томас Грэдграйнд».

Получив сие послание вместе с визитной карточкой мистера Хартхауса, мистер Баундерби, не мешкая, надел шляпу и отправился в гостиницу. Мистера Хартхауса он застал сидящим у окна в самом унылом расположении духа и уже почти порешившим взяться за что-нибудь другое.

— Мое имя, сэр, — сказал посетитель, — Джосайя Баундерби из Кокстауна.

Мистер Джеймс Хартхаус сказал, что весьма рад (хотя это вовсе не было заметно) и что давно предвкушал удовольствие.

— Кокстаун, сэр, — продолжал Баундерби, без церемоний усаживаясь на стул, — не из таких мест, к каким вы привыкли. А потому, с вашего позволения, — а можно и без него, я человек простой, — я прежде всего хочу рассказать вам кое-что о нашем городе.

Мистер Хартхаус заверил, что будет в восторге.

— Не спешите с восторгами, — сказал Баундерби. — Я ничего такого не обещаю. Во-первых, видите дым? Это для нас пища и питье. Это самая полезная вещь на свете вообще, а для легких в частности. Ежели вы из тех, кто хочет, чтобы мы истребили дым, то я с вами не согласен. Мы не намерены изнашивать наши котлы быстрее, чем изнашивали их до сих пор, сколько бы об этом ни кричали по всей Великобритании и Ирландии.

Мистер Хартхаус, решив, что уж раз взялся, то отступить не годится, ответил:

— Могу вас заверить, мистер Баундерби, что я одних мыслей с вами. Я полностью разделяю ваши убеждения.

— Очень рад, — сказал Баундерби. — Ну-с, разумеется, вы слышали много толков о труде на наших фабриках. Слышали? Отлично. Сообщаю вам как факт: это самый приятный, самый легкий, самый высокооплачиваемый труд, какой только можно себе вообразить. Более того — фабричные корпуса так превосходны, что остается лишь расстелить на полу турецкие ковры. Чего мы делать не станем.

— Мистер Баундерби, вы совершенно правы.

— И последнее, — продолжал Баундерби, — наши рабочие руки. Нет ни одного среди них — будь то мужчина, женщина или ребенок, — который не имел бы заветной цели в жизни. А цель эта — чтобы их кормили черепаховым супом и дичью с золотой ложечки. Так вот — никогда ни единого из них мы не станем кормить черепаховым супом и дичью с золотой ложечки. Теперь вы знаете все о нашем городе.

Мистер Хартхаус объявил, что это сжатое и вместе с тем исчерпывающее изложение всего кокстаунского вопроса оказалось для него в высшей степени любопытным и поучительным.

— Видите ли, — сказал мистер Баундерби, — таков уж мой нрав: когда я знакомлюсь с кем-нибудь, особенно с общественным лицом, я люблю, чтобы все было ясно. Мне остается уведомить вас только об одном, мистер Хартхаус, прежде чем обещать вам, что в ответ на рекомендательное письмо моего друга Тома Грэдграйнда я охотно сделаю все, что в моих скромных силах. Так вот — вы из хорошей семьи. Не вздумайте вообразить, что и я из хорошей семьи. Я просто дрянь, самое что ни на есть грязное отребье.

Если что-нибудь и могло повысить интерес Джима к собеседнику, то именно это последнее обстоятельство — во всяком случае, так он изъяснил мистеру Баундерби.

— Ну-с, — сказал мистер Баундерби, — теперь мы можем пожать друг другу руку на равных правах. Именно на равных, потому что, хоть я лучше всех знаю, кто я таков и как глубока была канава, из которой я себя вытащил, во мне столько же гордости, сколько в вас. В точности столько же. Итак, утвердив надлежащим манером свою независимость, я хочу теперь справиться о вашем здравии и надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо.

Мистер Хартхаус, пожимая руку мистера Баундерби, дал понять, что на него уже действует целительный воздух Кокстауна. Мистер Баундерби выслушал эти слова благосклонно.

— Вы, может быть, знаете, — сказал он, — а может быть и не знаете, что я женат на дочери Тома Грэдграйнда. Ежели вам не предстоит ничего более занимательного, то пойдемте со мной до моего дома, и я познакомлю вас с дочерью Тома Грэдграйнда.

— Мистер Баундерби, — отвечал Джим, — вы предвосхитили мое самое горячее желание.

Без дальних слов они вышли из гостиницы, и мистер Баундерби повел нового знакомого, столь несхожего с ним, к своей частной резиденции из красного кирпича с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, черной входной дверью и двумя белыми ступеньками к ней. И вот, когда они очутились в гостиной сего пышного особняка, к ним вышла самая примечательная женщина, какую когда-либо приходилось видеть мистеру Джеймсу Хартхаусу. Она держалась так натянуто и вместе с тем небрежно; так мало говорила и так настороженно слушала; была так равнодушна и горда и вместе с тем так мучительно стыдилась чванного смирения своего супруга — при каждой его выходке она вздрагивала, точно ее ударили или полоснули ножом, — что он смотрел на нее с каким-то новым, доселе не изведанным чувством. Не менее примечательной, чем ее поведение, показалась ему и наружность ее. Она была красива; но красивое это лицо застыло в такой неподвижности, что естественное его выражение оставалось тайной. Бесстрастная, самоуверенная, нисколько не смущенная и вместе с тем словно скованная, она только по видимости находилась в гостиной с мужем и гостем, — внутренне она была не с ними, а совсем одна; и разгадать эту женщину с первого раза — за это не стоило и браться, тут никакая проницательность не помогла бы.

С хозяйки дома гость перевел взгляд на самый дом. Нигде в этой комнате не чувствовалась женская рука. Ни украшений, ни затейливых безделушек, пусть даже и банальных, — ничего, что говорило бы о ее личных вкусах. Сумрачная, неуютная, обставленная с хвастливой аляповатой роскошью гостиная глядела хмуро на хозяев и гостя, — не было ни следа каких-либо женских занятий, не на чем было отдохнуть взору. Как мистер Баундерби истуканом торчал среди своих пенатов^[43], так и сии неприветливые боги стояли вокруг него, они были достойны друг друга и весьма схожи между собой.

— Сэр, — сказал Баундерби, — это моя жена, миссис Баундерби, старшая дочь Тома Грэдграйнда. Лу, рекомендую: мистер Джеймс Хартхаус. Мистер Хартхаус завербован твоим отцом. И в скором времени, ежели он и не станет коллегой твоего отца от нашего Кокстауна, то мы наверняка услышим о его кандидатуре в одном из соседних городов. Как видите,

мистер Хартхаус, моя жена моложе меня. Не знаю, что она нашла во мне, почему согласилась выйти за меня замуж; но что-то, видимо, нашла, иначе не вышла бы. Она знает все на свете, и про политику, и все прочее. На случай, ежели вам нужно вызубрить что-нибудь, я просто не мог бы придумать для вас лучшего наставника, нежели Лу Баундерби.

Мистер Хартхаус сказал, что учиться у столь очаровательного наставника одно удовольствие и учение, несомненно, пойдет ему на пользу.

— Ах, так! — сказал хозяин. — Ну, ежели вы мастер отпускать комплименты, то вас ждет успех, потому что тягаться с вами будет некому. Я лично никогда этому делу не обучался; комплименты не по моей части — скажу прямо, терпеть их не могу. Но вы получили не такое воспитание, как я. Вот уж это было воспитание, доложу я вам! Вы джентльмен, а я нет, и я не выдаю себя за такового. Я Джосайя Баундерби из Кокстауна, и этого с меня довольно. Однако, ежели на меня светские манеры и высокое положение не действуют, это еще не означает, что они не действуют на Лу Баундерби. Она выросла не в столь счастливых — несчастных на ваш взгляд, но, по-моему, счастливых — обстоятельствах, как я, так что, думаю, труды ваши не пропадут даром.

— Мистер Баундерби, — улыбаясь, обратился Джим к Луизе, — благородный конь в сравнительно естественном состоянии, свободный от узды, которую светские условности налагают на такую злополучную клячу, как я.

— Вы очень высоко ставите мистера Баундерби, — невозмутимо отвечала она. — Так оно и должно быть.

Он потерялся от ее ответа и, чувствуя себя окончательно сбитым с толку, что было немалым позором для кидавшего виды джентльмена, подумал: «Как это понимать?»

— Судя по словам мистера Баундерби, вы намерены посвятить себя служению родине, — сказала Луиза, все еще стоя перед гостем на том самом месте, где она остановилась, войдя в гостиную, и все с той же странной смесью самоуверенности и явного замешательства. — Вы решили указать стране выход из всех ее затруднений.

— Миссис Баундерби, — рассмеялся он, — говоря по чести, это не так. Не стану вас обманывать. Я кое-что повидал на своем веку; и нашел, как и все, что ничто не имеет цены; только одни сознаются в этом, а другие нет; и я буду отстаивать взгляды вашего батюшки, потому что те ли, другие ли — для меня все едино.

— А своих взглядов у вас нет? — спросила Луиза.

— Уверю вас, я не вижу никаких причин придерживаться одних и

отвергать другие. Я не отдаю предпочтения никаким взглядам. В итоге всех разновидностей скуки, которые я претерпел, я пришел к убеждению (если только «убеждение» не слишком энергичное слово для, моих ленивых мыслей по этому поводу), что любой набор идей приносит столько же пользы, сколько всякий другой, и в точности столько же вреда. Один знатный английский род взял себе прелестный итальянский девиз: «Что будет, то будет»^[44]. Только в этом истина.

Такое злостное лицемерие, прикрывающее обман личиной прямоты — зло опасное, убийственное и весьма распространенное, — видимо, произвело на нее благоприятное впечатление. Он поспешил закрепить свой успех, заявив с усмешкой, в которой она вольна была усмотреть или не усмотреть скрытый смысл:

— Партия, миссис Баундерби, умеющая доказать все, что угодно, начертав рядом единицы, десятки, сотни и тысячи, вернее других сулит своим членам и развлечение и выгоду. Я так же привержен ей, как если бы верил в нее. Я так же готов содействовать ей, как если бы верил в нее. А что еще я мог бы сделать, если бы искренне верил в нее?

— Вы очень своеобразный политик, — сказала Луиза.

— Простите, но даже этой заслуги у меня нет. Уверяю вас, миссис Баундерби, мы оказались бы самой многочисленной партией нашего государства, если бы вышли все из рядов, покинув свои случайные места, и выстроились для общего смотра.

Мистер Баундерби, который чуть не лопался от непривычно долгого для него молчания, оборвал их разговор, предложив перенести семейный обед на половину седьмого, а покуда обойти с визитами видных избирателей Кокстауна и его окрестностей. Визиты были сделаны; и мистер Джеймс Хартхаус, умело пуская в ход свои синие познания, с блеском выдержал экзамен, но при этом едва не умер от скуки.

Вечером он обнаружил, что стол накрыт на четверых, однако обедать сели втроем. Мистер Баундерби не преминул воспользоваться столь удобным случаем и обстоятельно рассказал, как вкусно пахли тушеные угри, которые он в восьмилетнем возрасте покупал на полпенни у уличных торговцев; а также о свойствах воды, предназначенной главным образом для борьбы с пылью, которой он запивал сие лакомство. Кроме того, за супом и рыбой он занимал гостя подсчетами, уверяя его, что он (Баундерби) в отроческие годы съел по меньшей мере трех лошадей в виде колбас и сосисок. Все эти рассказы Джим выслушивал, время от времени бросая томное «прелестно!»; и, вероятно, они сильно способствовали бы его решению завтра же опять отправиться в Иерусалим, если бы не острое

любопытство, которое возбуждала в нем Луиза.

«Неужели, — думал он, глядя на молоденькую хозяйку, такую хрупкую и тоненькую, очень красивую, но столь явно не на месте во главе стола, — неужели нет ничего, что оживило бы эти застывшие черты?»

Есть! Честное слово, есть, — и вот оно, но в весьма неожиданном обличье. Вошел Том. Едва завидев его, Луиза вся преобразилась, и лицо ее просияло улыбкой.

Чудесная улыбка. Быть может, она особенно восхитила мистера Джеймса Хартхауса потому, что он очень долго дивился на ее безучастное лицо. Она протянула руку — маленькую, изящную, — и пальцы ее охватили руку брата, как будто она хотела поднести ее к губам.

«Понятно, — подумал гость. — Этот щенок единственное существо, которое она любит. Так, так!»

Щенка представили гостю, и он сел за стол. Наименование, мысленно данное ему мистером Хартхаусом, было нелестным, но нельзя сказать, чтобы незаслуженным.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, Том, — сказал Баундерби, — я приходил вовремя или оставался без обеда!

— Когда вам было столько лет, сколько мне, — возразил Том, — вы не корпели над перевернутым балансом и не принаряжались к обеду.

— Оставим это! — сказал Баундерби.

— Так и не приставайте, — проворчал Том.

— Миссис Баундерби, — сказал Хартхаус, отлично слышавший эту перепалку, — лицо вашего брата мне очень знакомо. Не мог ли я встречать его за границей? Или, может быть, мы учились в одной и той же школе?

— Нет, — с готовностью отвечала она, — он еще ни разу не ездил за границу, а учился дома, в нашем городе. Том, милый, я говорю мистеру Хартхаусу, что он не мог видеть тебя за границей, — потому что ты никогда там не бывал.

— Не имел такого счастья, сэр, — сказал Том.

Луиза смотрела на брата сияющими глазами, хотя мало привлекательного можно было найти в этом угрюмом молодом человеке, грубоватом даже в обращении с сестрой. Видно, истомилось ее одинокое сердце и велика была потребность кому-нибудь отдать его. «Стало быть, верно, что щенок единственное существо, которое ей дорого, — думал мистер Джеймс Хартхаус, снова и снова возвращаясь к этой мысли. — Единственное!»

И в присутствии сестры и после того, как она вышла из столовой, щенок бесцеремонно выражал свое презрение к мистеру Баундерби,

усиленно гримасничая и подмигивая, как только сей независимый муж поворачивался к нему спиной. Мистер Хартхаус, правда, не отвечал на эти телеграфные знаки, но за один вечер очень сошелся с Томом и не скрывал своих дружественных чувств к нему. Когда гость, прощаясь, заметил, что не уверен, найдет ли он в темноте дорогу в гостиницу, щенок тотчас же предложил свои услуги и вышел вместе с мистером Хартхаусом, дабы проводить его.

Глава III

Щенок

Весьма примечательно, что молодой человек, воспитанный по системе неуклонного подавления всего, что свойственно человеческой природе, вырос лицемером; однако это несомненно случилось с Томом. Весьма удивительно, что молодой человек, который никогда и пяти минут не оставался без указки, так и не научился управлять самим собой; но именно это произошло с Томом. И совершенно непостижимо, что молодого человека, чье воображение было задушено еще в колыбели, все еще тревожили какие-то остатки его, выродившись в самые низменные наклонности; но именно таким феноменом безусловно оказался Том.

— Вы курите? — спросил мистер Джеймс Хартхаус, когда они подошли к гостинице.

— Еще бы! — сказал Том.

Долг вежливости обязывал его пригласить Тома подняться наверх, а Тому долг вежливости предписывал принять приглашение. Прохладительный напиток, приноровленный к жаркой погоде, — и притом достаточно крепкий, — и табак более редкого сорта, чем можно было приобрести в здешних краях, быстро возымели благотворное действие на состояние духа Тома, развалившегося в углу дивана, и преисполнили его еще большим восхищением к новому другу, занявшему противоположный угол.

Накутившись, Том разогнал табачный дым и внимательно посмотрел на мистера Хартхауса. «Незаметно, чтобы он заботился о своей одежде, — подумал Том, — а как отлично он одет. Сразу видно светского щеголя!»

Мистер Джеймс Хартхаус, случайно встретившись с Томом глазами, заметил ему, что он ничего не пьет, и небрежным движением собственноручно наполнил его стакан.

— Спасибо, — сказал Том. — Спасибо. Ну, мистер Хартхаус, нагледелись вы сегодня на старика Баундерби? — Том подмигнул и с хитрой миной посмотрел поверх стакана на своего собеседника.

— А он очень славный малый, — отвечал мистер Джеймс Хартхаус.

— Вы так думаете? — сказал Том и еще раз подмигнул.

Мистер Джеймс Хартхаус улыбнулся; поднявшись с дивана, он стал напротив Тома, спиной к пустой каминной решетке, и, попыхивая сигарой, глядя на него сверху вниз, сказал:

— Занятный вы шурин!

— Вы, очевидно, имеете в виду, что старик Баундерби занятый зять, — отпарировал Том.

— И злой же у вас язык, Том, — сказал мистер Джеймс Хартхаус.

Как лестно быть на короткой ноге с таким бесподобным жилетом; и слышать дружеское «Том», произнесенное таким приятным голосом; и, едва успев познакомиться, непринужденно болтать с такими холеными бакенбардами! Том был доволен собой сверх всякой меры.

— Я и не скрываю, что не люблю старика Баундерби, — сказал Том. — Я всегда за глаза называл его так, как сейчас, и думал о нем то же, что думаю сейчас. Не стану я вдруг разводить церемонии вокруг старика Баундерби. Поздновато начинать.

— Со мной это не страшно, — сказал Джеймс, — а вот при его жене надо бы, знаете, поостеречься.

— При его жене? — сказал Том. — Это при моей сестре Лу? Ну как же! — И, захохотав, он глотнул еще немного прохладительного напитка.

Джеймс Хартхаус по-прежнему стоял перед камином, все в той же ленивой позе, посасывая сигару со свойственной ему непринужденной грацией и приветливо глядя на щенка, — он явно чувствовал себя в роли демона искуителя, который парит над намеченной жертвой и знает, что по первому требованию она отдаст ему всю душу. Щенок и в самом деле поддавался его обаянию. Он глянул на Джеймса Хартхауса подобострастно, потом глянул восторженно, потом глянул дерзко и вытянул одну ногу вдоль дивана.

— Моя сестра Лу? — повторил Том. — Да она никогда не любила старика Баундерби.

— Это прошедшее время, Том, — заметил мистер Джеймс Хартхаус, стряхивая мизинцем пепел с сигары. — А мы живем в настоящем.

— Глагол «не любить». Второе спряжение. Изъявительное наклонение, настоящее время. Первое лицо единственного числа — я не люблю; второе лицо единственного числа — ты не любишь; третье лицо единственного числа — она не любит, — выпалил Том.

— Очень мило! Остроумно! — похвалил Джеймс Хартхаус. — Но вы, конечно, шутите.

— Вовсе не шучу! — воскликнул Том. — Даю честное слово! Неужели вы, мистер Хартхаус, и вправду думаете, что моя сестра Лу может любить старика Баундерби?

— А что же, милый друг, я должен подумать, когда вижу счастливых супругов, между коими совет да любовь?

К этому времени уже обе ноги Тома вытянулись на диване. Если бы его вторая нога еще не водворилась там, когда его назвали милым другом, он непременно задрал бы ее. Но, испытывая потребность как-то отметить этот знаменательный момент разговора, он разлегся на диване, опершись затылком на валик, и, с деланной небрежностью попыхивая сигарой, поворотил свою простоватую физиономию и несколько мутные глаза в сторону собеседника, который смотрел на него таким беспечным и в то же время таким властным взором.

— Вы же знаете нашего родителя, мистер Хартхаус, — сказал Том. — Так и незачем вам удивляться, что Лу вышла за старика Баундерби. Она никогда никого не любила, родитель предложил ей старика, она и вышла за него.

— Редкостное послушание в такой привлекательной женщине, — сказал мистер Джеймс Хартхаус.

— Да. Но, может быть, она и не послушалась бы, и вообще это не сошло бы так легко и просто, если бы не я, — отвечал щенок.

Искуситель только поднял брови, но это заставило щенка продолжать.

— Это я убедил ее, — сказал он с важностью, тоном превосходства. — Меня сунули в банкирскую контору старика Баундерби (куда я вовсе не стремился), и я знал, что мне там придется несладко, если старик Баундерби останется с носом. Я и сказал ей, каково мое желание, и она его исполнила. Ради меня она все бы сделала. Очень мило с ее стороны, правда?

— Просто замечательно, Том!

— И то сказать, для нее это не имело такого большого значения, как для меня, — рассудительно продолжал Том, — ведь от ее брака зависела моя свобода, мое благополучие и, пожалуй, даже карьера. У нее же другого жениха не было. А оставаться дома — это все равно что в тюрьме сидеть, особенно после того, как я уехал оттуда. Вот если бы она из-за старика Баундерби отказала любимому человеку, — тогда другое дело. Но все-таки она поступила очень хорошо.

— Уж куда лучше! И она так при этом спокойна.

— Она, как все женщины, — со снисходительным высокомерием отвечал Том. — Женщина повсюду может ужиться. Она привыкла к своему положению и не тяготится им. Так ли, этак ли, ей все равно. И потом, хоть Лу и женщина, она все же не совсем обыкновенная женщина. Она может вдруг уйти в себя и целый час о чем-то думать — я сам сколько раз видел, как она молча сидит у камина и смотрит в огонь.

— Понятно. Сама находит, чем развлечься, — заметил Хартхаус,

лениво затягиваясь дымом.

— Не так уж много находит, как вы, быть может, предполагаете, — возразил Том. — Родитель наш забил ей голову всякой сухой материей. Это его система.

— Воспитал свою дочь такой, каков он сам? — спросил Хартхаус.

— Дочь? Не только ее. Он даже меня так воспитал, — сказал Том.

— Не может быть!

— Именно, именно, — подтвердил Том и покачал головой. — Вообразите, мистер Хартхаус, когда я впервые покинул свой дом и поселился у старика Баундерби, я был глуп, как пробка, и о жизни знал не больше, чем устрица.

— Полноте, Том! Я вам не верю. Вы просто шутите.

— Даю вам слово! — воскликнул щенок. — Вовсе я не шучу. Какие уж тут шутки! — С минуту он сосредоточенно и важно курил свою сигару, потом продолжал самодовольным тоном: — Ну, с тех пор я немного поумнел. Не отрицаю. Но этим я обязан только себе. Родитель тут ни при чем.

— А ваша ученая сестра?

— Моя ученая сестра осталась почти такой, какой была. Она часто жаловалась мне, что не умеет заняться каким-нибудь женским делом. И теперь, наверно, ничего не изменилось. Но ее это не тяготит, — глубокомысленно добавил он, затягиваясь сигарой. — Женщины всегда как-то уживаются.

— Вчера вечером, когда я заходил в банк, чтобы узнать адрес мистера Баундерби, я застал там одну престарелую леди, которая, видимо, искренне восхищается вашей сестрой, — заметил мистер Джеймс Хартхаус, бросая в камин окурочку сигары.

— Мамаша Спарсит! — догадался Том. — Как? Вы уже видели ее?

Его друг кивнул головой. Том вынул изо рта сигару, чтобы подмигнуть похитрее (хотя веки уже плохо слушались его), и несколько раз ударил себя пальцем по носу.

— Мамаша Спарсит, по-моему, не только восхищается Лу, — сказал Том. — Я бы назвал ее чувства — любовь и преданность. Мамаша Спарсит никогда не ловила Баундерби, когда он ходил в холостяках. Что вы, что вы!

Эти слова были последними, произнесенными щенком, прежде чем он впал в дремотное забытие, за которым последовал крепкий сон. Очнулся он от весьма неприятного сновидения — ему померещилось, что в него ткнули носком башмака и чей-то голос сказал: «Хватит, время позднее. Ступайте домой!»

— Ну что ж, — сказал он, поднимаясь с дивана. — Пора идти. Знаете, у вас очень хороший табак. Но только слишком слабый.

— Да, да, слишком слабый, — отвечал мистер Хартхаус.

— Просто... просто до смешного слабый, — сказал Том. — А где у вас дверь? Спокойной ночи!

И еще ему привиделся странный сон — будто один из слуг гостиницы провел его через туман, который очень мешал ему идти, а когда рассеялся, оказался главной улицей, и слуги уже не было. Потом он без особенного труда побрел домой, хотя все еще каким-то таинственным образом ощущал присутствие своего нового друга — словно тот где-то парил в воздухе, так же небрежно прислонясь к камину и глядя на него тем же властным взглядом.

Щенок добрался до дому и лег спать. Имей он хоть отдаленное понятие о том, что он натворил в тот вечер, и будь он в меньшей степени щенком, а в большей братом, он, быть может, круто свернул бы с дороги, спустился к зловонной, черной от краски реке и лег бы спать на веки вечные, навсегда задернув над головой грязный полог ее гниющих вод.

Глава IV

Люди и братья

— О друзья мои, угнетенные рабочие Кокстауна! О друзья мои и соотечественники, рабы железного и беспощадного деспотизма! О друзья мои, товарищи по несчастью, товарищи по труду, братья и ближние мои! Настал час, когда мы должны слиться в единую сплоченную силу, дабы стереть в порошок наших притеснителей, которые слишком долго жирели потом наших лиц, трудом наших рук, силой наших мышц, грабя наши семьи, попирая богом созданные великие права человечества и извечные священные привилегии братства людей!

«Правильно! Верно, верно! Ура!» и другие одобрительные возгласы неслись со всех концов битком набитого душного помещения, где оратор, взобравшись на подмости, выпускал в толпу пары и пену своего красноречия. Он так распалился, что пот лил с него градом, и голос отказывался служить ему. Он долго кричал во все горло под ярким светом газового рожка, сжимал кулаки, хмурил брови, стискивал зубы и размахивал руками, и, наконец, доведя себя до полного изнеможения, остановился и попросил стакан воды.

Он стоял над толпой весь багровый, жадно глотая холодную воду, и надо сказать, что сравнение между ним и обращенными к нему сосредоточенными лицами было отнюдь не в его пользу. Если судить о нем по тем свойствам, какими наделила его природа, то мало что возвышало его над толпой слушателей, помимо подмостков, на которые он взобрался. Во многих других весьма немаловажных отношениях он стоял значительно ниже их. В нем не было ни их прямоты, ни их мужества, ни их незлобивости; он подменял хитростью их простодушие, неистовством — их трезвый, здравый ум. Нескладный, узкоплечий, с насупленными бровями, с застывшей на лице брюзгливой гримасой, он даже своим ублюдочным платьем невыгодно отличался от своих слушателей в будничной рабочей одежде. Всегда странно видеть, как покорно слушает скучнейшие разглагольствования самоуверенного пустомели — будь то титулованная особа или простой смертный — собрание людей, большинство которых тщетно пыталось бы поднять это ничтожество до собственного духовного уровня; тем более странно, и даже обидно было видеть, как сильно увлечена речами такого вожака толпа степенных людей, чья искренность ни в одном проницательном и беспристрастном

наблюдателе не могла вызвать и тени сомнений.

Правильно! Верно, верно! Ура! Внушительное это было зрелище — такое множество лиц и на всех до единого написано напряженное внимание и готовность действовать. Ни беспечности, ни лени, ни праздного любопытства; здесь и на мгновение нельзя было подметить тех многочисленных оттенков равнодушия, которые стали обычны для всех других сборищ. Каждый понимал, что положение его, по той или иной причине, хуже, чем оно могло бы быть; каждый считал своим долгом примкнуть к остальным, чтобы добиться лучшей доли; каждый знал, что ему не на что надеяться, кроме как на объединение со своими товарищами; каждый был преисполнен веры. истинной или ложной (к несчастью, на сей раз ложной), — веры глубокой, искренней, чистосердечной, — все это любой наблюдатель, не закрывающий умышленно глаза, увидел бы так же ясно, как голые балки, поддерживающие крышу, и выбеленные кирпичные стены. И любой честный наблюдатель должен был бы в глубине души признать, что эти люди в самом заблуждении своем обнаруживали высокие нравственные качества, которые могли бы принести добрые плоды, и что утверждать (ссылаясь на огульные, якобы бесспорные теории), будто они сбиваются с пути не в силу каких-либо причин, а просто по собственному неразумию и злой воле, — это все равно, что утверждать, будто бывает дым без огня, смерть без рождения, жатва без сева или что бы то ни было, возникшее из ничего.

Оратор, освежившись, несколько раз провел по наморщенному лбу слева направо скомканным носовым платком и вложил все свои восстановленные силы в презрительную и горькую улыбку.

— Но, о друзья и братья мои! О мои сограждане, угнетенные рабочие Кокстауна! Что сказать о человеке, о рабочем человеке — как ни кощунственно называть его этим славным именем, — отлично знающем по собственному опыту все ваши обиды и гонения на вас, — на силу и крепость Англии, — слышавшем, как вы, с благородным и величественным единодушием, перед которым задрожат тираны, решили внести свою лепту в фонд Объединенного Трибунала^[45] и соблюдать все правила, изданные этим органом на благо вам, каковы бы они ни были, — что, спрашиваю я вас, можно сказать об этом рабочем, — ибо так я вынужден называть его, — который в такое время покидает свой боевой пост и изменяет своему знамени; в такое время оказывается предателем, трусом и отступником, и не стыдится, в такое время, открыто заявить о том, что он принял позорное, унижительное решение остаться в стороне и не участвовать в доблестной борьбе за свободу и справедливость!

Эти слова оратора не встретили единодушного отклика. Кое-где послышалась брань, свистки, но большинство слушателей считало зазорным для себя осудить человека, не выслушав его. «Не ошибись, Слекбридж. Вызови его! Пусть говорит!» Такие возгласы раздавались со всех сторон. Наконец кто-то громко крикнул: «А он здесь? Ежели он здесь, Слекбридж, то мы послушаем, что он скажет, а ты пока помолчи». Что и было принято под дружные аплодисменты.

Слекбридж, оратор, посмотрел по сторонам с уничтожающей усмешкой; вытянув во всю длину правую руку (по примеру всех Слекбриджей), дабы усмирить разбушевавшееся море, он стоял молча, пока не наступила тишина.

— О друзья мои и братья! — с горьким презрением качая головой, заговорил тогда Слекбридж. — Ничего нет удивительного в том, что вы, гонимые сыны труда, отказываетесь верить в существование такого человека. Но существовал же тот, кто продал свое первородство за чечевичную похлебку^[46], существовал и Иуда Искарот и Каслри^[47], существует и этот человек!

У подмостков произошло какое-то движение, толкотня, и человек, которого обличал оратор, появился рядом с ним перед собранием. Он был бледен и, видимо, волновался — особенно выдавали его слегка дрожащие губы; но он стоял спокойно, держась левой рукой за подбородок, и ждал, чтобы ему дали возможность говорить. Председатель собрания решил теперь взять дело в свои руки.

— Друзья, — сказал он, — по праву вашего председателя, я прошу нашего друга Слекбриджа, который, может быть, немного погорячился, занять свое место, а мы покуда послушаем, что скажет Стивен Блекпул. Вы все знаете Стивена Блекпула. Знаете его горькую судьбу и его доброе имя.

Председатель дружески пожал Стивену руку и сел. Сел и Слекбридж, вытирая потный лоб слева направо, — именно слева направо, а не наоборот.

— Друзья мои, — начал Стивен в гробовой тишине, — я слышал, что тут говорили про меня, и думается мне, мои слова дела не поправят. Но пусть лучше вы узнаете правду обо мне из моих уст, а не из чужих, хотя я всегда путаюсь и сбиваюсь, когда меня слушает много людей.

Слекбридж от великого презрения так неистово тряхнул головой, как будто хотел стряхнуть ее напроочь.

— Только я один из ткачей на фабрике Баундерби, из всех рабочих, не согласился с вашим решением. Я не могу с ним согласиться. Друзья мои, я не верю, что это будет к добру. Как бы худо не было.

Слекбридж хохотнул, скрестил руки и саркастически скривился.

— Но я не потому остался в стороне. Будь только это, я бы пошел вместе со всеми. Но есть причина, — у меня, понимаете, есть такая причина, отчего мне это заказано. И не только нынче, а навсегда, на всю жизнь.

Слекбридж вскочил с места и стал возле Стивена, скрежеща зубами от ярости.

— О друзья мои, разве не то же я вам говорил? О мои соотечественники, разве не от этого я предостерегал вас? И каково же видеть такое малодушие в человеке, который сам пострадал от несправедливых законов? О братья мои, я спрашиваю вас, каково видеть человека из вашей же среды, который столь труслив и продажен, что по своей воле обрекает на гибель и себя, и вас, и детей, и внуков ваших?

Раздались жидкие аплодисменты, нестройные крики «позор!». Но большинство собравшихся молчали. Они видели осунувшееся, взволнованное лицо Стивена, читали на нем искреннее бесхитростное чувство и по добросердечию своему не столько возмущались им, сколько жалели его.

— Этому делегату положено говорить, — продолжал Стивен, — такое у него ремесло. Ему за это деньги платят, и он свое дело знает. Пусть и занимается им. А что выпало мне на долю, пусть его не тревожит. Это его не касается. Это касается только меня одного.

В последних словах Стивена было столько достоинства, чтобы не сказать благородства, что тишина стала еще полнее, а лица слушателей еще сосредоточенней. Тот же громкий голос крикнул: «Слекбридж, не мешай нам слушать, придержи язык!», после чего воцарилось мертвое молчание.

— Братья, — продолжал Стивен, чей тихий голос был теперь отчетливо слышен, — братья мои и товарищи — ибо для меня вы товарищи, хоть я и знаю, что этот делегат думает иначе, — я скажу вам только одно, и больше мне сказать нечего, хоть бы я говорил до самого утра. Я хорошо знаю, что меня ждет. Знаю, что вы не захотите иметь дело с человеком, который нынче не пошел вместе с вами. Знаю, что, ежели я буду умирать под забором, вы, не задумываясь, пройдете мимо, словно никогда меня в глаза не видали. Все, что мне предстоит, я должен стерпеть.

— Стивен Блекпул, — сказал председатель, вставая, — подумай еще. Подумай еще, прежде чем все твои старые друзья отвернутся от тебя.

По толпе прошел одобрительный ропот, но никто не произнес ни слова. Все взоры были устремлены на лицо Стивена. Если бы он взял

обратно свое решение, у каждого из них камень свалился бы с души. Он посмотрел вокруг себя и понял это. И тени злобы не было в его сердце против них; он хорошо знал их, не по случайным заблуждениям и слабостям, а так, как только свой брат рабочий мог их знать.

— Я думал, сэр, много думал. Но я не могу решить иначе. Я должен идти своим путем. Я должен проститься со всеми здесь.

Он, как бы в знак прощанья, поднял обе руки и молча постоял так немного, потом медленно опустил их.

— От многих из вас я слышал доброе слово; много среди вас знакомых лиц, которые я увидел впервые, когда был молод и на сердце было легко. Сроду я ни с кем из своих не ссорился; и, бог свидетель, не я нынче ищу ссоры с вами. Меня назовут предателем... вы назовете, — сказал он, обращаясь к Слекбриджу, — но назвать легче, чем доказать. Пусть так.

Он уже сделал несколько шагов, намереваясь сойти с подмостков, но вспомнил, что забыл сказать еще об одном, и остановился.

— Быть может, — заговорил он, медленно поворачивая изборожденное морщинами лицо, словно обращаясь лично к каждому из собравшихся и в первых рядах и в последних, — быть может, когда вы обсудите мое дело, вы пригрозите забастовкой, ежели меня хозяева не уволят. Лучше мне умереть, чем дожить до такого дня; а ежели вы этого не потребуете, я буду по-прежнему работать среди вас, хоть вы и отвергнете меня, — иначе мне нельзя; не потому, что я хочу идти вам наперекор, а потому, что жить надо. Меня работа кормит. А куда я пойду, — ведь я работал в Кокстауне еще в те годы, когда меня от земли не видать было. Я не жалею о том, что отныне все отвернутся от меня и никто даже глядеть на меня не захочет. Но я надеюсь, что мне позволено будет работать. Ежели, друзья, за мной осталось хоть какое-то право, то я думаю, это право у меня есть.

Никто не проронил ни слова. Ничто не нарушало безмолвия, только в проходе между скамьями слышался тихий шорох — люди молча сторонились, давая дорогу тому, кого они обязались не считать больше своим товарищем. Ни на кого не глядя, с тем скромным достоинством, которое ничего не ищет и ничего не требует, Старый Стивен, унося груз своих невзгод, покинул собрание.

Тогда Слекбридж, который все время, пока Стивен выходил, стоял молча, простерши витийственную руку, озабоченно взирая на толпу, словно он своей могучей нравственной силой удерживал готовую разразиться бурю, решил поднять дух своих слушателей. Разве римлянин Брут, о мои соотечественники британцы, не осудил на смерть своего сына; и разве спартанские матери, о мои друзья, чья победа не за горами, не погнали

своих детей, бежавших с поля брани, навстречу острым мечам неприятеля? И не велит ли рабочим Кокстауна священный долг перед их предками, перед восхищенным миром и перед грядущими поколениями, исторгать предателей из шатров своих, раскинутых во имя святого, богом благословенного дела? Да, отвечают ветры поднебесные и разносят это «да» во все концы света — на восток, запад, юг и север. И потому — троекратное «ура» Объединенному Трибуналу!

Слекбридж, словно регент, стоящий перед хором, задал тон. Лица слушателей прояснились, исчезла неуверенность (и смутное сознание вины), и все подхватили его крик. Личные чувства должны умолкнуть ради общего дела. Стены еще дрожали от громового «ура», когда собрание разошлось.

Итак, Стивена с легкостью обрекли на самое полное одиночество — на одиночество среди множества близких людей. Пришелец в чужой стране, заглядывающий в десять тысяч лиц, тщетно надеясь встретить приветливый взгляд, не одинок, — он окружен друзьями по сравнению с тем, кто ежедневно проходит мимо десятка лиц, которые некогда дружески улыбались ему, а теперь отворачиваются при его приближении. Такая участь была уготована Стивену в каждый миг его бодрствования — за станком, на пути к фабрике и на пути домой, у своего порога, у своего окна, везде. По молчаливому уговору рабочие даже не ходили по той стороне улицы, по которой он обычно шел на работу, а предоставляли ходить по ней ему одному.

Стивен уже долгие годы жил тихой, уединенной жизнью, с людьми знался мало, предпочитая общение с собственными думами. Он и не подозревал о том, как сильно нуждался в дружелюбном кивке, взгляде, слове; ни о том, как много значили для него эти, казалось бы, ничтожные пустяки, по капле вливавшие утешение в его сердце. И он никак не думал, что так трудно будет всегда помнить о том, что, невзирая на единодушный отказ от него товарищей, ему нечего стыдиться и не за что укорять себя.

Первые четыре дня тяжкого испытания, выпавшего на его долю, показались ему столь нестерпимо долгими, что будущее стало пугать его. Он не только не видел Рейчел за все это время, но тщательно избегал даже случайной встречи с ней; он, правда, знал, что решение, запрещающее общаться с ним, покуда еще не распространяется на фабричных рабочих, но уже заметил, как переменились к нему некоторые из тех, с кем он был знаком, и боялся подходить к остальным, а при одной мысли, что все они, быть может, отвернутся от Рейчел, если их увидят вместе, ужас охватывал его. Поэтому все четыре дня он провел в полном одиночестве, ни с кем не

перемолвившись словом, но на четвертый вечер, когда он шел с работы, его остановил на улице молодой человек весьма белесой окраски.

— Ваша фамилия Блекпул, да? — спросил молодой человек.

Стивен покраснел, заметив, что невольно снял шляпу — не то от неожиданности, не то от облегчения, что кто-то заговорил с ним. Он сделал вид, будто вправляет подкладку, и отвечал: «Да».

— Вы тот самый рабочий, с которым никто не должен знаться? — спросил Битцер, ибо белесый молодой человек был именно он.

Стивен опять отвечал «да».

— Я так и думал, потому что видел, как они все сторонятся вас. Мистер Баундерби желает говорить с вами. Вы ведь знаете, где его дом?

Стивен опять сказал «да».

— Тогда ступайте прямо к нему, — сказал Битцер. — Вас там ждут, и вы просто скажете слуге, кто вы такой. Я живу при банке, и если вы пойдете к мистеру Баундерби одни (я должен был привести вас), вы меня очень обяжете.

Стивен, хотя шел в противоположную сторону, повернул обратно и, повинуясь приказу, отправился в кирпичный замок великана Баундерби.

Глава V

Рабочие и хозяева

— Ну-с, Стивен, — сказал Баундерби, как всегда важный и самодовольный, — что это я слышу? Что они привязались к вам, чума их возьми? Входите и расскажите нам, в чем дело.

Приглашение это Стивен получил, едва переступив порог гостиной. На одном из столиков был сервирован чай, и в комнате, кроме хозяина, находилась его молодая жена, ее брат и щеголеватый джентльмен из Лондона; Стивен поклонился и с шляпой в руках стал у двери, притворив ее за собой.

— Это тот самый рабочий, Хартхаус, я уже говорил вам о нем, — сказал мистер Баундерби. Джентльмен, к которому он обращался, сидел на диване, занятый беседой с миссис Баундерби; услышав эти слова, он встал, томно произнес: «Вот как!» — и не спеша подошел к стоявшему перед камином Баундерби.

— Ну-с, — повторил Баундерби, — говорите!

После пережитых четырех тягостных дней слова Баундерби больно резнули слух Стивена. Они не только бередили его душевную рану, — они точно подразумевали, что он на самом деле трус и отступник, думающий только о своей выгоде.

— Что вам от меня угодно, сэр? — спросил Стивен.

— Так я же вам сказал, — отвечал Баундерби. — Будьте мужчиной, объясните нам все про себя и про этот их союз.

— Прошу прощения, сэр, — вымолвил Стивен Блекпул, — мне нечего сказать об этом.

Мистер Баундерби, в повадках которого всегда было много общего с напористым ветром, натолкнувшись на препятствие, немедленно задул из всей мочи.

— Вот полюбуйтеся, Хартхаус, — начал он, — вот вам образчик этих людей. Этот человек уже был однажды здесь, и я сказал ему, чтобы он остерегался зловредных чужаков, которые вечно толкутся тут, — изловить бы их всех да повесить! — и я предупреждал его, что он на опасном пути. Так вот, хотите верьте, хотите нет, — даже теперь, когда они опозорили его, он так рабски подчиняется им, что боится рот открыть.

— Я говорил, что мне нечего сказать, сэр. Я не говорил, что боюсь рот открыть.

— Говорил! Я знаю, что вы говорили. Мало того, я знаю, что у вас на уме. Это, доложу я вам, не всегда одно и то же! Наоборот — это очень разные вещи. Говорите уж лучше сразу, что никакого Слекбриджа в городе нет; что он не подбивает народ бунтовать; что вовсе он не обученный этому делу вожак, то есть отъявленный мерзавец. Вы лучше сразу скажите все это, — меня ведь не проведешь. Вы именно это хотите сказать. Чего же вы ждете?

— Я не меньше вас, сэр, сокрушаюсь, когда у народа плохие вожди, — покачав головой, сказал Стивен. — Ничего не поделаешь, берут таких, какие есть. Это большая беда, когда нигде взять получше.

Ветер крепчал.

— Ну-с, Хартхаус, — сказал мистер Баундерби, — как вам это понравится? Недурно, а? Вы скажете — помилуй бог, с какими субъектами моим друзьям приходится иметь дело. Но это еще что, сэр! Вот послушайте, я задам этому человеку вопрос. Прошу вас, мистер Блекнул, — сильный порыв ветра, — разрешите узнать, как это случилось, что вы отказались примкнуть к союзу?

— Как случилось?

— Вот именно! — сказал мистер Баундерби, засунув большие пальцы за жилет, трясая головой и доверительно подмигивая противоположной стене, — как это случилось?

— Мне не хотелось бы говорить об этом, сэр. Но раз уж вы задали вопрос, чтобы меня не сочли невежей, я вам отвечу. Я слово дал.

— Только не мне, полагаю, — ввернул Баундерби. (Погода бурная с обманчивыми штилями, — как, например, сейчас.)

— Нет, нет, сэр. Не вам.

— Уж, во всяком случае, не из уважения ко мне это было сделано, — сказал Баундерби, все еще обращаясь к стене. — Ежели бы это касалось только Джосайи Баундерби из Кокстауна, вы бы, не задумываясь, примкнули к ним?

— Разумеется, сэр. Так оно и есть.

— Хотя он отлично знает, — сказал мистер Баундерби, свирепея, — что это шайка мерзавцев и бунтовщиков, для которых каторга и то слишком большая милость! Ну-с, мистер Хартхаус, вы повидали свет. Попадалось вам что-нибудь похожее на этого человека за пределами нашего славного отечества? — И мистер Баундерби гневным перстом указал на Стивена.

— Нет, сударыня, — сказал Стивен Блекнул, инстинктивно обращаясь к Луизе, после того как взглянул ей в лицо, и решительно возражая против слов, употребленных мистером Баундерби, — не бунтовщики и не

мерзавцы. Это неверно, сударыня, неверно. Они круто поступили со мной, я это знаю и чувствую. Но из них не наберется и десятка, — да не десятка, а полдесятка, сударыня, — таких, которые бы не думали, что исполнили свой долг перед всеми и перед собой. Я знал этих людей и жил среди них всю свою жизнь, ел и пил с ними, работал вместе с ними, любил их, и боже упаси, чтобы я не вступился за них, когда их оговаривают, — как бы они ни обошлись со мной!

Эти проникновенные слова были сказаны с прямоотой, присущей людям его среды — и, быть может, с горделивым сознанием, что он остался верен товарищам, хоть они и обвинили его в предательстве; но он хорошо помнил, где находится, и даже не повысил голоса.

— Нет, сударыня, нет. Они привержены друг к другу, преданы друг другу, страдают друг другу, не щадя жизни. Какое бы ни приключилось горе — а ведь к бедному человеку горе часто стучится в дверь, — нужда ли, хворь или еще что — они ласковы с тобой, жалостливы и рады помочь по-христиански. Это сущая правда, сударыня. И всегда так будет, хоть разорвите их на части.

— Короче говоря, — сказал мистер Баундерби, — оттого, что они образцы добродетели, они вышвырнули вас вон. Раз уж вы начали говорить об этом, доскажите до конца. Мы вас слушаем.

— Почему так получается, — продолжал Стивен, по-прежнему обращаясь к Луизе и, видимо, читая сочувствие на ее лице, — что как раз все самое лучшее в нас всегда доводит нашего брата до горя и беды — ума не приложу. Но это так. Я это твердо знаю, как знаю, что у меня небо над головой, хоть его и не видно за дымом. И мы терпеливы и ничего дурного делать не хотим. Не могу я поверить, чтобы вся вина была наша.

— Ну-с, любезнейший, — сказал мистер Баундерби, которого Стивен, сам того не подозревая, донельзя разозлил обращением не к нему, а к кому-то еще, — ежели вы на минутку удостоите меня своим вниманием, я желал бы перемолвиться с вами словом. Вы только что заявили, что ничего не имеете сообщить нам об этой затее. Так вот, прежде всего скажите, — вы вполне уверены, что ничего не можете сообщить?

— Вполне уверен, сэр.

— Здесь присутствует джентльмен из Лондона, — мистер Баундерби через плечо показал большим пальцем на мистера Джеймса Хартхауса. — Этот джентльмен — будущий член парламента. Я желаю, чтобы он послушал коротенький разговор между мной и вами, хотя я мог бы сам изложить ему суть дела — ибо я заранее знаю, к чему это сведется. Никто не знает этого лучше меня, имейте в виду! Но пусть он услышит своими

ушами, а не принимает мои слова на веру.

Стивен поклонился джентльмену из Лондона, и на лице его отразилось еще большее недоумение, чем обычно.

Глаза его невольно опять обратились к Луизе, ища в ней прибежище, но она ответила ему столь выразительным, хотя и быстрым взглядом, что он немедленно перевел их на лицо мистера Баундерби.

— Ну-с, на что же вы жалуетесь? — спросил мистер Баундерби.

— Я не пришел сюда жаловаться, сэр, — напомнил ему Стивен. — Я пришел потому, что за мной послали.

— На что же вы жалуетесь, — повторил свой вопрос мистер Баундерби, скрестив руки на груди, — вообще говоря, вы все?

Стивен с минуту колебался, потом, видимо, принял решение.

— Сэр, объяснять я не мастер, да и сам я не очень понимаю, что тут неладно, хоть и чувствую это не хуже других. Как ни верти — выходит морока, сэр. Оглянитесь вокруг в нашем городе — богатом городе! — и посмотрите, сколько людей родится здесь для того лишь, чтобы всю жизнь, от колыбели до могилы, только и делать, что ткать, прясть и кое-как сводить концы с концами. Посмотрите, как мы живем, где живем, и как много нас, и какие мы незащищенные, все до одного; посмотрите — фабрики всегда работают, всегда на ходу, а мы? Мы все на той же точке. Что впереди? Одна смерть. Посмотрите, кем вы нас считаете, что вы про нас пишете, что про нас говорите, и посылаете депутации к министрам, и всегда-то вы правы, а мы всегда виноваты, и сроду, мол, в нас никакого понятия не было. И год от года, от поколения к поколению, что дальше, то больше и больше, хуже и хуже. Кто же, сэр, глядя на это, может, не кривя душой, сказать, что здесь нет мороки?

— Так, так, — сказал мистер Баундерби. — А теперь вы, может быть, объясните этому джентльмену, какой вы предлагаете выход из этой мороки (раз уж вам угодно так выражаться).

— Не знаю, сэр. Откуда мне знать это? Не у меня надо спрашивать, где найти выход, сэр. Спрашивать надо у тех, кто поставлен надо мной и над всеми нами. Ежели не это их дело, то что же?

— А вот я вам сейчас скажу, что, — отвечал мистер Баундерби. — Мы это покажем на примере полдюжины Слекбриджей. Мы отдадим негодяев под суд, как уголовных преступников, и добьемся, что их сошлют на каторгу.

Стивен с сомнением покачал головой.

— Не воображайте, что мы этого не сделаем, — сказал мистер Баундерби, налетая на него ураганом. — Именно так мы и поступим,

слышите?

— Сэр, — возразил Стивен с невозмутимостью человека, глубоко убежденного в своей правоте, — схватите сотню Слекбриджей — всех, сколько их есть, и вдесятеро больше, — зашейте каждого по отдельности в мешок и спустите их в бездну вод, какая была до сотворения суши, — морока как есть, так и останется. Зловредные чужаки! — сказал Стивен с горькой улыбкой. — Сколько мы себя помним, столько мы слышим про зловредных чужаков! Не они причина неурядиц, сэр. Не они их затевают. У меня к ним душа не лежит, мне не за что любить их, но напрасно вы думаете, что можно отъять этих людей от их дела — и не надейтесь! Лучше отъять дело от них. Все, что есть сейчас в этой комнате, уже было здесь, когда я вошел, и останется здесь, после того как я уйду. Погрузите вон те часы на корабль и отправьте их на остров Норфолк^[48], а время-то все равно будет идти. Вот так и со Слекбриджем.

Мельком взглянув еще раз на свое прибежище, он заметил, что Луиза украдкой показывает ему глазами на дверь. Он сделал шаг назад и уже взялся за ручку. Но все, что он сказал, было сказано не по доброй воле и не по его почину; и он почувствовал, что если до конца сохранит верность тем, кто отринул его, — это будет великодушная плата за нанесенные ему обиды. Он помедлил, намереваясь договорить то, что было у него на сердце.

— Сэр, я человек простой, малограмотный и не могу объяснить джентльмену из Лондона, чем горю помочь, хотя в нашем городе есть рабочие поученнее меня, которые сумели бы — но я могу объяснить ему, чем горю не поможешь. Принуждением не поможешь. Насилием не поможешь. И стоять на том, что всегда и во всем одна сторона права, а другая всегда и во всем виновата — чему даже и поверить трудно, — это уж, конечно, не поможет. И оставить все как есть — тоже не поможет. Ежели тысячи и тысячи людей будут жить все той же жизнью, и будет все та же морока, они станут как один, и вы станете как один, а между вами ляжет непроходимая черная пропасть, и длиться это будет, долго ли, коротко ли, — сколько такое бедствие длиться может. И подходить к людям без ласки, без приветов, без доброго слова — к людям, которые так поддерживают друг друга в беде и делятся последним куском, как — смею думать — джентльмен из Лондона не видел ни в одном народе, сколько он ни исколесил стран — этим наверняка горю не поможешь, пока солнце не обратится в лед. А перво-наперво — не видеть в них ничего, кроме рабочей силы, и распоряжаться ими, точно это всего лишь единицы и нули в школьной задаче, или машины, которые не знают ни любви, ни дружбы, ничего не помнят и

ничего не желают, ни о чем не тоскуют и ни на что не надеются, и только погонять их, когда все спокойно, и считать, что у них вовсе нет никакой души, а как только станет беспокойно, корить их за то, что они бесчувственные истуканы, — уж это никогда, никогда не поможет, пока божий свет стоит.

Стивен медлил на пороге, держась за ручку отворенной двери, и ждал, что еще потребуется от него.

— Погодите минутку, — сказал мистер Баундерби, весь побагровев от злости. — Я уже вам говорил, когда вы приходили сюда с жалобой, что вам лучше бросить это и образумиться. И еще — помните? Я вам сказал, чтобы вы и думать забыли о золотой ложечке.

— Будьте покойны, сэр, я никогда о ней не думал.

— Теперь мне ясно, — продолжал мистер Баундерби, — что вы из тех, кто вечно всем недоволен. И всюду вы сеете недовольство и распространяете смуту. Вот ваша главная забота, любезнейший.

Стивен отрицательно покачал головой, молча давая понять, что заботы его совсем иного свойства.

— Вы такой сварливый, ершистый брюзга, — сказал мистер Баундерби, — что, сами видите, даже ваш союз, люди, которые вас лучше всех знают, не хотят иметь с вами дела. Вот уж не ожидал, что они в чем-нибудь могут быть правы, но на сей раз, скажу я вам, я с ними заодно: я тоже не хочу иметь с вами дела.

Стивен вскинул на него глаза.

— Кончайте то, что у вас на станке, — сказал мистер Баундерби, многозначительно кивая головой, — и можете отправляться.

— Сэр, — сказал Стивен с ударением, — вы хорошо знаете, что ежели вы мне не дадите работы, никто не даст.

На что он услышал в ответ: «Знаю или не знаю, это мое дело, остальное меня не касается. Больше мне сказать нечего».

Стивен опять взглянул на Луизу, но она уже не смотрела ему в лицо; он вздохнул, проговорил вполголоса: «Господи спаси и помилуй нас грешных!» — и вышел.

Глава VI

Расставанье

Уже темнело, когда Стивен покинул дом мистера Баундерби. Вечерние тени сгустились так быстро, что, затворив за собой дверь, он не стал оглядываться по сторонам, а сразу зашагал по улице. Далека была от его мыслей таинственная старушка, с которой он повстречался после первого посещения этого дома, но, услышав позади себя знакомые шаги и обернувшись, он увидел ее — и рядом с ней Рейчел.

Он первой увидел Рейчел, да и шаги слышал только ее.

— Рейчел, дорогая! И вы, миссис!

— Удивляетесь, правда? — отозвалась старушка. — Оно и понятно. Вот я и опять здесь.

— Но как вы сошлись с Рейчел? — спросил Стивен, идя между ними и переводя взгляд с одной на другую.

— Да почти что как и с вами, — с готовностью отвечала старушка. — В нынешнем году я приехала попозже, потому одышка меня замучила и я отложила поездку до теплой погоды. И по этой же причине не в один день оборачиваюсь, а в два, и заночую нынче на заезжем дворе у железной дороги (там хорошо — чистота!), а завтра утром шестичасовым уеду домой. Но вы спрашиваете, при чем тут эта славная девушка? Сейчас скажу. Я узнала, что мистер Баундерби женился. В газете прочла — и как там хорошо все было расписано, ах, как хорошо! — воскликнула старушка с неподдельным восторгом, — вот и хочу поглядеть на его жену. Еще ни разу не видала ее. И поверите ли, — с самого полудня она не выходила из дому. А уж мне так не хотелось уезжать, не увидев ее, — я и повременила здесь немного, и раза два прошла мимо этой славной девушки; и такое у нее милое лицо, что я обратилась к ней, а она ко мне, — слово за слово, мы и разговорились. Ну, вот, — заключила старушка, — а что дальше было, вы сами можете смекнуть скорее, чем я сумею рассказать.

Снова Стивену пришлось подавить в себе невольную неприязнь к старушке, хотя, казалось, она сама искренность и простодушие. Добросердечный от природы и зная, что такова же Рейчел, он заговорил о том, что столь явно занимало эту старую женщину.

— Ну что же, миссис, — сказал он, — я видел ее; она молодая и красивая. Глаза темные, задумчивые, и, понимаешь, Рейчел, такая она тихая, даже удивительно.

— Да, да, молодая и красивая! — в упоении вскричала старушка. — Хороша словно розан! А какая счастливая — за таким-то человеком!

— Надо полагать, счастливая, — сказал Стивен, однако с сомнением взглянув на Рейчел.

— Надо полагать? Иначе быть не может. Она жена вашего хозяина, — возразила старушка.

Стивен кивнул.

— Впрочем, — сказал он, снова взглянув на Рейчел, — он уже мне не хозяин. Между ним и мною все кончено.

— Ты ушел с работы, Стивен? — с тревогой спросила Рейчел.

— Я ли ушел с работы, — отвечал он, — или работа ушла от меня, выходит одно на одно. С его работой мы теперь врозь. Пусть так. Я даже подумал, вот когда вы меня догнали, пожалуй, оно и к лучшему. Останься я здесь, я был бы как бельмо на глазу. Может, многим легче станет, когда я уйду; и мне самому, может, легче станет; так ли, нет ли, — а уж теперь ничего не поделаешь. Должен я распрощаться с Кокстауном и сызнова счастье свое искать.

— Куда ты пойдешь, Стивен?

— Покамест еще не знаю, — отвечал он, сняв шляпу и приглаживая ладонью редкие волосы. — Я не нынче ведь уйду, Рейчел, и не завтра. Нелегкое это дело — решить, куда податься, но я соберусь с духом.

Сознание, что он и в мыслях своих печется не о себе, а о других, и тут поддерживало в нем бодрость. Едва выйдя от мистера Баундерби, он подумал, что его вынужденный уход хоть Рейчел сослужит службу — оградит ее от нападков за то, что она не порывает с ним. Конечно, разлука с ней — тяжкое испытание и, где бы он ни очутился, вынесенный ему приговор будет тяготеть над ним, но последние четыре дня были столь мучительны, что, быть может, уж лучше уйти, куда глаза глядят, навстречу неведомым горестям и лишениям.

И потому он, не кривя душой, сказал:

— Я не поверил бы, Рейчел, что так легко примирюсь с этим.

Не ей было увеличивать его бремя. Она ответила ему ласковой улыбкой, и они втроем продолжали путь.

Старость, особенно когда она силится не быть обузой и не нагонять тоску, пользуется большим уважением среди бедного люда. Старушка была такая приветливая и благодушная, так беспечно говорила о своих немощах, хотя здоровье ее явно ухудшилось со времени первой встречи со Стивеном, что оба они приняли в ней участие. Она ни за что не хотела, чтобы они из-за нее замедляли шаг; но она радовалась тому, что они говорят с ней, и сама

готова была говорить с ними сколько угодно, так что, когда они дошли до своей части города, старушка шагала бодро и весело, точно молодая.

— Пойдем ко мне, миссис, в мое убогое жилье, — сказал Стивен, — выпейте чашку чаю. И Рейчел пойдет с нами, а потом я провожу вас до вашего заезжего двора. Кто знает, Рейчел, когда бог приведет свидеться с тобой.

Обе согласились, и они все вместе подошли к его дому. Свернув в узкий проулок, Стивен, как всегда, с трепетом поглядел на свое окно — он страшился своего разоренного домашнего очага; но окно было отворено, как он оставил его утром, и ничья голова не мелькала в нем. Злой дух его жизни снова исчез много месяцев назад, и с тех пор он не видел несчастной пропойцы. О последнем ее возвращении можно было догадаться только по тому, что мебели в его комнате стало меньше, а седины в волосах — больше.

Он зажег свечу, достал чайную посуду, принес снизу кипятку и сходил в соседнюю лавочку за чаем, сахаром, хлебом и маслом. Хлеб был мягкий с хрустящей корочкой, масло — свежее, сахар — колотый, чем подтверждалось неизменное свидетельство кокстаунских магнатов, что этот народ живет по-княжески, да, сэръ! Рейчел заварила чай, разлила его (для столь многолюдного общества одну чашку пришлось занять), и гостя с видимым удовольствием подкрепила свои силы. Что касается хозяина, который впервые за много дней пил чай не в одиночестве, то и он не без удовольствия приступил к скромной трапезе, хотя мир и ближайшее будущее расстилались перед ним неоглядной пустыней, — чем опять-таки подтвердил точку зрения магнатов, явив пример полной неспособности этого народа что-нибудь рассчитать и предвидеть, да, сэръ!

— Я и не догадался спросить, как вас звать, миссис, — сказал Стивен.

Старушка отвечала, что звать ее «миссис Пеглер».

— Вдовеете, надо думать? — спросил Стивен.

— Сколько лет уже! — По расчетам миссис Пеглер, ее муж (редкий был человек!) умер еще до того, как Стивен родился.

— Большое горе потерять хорошего мужа, — сказал Стивен. — А дети есть?

Чашка миссис Пеглер застучала о блюдце, которое она держала в руке, выдав ее душевное волнение.

— Нет, — отвечала она. — Теперь уже нет.

— Померли, Стивен, — шепнула Рейчел.

— Простите, что заговорил про это, — сказал Стивен. — Не подумал, что могу задеть больное место. Каюсь, моя вина.

Пока он выражал свое сожаление, чашка, из которой пила гостья, стучала все громче.

— Был у меня сын, — сказала она, словно в замешательстве, но без обычных признаков неутешной скорби, — и он преуспел в жизни, чудесно преуспел. Только, пожалуйста, не надо о нем говорить. Он... — Поставив чашку на стол, она развела руками, как будто хотела сказать «умер!». Потом добавила: — Я потеряла его.

Стивен все еще терзался мыслью, что причинил старушке боль, когда квартирная хозяйка, спотыкаясь на узкой лестнице, добралась до его двери и, позвав Стивена, стала шептать ему на ухо. Миссис Пеглер, которая отнюдь не страдала глухотой, уловила одно произнесенное имя.

— Баундерби! — крикнула она сдавленным голосом и выскочила из-за стола. — Спрячьте меня! Он не должен меня видеть! Не пускайте его, пока я не уйду! Ради всего святого! — Она вся дрожала от волнения, спряталась за спину Рейчел, когда та попыталась успокоить ее, и вообще была сама не своя.

— Да послушайте, миссис, послушайте, — сказал изумленный ее испугом Стивен. — Это не мистер Баундерби, это его жена. Вы же не боитесь ее. Час назад вы не знали, как расхвалить ее.

— Вы уверены, что это миссис, а не мистер Баундерби? — все еще дрожа, как лист, спросила она.

— Уверен, уверен!

— Только, пожалуйста, не говорите со мной и не глядите на меня, — просила старушка, — я тихонько посижу в уголке.

Стивен кивнул, вопросительно глядя на Рейчел, но она ответила ему столь же недоуменным взглядом; захватив свечу, он сошел вниз и через несколько минут воротился в комнату с Луизой. Ее сопровождал щенок.

Рейчел, выйдя из-за стола, остановилась в стороне, держа шляпку и платок в руках; Стивен поставил свечу, оперся ладонью на стол и удивленно смотрел на посетителей, ожидая разъяснений.

Впервые в жизни Луиза переступила порог одного из жилищ кокстаунских рабочих рук; впервые в жизни она очутилась лицом к лицу с одним из них, отделенным от общей массы. Она знала, что их имеются сотни и тысячи. Она знала, сколько может производить такое-то число их в такое-то время. Она знала, какие они с виду, когда толпами, точно муравьи или букашки, покидают свои гнезда или возвращаются туда. Но из прочитанных ею книг она знала несравненно больше о повадках трудолюбивых насекомых, чем о жизни этих тружеников.

Нечто, с чего требуется столько-то работы за такую-то плату — и все;

нечто, непогрешимо управляемое законами спроса и предложения; нечто, пытающееся, себе во вред, бороться против этих законов; нечто, не очень сытое, когда хлеб дорожает, и слишком сытое, когда он дешевеет; нечто, дающее столько-то процентов прироста, и такой-то процент преступности, и такой-то процент пауперизации; нечто, приобретаемое оптом, на чем наживают огромные состояния; нечто, что время от времени подымается словно бурное море и, причинив кое-какой ущерб (преимущественно себе же), снова стихает — вот что означали для нее кокстаунские рабочие руки. Но о том, чтобы разбить их на отдельные единицы, она думала так же мало, как о том, чтобы раздробить море на отдельные капли.

С минуту она стояла молча, оглядывая комнату. Взгляд ее скользнул по кровати, по немногим стульям, немногим книгам, дешевым литографиям, по обеим женщинам и остановился на Стивене.

— Я пришла поговорить с вами о том, что только что произошло. Мне хотелось бы помочь вам, если вы позволите. Это ваша жена?

Рейчел подняла голову, — глаза ее ясно ответили «нет», — и снова потупилась.

— Я вспоминаю, — сказала Луиза, покраснев от досады на свою оплошность, — что слышала, как говорили о вашей несчастливой семейной жизни, хоть в ту пору не вникала в подробности. Своим вопросом я никого здесь не хотела задеть. Если мне случится спросить еще о чем-нибудь, что может оказать такое же действие, прошу вас верить мне, что причина тому — мое неумение говорить с вами, как должно.

Так же как Стивен всего два часа тому назад инстинктивно обращался к ней, так и она теперь невольно обращалась к Рейчел. Говорила она отрывисто, сухо, но вместе с тем явно робела и смущалась.

— Он сообщил вам о разговоре, который произошел между ним и моим мужем? Я предполагаю, что вы первая, кому он доверился.

— Я знаю о том, чем разговор окончился, сударыня, — сказала Рейчел.

— Верно ли, что, если его уволит один хозяин, его не примет на работу никто другой? Помнится, он так сказал.

— Мало надежды, почитай что никакой — найти работу человеку, ежели хозяева ославят его.

— Что вы подразумеваете под словом «ославят»?

— Назовут смутьяном.

— Итак, он обречен в жертву предрассудкам и своего класса и класса хозяев. Неужели в нашем городе такая глубокая пропасть отделяет один от другого, что между ними нет места для честного труженика?

Рейчел молча покачала головой.

— Он навлек на себя подозрение своих товарищей ткачей потому, — продолжала Луиза, — что дал слово не быть с ними заодно. Думается мне, слово он дал вам. Можно узнать, зачем он это сделал?

Слезы потекли из глаз Рейчел.

— Я не толкала его на это, беднягу. Я только просила, ради него самого, чтобы он поостерегся, и никак не думала, что через меня-то он и попадет в беду. Но я знаю — он лучше умрет, а слова не нарушит. Я хорошо это знаю.

Стивен слушал молча, с обычным для него спокойным вниманием, держась рукой за подбородок. Но когда он заговорил, голос его звучал не так ровно, как обычно.

— Никто, кроме меня самого, не может знать меру моей любви и уважения к Рейчел и за что я ее люблю и уважаю. Когда я давал слово, я сказал ей, что она добрый ангел моей жизни. Это истинная правда. Слово мое твердо. На всю жизнь.

Луиза поворотилась к нему и с несвойственным ей почтением наклонила голову. Потом она посмотрела на Рейчел, и взор ее потеплел.

— Что же с вами будет? — спросила она Стивена. Голос ее тоже звучал теплее.

— Что ж, сударыня, — отвечал он с грустной улыбкой, — как кончу здесь работу, придется мне уйти отсюда в другое место. Повезет или нет, — а попытаться надо. Что еще человек может сделать? Разве только лечь да помереть.

— А как вы отправитесь?

— Пешком, сударыня, пешком.

Луиза покраснела, в руках у нее появился кошелек. Послышался хруст банкноты, она развернула ее и положила на стол.

— Рейчел, скажите ему — вы сумеете сказать без обиды для него, — что это ему на дорогу. Прошу вас, уговорите его принять.

— Не могу я этого, сударыня, — отвечала она, отворачиваясь. — Да благословит вас бог за вашу доброту к бедняге. Но только он один знает свое сердце и что оно велит ему.

Луиза со смешанным чувством удивления, испуга и острой жалости смотрела на Стивена, который так невозмутимо и твердо, с полным хладнокровием держался во время недавнего разговора со своим хозяином, а теперь, потеряв самообладание, прикрыл глаза ладонью. Она протянула руку, словно хотела коснуться его, но тотчас опустила ее.

— Даже у Рейчел, — сказал Стивен, отняв руку от лица, — не нашлось бы слов добрее тех, какими вы предложили мне помощь. Чтобы не

показаться неблагодарным и неразумным, я возьму два фунта. Я возьму их займы и верну их вам. И почти это за счастье, потому что, возвращая вам долг, я смогу еще раз выразить вам свою благодарность по гроб жизни.

Луизе волей-неволей пришлось спрятать банкноту и заменить ее много меньшей суммой, названной Стивеном. Он не был ни красив, ни ловок, ни картинен; но он принял от нее деньги и молча поклонился ей с таким благородным изяществом, какого лорд Честерфилд^[49] и за сто лет не сумел бы преподать своему сыну.

Все это время Том безучастно сидел на кровати, качая ногой и посасывая набалдашник своей трости. Видя, что сестра собирается уходить, он вскочил с места и торопливо заговорил:

— Одну минутку, Лу! Прежде чем мы уйдем, я хотел бы побеседовать с ним. Мне кое-что пришло в голову. Давайте выйдем на лестницу, Блекпул. Нет, нет, не надо свечи! — с явной досадой крикнул он Стивену, который уже подошел было к шкафу, чтобы достать вторую свечу. — Света для этого не нужно.

Они вместе вышли, и Том, плотно притворив дверь, остановился на площадке, держась за ручку.

— Слушайте! — зашептал он. — Кажется, я могу оказать вам услугу. Не спрашивайте меня, какую, потому что, может быть, из этого ничего не выйдет. Но я все-таки попытаюсь, в этом нет беды.

Дыхание его точно огнем обожгло Стивену ухо — такое оно было горячее.

— Тот, кого посылали сегодня за вами, — наш рассыльный из банка, — сказал Том. — Я говорю «наш», потому что я тоже работаю в банке.

Стивен подумал: «Ну, и спешит же он!» — так путано он говорил.

— Вот! — сказал Том. — А теперь слушайте: когда вы уйдете?

— Нынче понедельник, — отвечал Стивен раздумчиво. — Должно, в пятницу или субботу, сэр.

— В пятницу или субботу, — повторил Том. — Так слушайте! Я не уверен, что мне удастся оказать вам эту услугу, — кстати там, в вашей комнате, моя сестра, — но, может быть, и удастся, а если ничего не выйдет, тоже не беда. Так вот: вы запомнили нашего рассыльного?

— Запомнил, — отвечал Стивен.

— Отлично, — сказал Том. — Нужно, чтобы вы, пока вы еще здесь, каждый вечер после работы с часок подежурили возле банка. Если рассыльный вас заметит, не подавайте виду, потому что я только тогда велю ему заговорить с вами, когда буду знать, что могу оказать вам услугу. В

таком случае он передаст вам записку от меня или сообщит устно. Ну как? Вы хорошо меня поняли?

Он ощупью, впотьмах, просунул палец в петлю на куртке Стивена и неизвестно зачем крутил и крутил угол отворота.

— Понял, сэр, — отвечал Стивен.

— Ну вот, — сказал Том. — Смотрите ничего не забудьте и не напутайте. По дороге домой я расскажу сестре, в чем дело, и она наверняка одобрит мой план. Ну как — согласны? Все поняли? Отлично. Идем, Лу.

Вызывая ее, он отворил дверь, но в комнату не вошел и, не дожидаясь, чтобы ему посветили, сбежал по узкой лестнице. Он уже был внизу, когда Луиза стала спускаться, и выскочил на улицу прежде, чем она успела взять его под руку.

Миссис Пеглер не выходила из своего угла, пока брат и сестра не ушли и Стивен не принес обратно свечу. Она была в полном восторге от миссис Баундерби и с непоследовательностью старой женщины плакала навзрыд «оттого, что она такая милочка». В то же время миссис Пеглер страшно боялась, как бы предмет ее восхищения ненароком не возвратился или еще кто-нибудь не пришел, и на этот вечер вся ее веселость покинула ее. К тому же час был поздний для людей, которые рано встают и тяжело работают; итак, гости собрались уходить, Стивен и Рейчел проводили непонятную старушку до дверей заезжего двора и там распрощались с ней.

Они вместе дошли до переулочка, где жила Рейчел, и чем ближе они подходили к нему, тем чаще обрывался разговор между ними. На темном углу, где всегда кончались их редкие свидания, они остановились и безмолвно, словно оба боялись заговорить, посмотрели друг на друга.

— Я постараюсь еще раз увидеть тебя, Рейчел. Но ежели нет...

— Ты не будешь стараться, Стивен, я знаю. Незачем нам таиться друг от друга.

— Ты права, ты всегда права. Так лучше, честнее. Я думаю, Рейчел, — раз всего-то остается каких-нибудь два-три дня, лучше, чтобы тебя не видели со мной, дорогая. Еще зря в беду попадешь.

— Не потому, Стивен. На это я бы не поглядела. Но ты же знаешь наш давний уговор. Вот почему.

— Пусть будет по-твоему, — сказал он. — Как ни посмотреть, так лучше.

— Ты напишешь мне, Стивен, и расскажешь все про себя?

— Напишу. А сейчас — что я могу сказать тебе? Только одно: благослови тебя господь, спаси, помилуй и награди.

— И тебя, Стивен, да благословит господь во всех твоих странствиях и

ниспошлет тебе, наконец, мир и покой!

— Как я говорил тебе той ночью, дорогая, — сказал Стивен Блекнул, — впредь всякий раз, что бы я ни увидел, о чем бы ни подумал, от чего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во сто крат лучше меня. Вот и сейчас я мирюсь с тем, что меня ждет. Господь с тобой. Покойной ночи. Прощай!

Расставанье произошло торопливо, на самой обыденной улице, но память о нем была священна для этих обыденных людей. Экономисты утилитаристского толка, мертвецы во образе школьных учителей, чиновники из ведомства фактов, изящные и потасканные маловеры, крикливые проповедники убогих затрепанных догм — нищих вы всегда имеете с собой^[50]. Пока не поздно, взлелейте в них сокровища воображения и любви, дабы они могли скрасить свою жизнь, так сильно нуждающуюся в красоте; не то в день вашей полной победы, когда романтика безвозвратно будет изгнана из их душ и они останутся лицом к лицу с ничем не прикрытым бытием, живая действительность обернется волком и расправится с вами.

Стивен проработал день и еще день, и так же, как в предыдущие четыре дня, никто не сказал ему ободряющего слова, все по-прежнему сторонились его. На исходе второго дня дело близилось к концу; на исходе третьего — станок его опустел.

Два вечера подряд он дежурил по часу с лишним на улице перед банком, но ничего не произошло, ни хорошего, ни дурного. Чтобы честно выполнить свое обещание, он решил в третий и последний вечер прождать полных два часа.

У одного из окон второго этажа сидела бывшая домоправительница мистера Баундерби, которую он и раньше видел на этом месте, и подле нее стоял рассыльный, то разговаривая с ней, то поглядывая вниз поверх шторы с надписью «Банк», а время от времени он выходил на крыльцо подышать воздухом. Когда он в первый раз вышел из дверей, Стивен подумал, что, быть может, тот ищет его, и приблизился; но рассыльный только бегло взглянул на него моргающими глазами и ничего не сказал.

Два часа томительного ожидания после долгого рабочего дня тянутся медленно. Стивен и сидел на крылечке соседнего дома, и стоял, прислонившись к воротам, и расхаживал взад-вперед, и прислушивался к бою церковных часов, и останавливался поглядеть на играющих детей.

Для человека столь естественно всегда иметь какую-нибудь цель, что всякий праздношатающийся привлекает внимание и сам это чувствует. К концу первого часа Стивеном даже овладело тягостное чувство, будто он

вдруг сделался подозрительной личностью.

Явился фонарщик, и две линии огней зажглись вдоль длинной улицы, потом слились и затерялись вдали. Миссис Спарсит затворила окно второго этажа, опустила штору и поднялась к себе. Пламя свечи последовало за ней наверх, мелькнув сначала в полукруглом стекле входной двери, затем в обоих окнах на лестнице. Вскоре один уголок занавески на третьем этаже слегка отогнулся, словно освобождая место для ока миссис Спарсит; то же случилось с другим уголком, — видимо, с той стороны поместилось око рассыльного. Но никакого сигнала Стивен не получил. Радуюсь тому, что наконец-то прошли бесконечные два часа, он направился домой быстрым шагом, как будто хотел вознаградить себя за долгое бездействие.

Ему оставалось только попрощаться с хозяйкой, а затем лечь спать на полу; добро свое он уже увязал, и все сборы в дорогу были закончены. Он решил уйти, из города как можно раньше — прежде чем рабочие заполнят улицы.

Едва стало рассветать, как он обвел взглядом свою комнату, с тоской спрашивая себя, суждено ли ему еще когда-нибудь увидеть ее, и вышел из дому. На улицах не было ни души, словно жители покинули город, лишь, бы не встречаться с отверженным. В этот ранний час все казалось тусклым. Даже близкий восход солнца не золотил бледное пустынное небо, похожее на унылое море.

Мимо дома, в котором жила Рейчел, хотя ему было не по пути туда; мимо красных кирпичных стен; мимо огромных тихих фабрик, еще не начавших сотрясаться; мимо железной дороги, где сигнальные огни тускнели в крепнувшем дневном свете; мимо обезображенных привокзальных кварталов, наполовину снесенных, наполовину отстроенных вновь; мимо красных кирпичных особняков, где закопченные, обсыпанные пылью кусты остролиста походили на неопрятных нюхальщиков табака; мимо черных куч угольной пыли и еще многих всяческих уродств Стивен поднялся в гору и оглянулся.

Теперь разгоревшийся день заливал город ярким светом и звон колоколов сзывал людей на работу. В домах еще не разводили огонь, И высокие фабричные трубы безраздельно владели небом. Пройдет каких-нибудь полчаса, и выдыхаемые ими ядовитые клубы дыма затянут его, но покуда некоторые из многочисленных окон еще отливали золотом и жители Кокстауна могли наблюдать сквозь закопченное стекло непрерывное солнечное затмение.

Как странно уходить от фабричных труб навстречу птицам! Как странно чувствовать под ногами дорожную пыль вместо угольного шлака!

Как странно прожить полжизни и вдруг, словно мальчишка, начинать сызнава этим летним утром! С такими мыслями в голове и со своим узелком под мышкой Стивен задумчиво шагал по большой дороге. И деревья склонялись над ним, нашептывая ему, что позади он оставил верное и любящее сердце.

Глава VII

Порох

Деятельность мистера Джеймса Хартхауса на пользу Партии неопровержимых фактов принесла ему быстрый успех. Еще немного зубрежки, дабы умаслить политических мудрецов, еще немного аристократической пресыщенности для остального общества, да ловкая игра в прямодушие — самый распространенный и самый действенный из благопристойных смертных грехов, — и он очень скоро завоевал добрую славу среди своих соратников. Главное его преимущество заключалось в том, что усердие это было напускное, и потому ему ничего не стоило поладить с ними так легко и просто, словно он от рождения принадлежал к их толку, и выбросить за борт деятелей всех других толков, обвиняя их в лицемерии и жульничестве.

— Никто из нас им не верит, милейшая миссис Баундерби, да они и сами себе не верят. Между нами и поборниками добродетели, или благоволения, или филантропии — как ни называй — разница только в одном: мы знаем, что все это вздор, и так и говорим; они тоже это знают, но ни за что не скажут.

Почему его неоднократно повторяемые рассуждения должны были возмутить ее или предостеречь? Они даже не удивляли ее — не так уж сильно отличались они от принципов ее отца, внушаемых ей с раннего детства. В чем могла бы она усмотреть коренное различие между обеими теориями, если и та и другая приковывали ее к материальной действительности, не оставляя ей веры ни во что другое? Какие ростки взлелеял в этой юной душе Томас Грэдграйнд, чтобы Джеймс Хартхаус мог растоптать их?

Грозившая ей опасность не была бы столь велика, если бы естественная потребность (заложенная в ее душе до того, как она подверглась обработке в высшей степени практического отца), — потребность верить вопреки тому, что ей внушали, в благородство и широту человеческой натуры, не боролась в ней постоянно с сомнениями и чувством обиды. С сомнениями, потому что эту веру с детства душили в ней. С обидой — потому что несправедливо поступили с ней, если внутренний голос нашептывал ей правду. Издавна приученная подавлять свою истинную природу, терзаемая разладом с самой собой, она находила в философии Хартхауса и поддержку и оправдание. Раз все ничтожно и

бессмысленно, стало быть она ничего не упустила и ничем не пожертвовала. «Не все ли равно?» — сказала она отцу, когда он предложил ей мужа. «Не все ли равно?» — говорила она и теперь. Высокомерно и самоуверенно она спрашивала себя: «Есть ли что-нибудь, что не все равно?» — и шла своим путем.

Куда? Шаг за шагом, ниже и ниже, спускалась она к некоей цели, но так постепенно и незаметно, что ей казалось, будто она стоит на месте. Что касается мистера Хартхауса, то он не думал и не тревожился о том, куда его заносит. У него не было ни твердых намерений, ни злого умысла, ничто не нарушало его безмятежной лени. Пока еще он был заинтересован и увлечен ровно настолько, насколько это подобало такому изысканному джентльмену — быть может, даже чуть больше, чем он мог бы признать без ущерба для своей репутации. Вскоре после приезда он в самом небрежном тоне писал своему брату, достопочтенному и остроумному члену парламента, что чета Баундерби «презабавна»; потом сообщил, что фабрикантша вовсе не страшилище вроде Медузы^[51], как он ожидал, а, напротив, молодая и прехорошенькая. После этого он уже ничего о них не писал, зато почти все свободное время проводил в их доме. Разъезжая по Кокстаунскому округу, он часто гостил у них, и мистер Баундерби всячески поощрял его посещения. Это было вполне в духе мистера Баундерби — хвастать перед всеми, что ему-то, разумеется, наплевать на людей высшего круга, но ежели его жене, дочери Тома Грэдграинда, нравится их общество — пожалуйста.

Мистер Хартхаус начал подумывать о том, какое это было бы новое ощущение, если бы лицо, которое так пленительно преображалось для щенка, вдруг преобразилось для него.

Взгляд у него был зоркий; и отличная память — он не забыл ни слова из того, что выболтал ему Том. Все, что он узнал от брата, он вплетал в собственные наблюдения над сестрой, и она уже не казалась ему неразрешимой загадкой. Конечно, лучшие, наиболее глубокие чувства ее были недоступны его пониманию, ибо человеческие характеры подобны морям — «бездна бездну призывает»^[52], — но все остальное в ней он довольно быстро прочел глазами знатока.

Мистер Баундерби недавно приобрел усадьбу милях в пятнадцати от города, куда можно было добираться по железной дороге, которая проходила в полутора милях от нее и вела через множество виадуков по изрытой брошенными угольными копами дикой местности, где по краям скважин мигали огни и маячили черные громады буровых машин. Чем

ближе к обители мистера Баундерби, тем местность становилась менее суровой, а у самой его усадьбы превращалась в мирный сельский пейзаж, белый с золотом по весне от боярышника и вереска, а все лето затененный трепещущей листвой. Эта столь живописно расположенная недвижимость досталась мистеру Баундерби по просроченной закладной одного из кокстаунских магнатов, который, вознамерившись нажить огромное состояние более коротким, чем обычно, путем, просчитался тысяч на двести фунтов. Подобные оказии подчас случались в лучших кокстаунских семействах; но эти банкроты не имели ничего общего с легкомысленным простонародьем.

Для мистера Баундерби водвориться в этом уютном маленьком поместье и с крикливым смирением сажать в цветнике капусту было истинной отрадой. Ему безмерно нравилось жить на казарменный лад среди изящного убранства комнат, а своим происхождением он кичился даже перед картинами.

— Представьте, сэр, — говорил он какому-нибудь гостю, — Никитс (бывший владелец) будто бы отдал семьсот фунтов за этот морской берег. Скажу вам прямо, дай бог, чтобы я за всю жизнь взглянул на него семь раз, итого по сто фунтов за взгляд. Нет, доложу я вам! Я не забыл, что я Джосайя Баундерби из Кокстауна. В молодые годы — какие у меня были картины? Да и какие могли быть, разве что я бы их украл? Портрет человека, который бреется, глядясь в начищенный сапог, наклеенный на банке с ваксой. И еще как я радовался этой самой ваксе, а пустые банки продавал по фардингу, и то за счастье почитал!

В том же духе он обращался к мистеру Хартхаусу:

— Хартхаус, вы привели сюда пару лошадей. Приводите еще хоть шестерку, места хватит. В конюшне можно поставить дюжину; и ежели правда, что люди говорят, то Никитс столько и держал. Целую дюжину, сэр. Мальчишкой он учился в Вестминстерской школе^[53]. Да, да, в Вестминстерской школе, по королевской стипендии, а я в то время питался отбросами и спал на рынке в пустых корзинах. Ежели бы я завел дюжину лошадей — чего я никогда не сделаю, потому что мне предостаточно одной, — каково мне было бы глядеть на их просторные стойла и вспоминать, где я сам ютился когда-то! Да я бы ни за что не стерпел этого, сэр, я выгнал бы их вон. Но все на свете меняется. Вы видите эту усадьбу; вы знаете, какая она; вы не станете отрицать, что ни в нашем королевстве, ни где-либо еще — где именно, мне безразлично — не найти ничего, что могло бы сравниться с ней. И вот, посреди этого великолепия, как червяк, забравшийся в орех, расположился Джосайя Баундерби. А Никитс (так

сообщил мне вчера в банке один клиент), Никитс, который в Вестминстерской школе играл в спектаклях на латинском языке, и наша высшая знать и важные сановники хлопали ему до одури, сошел с ума и в эту самую минуту сидит в Антверпене и слюни пускает, да, да, сэр! — на пятом этаже, в узком темном переулке.

Здесь-то, в этом уединенном уголке, долгими летними днями, укрываясь от зноя под густолиственными деревьями, мистер Хартхаус и принялся испытывать лицо, столь удивившее его при первой встрече, в надежде, что когда-нибудь оно преобразится и для него.

— Миссис Баундерби, это поистине счастливый случай, что я застаю вас одну. Я уже несколько дней ищу возможности поговорить с вами.

Ничего случайного в этом не было, так как именно это время дня она проводила в одиночестве, и именно здесь, в своем излюбленном местечке. Она подолгу сидела в тенистой роще, на прогалине, где лежало несколько поваленных деревьев, и смотрела на опавшую прошлогоднюю листву, как дома смотрела на опадающий пепел.

Он сел подле нее и заглянул ей в лицо.

— Ваш брат, мой юный друг Том...

Щеки ее порозовели, и она живо обернулась к нему. «Просто чудо, — подумал он, — как она хороша, когда ее черты вдруг проясняются!» Выражение его лица выдало эти мысли, быть может не выдавая его самого, ибо кто знает? — не подчинилось ли оно тайному приказу?

— Простите меня. Ваша нежная забота о младшем брате так прекрасна... Ему следовало бы гордиться ею... Я знаю, что это дерзость с моей стороны, но я не могу не восхищаться.

— У вас ведь такой пылкий нрав, — спокойно заметила она.

— Нет, миссис Баундерби, нет. Вы знаете, что я никогда не притворяюсь. Вы знаете, что я весьма низменный образчик человеческой природы, готовый в любое время продать себя за приличную сумму и решительно не способный ни на какие идиллические чувства.

— Я жду, — сказала она, — продолжения разговора о моем брате.

— Вы суровы со мной, но я это заслужил. Сознаюсь, я многого не стою, но одно достоинство у меня есть — я никогда не лицемерю. Однако вы смутили меня, и я отвлекся от предмета, о котором я хотел поговорить с вами. Речь идет о вашем брате. Я принимаю в нем участие.

— Вы способны на участие, мистер Хартхаус? — спросила она не то с сомнением, не то с радостью.

— Если бы вы задали мне этот вопрос в день моего приезда, я ответил бы «нет». Теперь — пусть даже вы заподозрите меня в притворстве и

лишите своего доверия — я вынужден сказать «да».

Она пошевелила губами, но заговорила не сразу, словно голос не повиновался ей. Наконец она произнесла:

— Я верю, что вы принимаете участие в моем брате, мистер Хартхаус.

— Благодарю вас. И вы не ошиблись — я имею право на ваше доверие. Вы знаете, я не притязаю на какие-либо достоинства, но это право я заслужил. Вы так много для него сделали; вы так привязаны к нему; вся ваша жизнь, миссис Баундерби, столь пленительный пример самоотверженной заботы о нем... еще раз простите меня, я опять отвлекся от своего предмета. Я принимаю участие в вашем брате ради него самого.

Она уже сделала было едва заметное движение, словно хотела вскочить с места и уйти. Но он успел вовремя переменить тон, и она осталась.

— Миссис Баундерби, — продолжал он с напускной непринужденностью, давая, однако, понять, каких это стоит ему усилий, так что теперешний тон его был еще выразительней прежнего, — нет ничего предосудительного в том, если молодой человек в возрасте вашего брата проявляет легкомыслие, беспечность, мотает деньги — словом, ведет беспутную жизнь, как принято говорить. Это верно?

— Да.

— Разрешите мне быть откровенным. Как вы думаете, он игрок?

— Кажется, он играет на скачках. — Так как мистер Хартхаус молчал, видимо считая ее ответ неполным, она добавила: — Я знаю, что он играет.

— И, конечно, проигрывает?

— Да.

— Скачки — это всегда проигрыш. Вы мне позволите высказать предположение, что вы иногда ссужаете его деньгами для этой цели?

До сих пор она слушала его, опустив глаза, но в ответ на последний вопрос посмотрела на него испытующе и с некоторой обидой.

— Не сердитесь, дорогая миссис Баундерби, это не дерзость и не праздное любопытство. Я предвижу, что Том рано или поздно попадет в беду, и, умудренный собственным печальным опытом, хотел бы протянуть ему руку помощи. Угодно вам, чтобы я повторил — ради него? Нужно ли это?

Она, видимо, силилась ответить ему, но не произнесла ни слова.

— Если уж говорить начистоту обо всем, что мне приходит в голову, — сказал Джеймс Хартхаус, снова с нарочитым усилием переходя на более легкий тон, — я поделюсь с вами моими мыслями; я сомневаюсь, чтобы он развивался в благоприятных условиях. Сомневаюсь — простите

за откровенность, — могла ли установиться хоть какая-нибудь близость между ним и его глубокоуважаемым отцом.

— Не думаю, — сказала Луиза, вспыхнув при воспоминании о том, что она сама испытала, — чтобы это могло быть.

— Или между ним и... я уверен, что вы не поймете меня превратно... и его достойным зятем.

Она еще гуще покраснела, и щеки ее ярко пылали, когда она ответила тихим голосом:

— И этого не думаю.

— Миссис Баундербри, — помолчав, сказал Хартхаус, — не следует ли нам больше доверять друг другу? Скажите, Том занял у вас большую сумму?

— Вы должны понять, мистер Хартхаус, — отвечала она после некоторого колебания — с самого начала разговора она была несколько смущена и растеряна, однако обычная сдержанность не покидала ее, — вы должны понять, что, если я сообщу вам то, о чем вы так настойчиво спрашиваете, я сделаю это не потому, что хочу пожаловаться или выразить сожаление. На жалобы я вообще не способна, и я ни о чем не сожалею.

«И красива и с характером!» — подумал Джеймс Хартхаус.

— Когда я вышла замуж, я сразу обнаружила, что брат задолжал крупную сумму. Крупную, понятно, для него. И достаточно крупную, чтобы мне пришлось продать кое-какие побрякушки. Это не было жертвой с моей стороны. Я с ними очень охотно рассталась. Я не дорожила ими. В моих глазах они не имели никакой цены.

Не то она прочитала на его лице, что он знает, о каких вещах идет речь, не то ее испугала мысль, что, быть может, он догадается, — но она умолкла и опять покраснела. Если бы он не знал заранее, что она говорит о подарках своего мужа, и то он догадался бы об этом сейчас, будь он даже много глупее, чем был на самом деле.

— С тех пор я мало-помалу отдала брату все, что могла ему уделить, короче говоря, все, что имела. Я верю, что вы принимаете в нем участие, и потому не хочу быть откровенной только наполовину. Уже после того, как вы стали наезжать сюда, он потребовал сразу большую сумму — сто фунтов. Мне пришлось отказать ему. Я очень встревожена тем, что он так сильно запутался в долгах, но до сих пор держала все это в тайне, и только сейчас вверяюсь вашей чести. Я ни с кем не говорила об этом, потому что... но вы и так знаете, по какой причине, — резко оборвала она.

Он был человек находчивый и, усмотрев удобный случай показать ей самое себя, не преминул воспользоваться им, говоря об ее брате.

— Миссис Баундерби, хоть я и повеса, погрязший в мирской суете, но, верьте мне, ваши слова вызывают во мне живейшее сочувствие. Я не могу безоговорочно обвинять вашего брата. Мне понятна снисходительность, с какой вы относитесь к его ошибкам, и я склоняюсь к тому же. При всем моем безграничном уважении к мистеру Грэдграйнду и мистеру Баундерби, я не могу отделаться от мысли, что детство его не было счастливым. Не подготовленный воспитанием к той роли, какую ему предстояло играть в обществе, он на собственный риск и страх ударился из одной крайности, которую так долго — и несомненно с лучшими намерениями — навязывали ему, в другую. Чисто английская, столь независимая прямота мистера Баундерби безусловно привлекательнейшая черта его характера, но она — в этом мы с вами согласны — не располагает к доверию. Если вы позволите мне выразить свое мнение, то я сказал бы, что этой прямооте, пусть в самой малой степени, не хватает той чуткости, в которой юное существо, с ложно истолкованным складом души, с задатками, направленными по ложному пути, могло бы искать утешения и опоры.

Он посмотрел ей в лицо и прочел в ее взоре, устремленном в густую тень деревьев по ту сторону испещренной солнечными бликами лужайки, что его с ударением произнесенные слова она относит к себе.

— Поэтому многое в его поведении простительно, — продолжал он. — Но одного я ему простить не могу, и в моих глазах это тяжкая вина.

Луиза перевела взгляд на его лицо и спросила, о какой вине он говорит?

— Быть может, я и так сказал предостаточно. Быть может, вообще было бы лучше, если бы этот намек не сорвался у меня с языка.

— Вы пугаете меня, мистер Хартхаус. Прошу вас, говорите.

— Чтобы понапрасну не томить вас и потому, что между нами установилось теперь полное доверие касательно судьбы вашего брата, доверие, которое, клянусь вам, мне дороже всего на свете, — я повинуюсь. Вина его в том, что нет у него той глубокой признательности за любовь к нему его лучшего друга, за преданность его лучшего друга, за ее самоотвержение, за жертвы, принесенные ею, которая должна бы сквозить в каждом его слове, в каждом взгляде и поступке. Насколько я могу судить, воздаст он ей за все весьма скудно. То, что она для него сделала, заслуживает неустанной заботы, а не ворчливого своенравия. Я сам доволен пустой малой, миссис Баундерби, но я не столь бессердечен, чтобы отнестись равнодушно к непростительной на мой взгляд неблагодарности вашего брата.

Очертания рощи расплывались перед ее полными слез глазами. Эти

слезы поднялись со дна глубокого, долго скрываемого родника, но они не утоляли жестокой боли, терзавшей ее сердце.

— Словом, миссис Баундерби, я хочу заставить вашего брата иначе относиться к вам. Более полная осведомленность об обстоятельствах, в которых он очутился, и мое руководство, мои советы, как из них выпутаться — советы весьма ценные, надеюсь, ибо они будут исходить от шалопая и мота куда большего размаха, — позволят мне оказывать некоторое влияние на него, чем я, разумеется, воспользуюсь для своей цели. Но довольно, я и так наговорил слишком много. Я словно стараюсь выставить себя каким-то добряком, а между тем, честное слово, у меня и в мыслях этого нет, я, напротив, открыто заявляю, что нисколько на добряка не похож. Вот там, среди деревьев, — добавил он, подняв глаза и оглядевшись, тогда как до сих пор он не сводил глаз с ее лица, — легок на помине, ваш брат. Очевидно, он только что приехал. Так как он идет в нашу сторону, не пойти ли нам ему навстречу и перехватить его? В последнее время он очень молчалив и грустен. Быть может, совесть корит его за сестру — если такая вещь как совесть вообще существует. Но, честное слово, я слишком часто слышу разговоры о ней, чтобы в нее верить.

Он помог ей встать, она взяла его под руку, и они пошли навстречу щенку. Он лениво брел по лесу, похлопывая тростью по веткам, или вдруг нагибался и со злостью сдирал его мох со стволов. Он вздрогнул, когда они застали его врасплох за этим занятием, и кровь бросилась ему в лицо.

— Это вы? — пробормотал он. — Я не знал, что вы здесь.

— Ну, Том, — сказал мистер Хартхаус, после того как он повернул его, взяв за плечо, так что теперь все трое шли в сторону дома, — чье имя вырезали вы на дереве?

— Чье имя? — переспросил Том. — А-а, вы спрашиваете про женское имя?

— У вас очень подозрительный вид, Том. Так и кажется, что вы начертали на коре имя какой-нибудь красотки.

— Это маловероятно, мистер Хартхаус. Вот если бы я приглянулся красотке с огромным личным состоянием — тогда другое дело. И будь она не красotka, а страшна, как смертный грех, я тоже не отказался бы от нее. Я вырезал бы ее имя хоть сто раз, чтобы доставить ей удовольствие.

— Боюсь, что вы корыстолюбивы, Том.

— Корыстолюбив? — повторил Том. — А кто не корыстолюбив? Спросите мою сестрицу.

— Ты так уверен в этом моем недостатке, Том? — спросила Луиза, словно не замечая его грубого тона.

— Сама можешь рассудить, Лу, так это или не так, — хмуро отвечал Том. — Я этого не говорил.

— Том сегодня в мизантропическом настроении, — сказал мистер Хартхаус. — Это иногда бывает с людьми, когда им очень скучно. Не верьте ему, миссис Баундерби. Он знает, что это неправда. Если он не повеселеет хоть немного, я сообщу вам его мнение о вас, которое он с глазу на глаз выражал мне.

— Во всяком случае, мистер Хартхаус, — сказал Том, более приветливым тоном обращаясь к своему покровителю, которым безмерно восхищался, но с прежним упрямством качая головой, — вы не можете сообщить ей, что я хвалил ее за корыстолюбие. Я, вероятно, хвалил ее за обратное, и опять похвалил бы, будь у меня на то основание. Однако оставим это. Вам наши дела мало интересны, а я сыт по горло такими разговорами.

Когда они приблизились к крыльцу, Луиза выпустила руку своего гостя и вошла в дом. Он постоял, глядя ей вслед, пока она, поднявшись по ступенькам, не исчезла в полутемном проеме дверей, потом опять взял ее брата за плечо и дружеским кивком головы пригласил его погулять по саду.

— Том, друг мой, я хотел бы поговорить с вами.

Они остановились среди полуразоренного цветника — в своем чванном смирении мистер Баундерби решил сохранить розы Никитса, уменьшив их число, — и Том, сидя на низкой оgrade, сердито рвал бутоны и ломал их, а его неотразимый демон-искуситель склонился над ним, поставив одну ногу на парапет и легко опираясь рукой о колено. Цветник был разбит под самым ее окном. Быть может, она видела их.

— Том, что с вами?

— Ах, мистер Хартхаус, — со стоном сказал Том, — я так запутался, что просто не знаю, как быть.

— Дорогой мой, и я не в лучшем положении.

— Вы! — воскликнул Том. — Да вы воплощенная независимость. А мне, мистер Хартхаус, хоть удавиться. Вы и представить себе не можете, в какие тиски я попал, а сестра могла бы меня вызволить, но не захотела.

Дрожащей, точно у дряхлого старца, рукой он совал розовые бутоны в рот, впивался в них зубами и снова с ожесточением вырывал изо рта. Посмотрев на него долгим испытующим взглядом, его собеседник заговорил непринужденно и даже не без игривости.

— Том, будьте благоразумны — вы слишком многого требуете от сестры. Вы ведь получали от нее деньги, шалун вы этакий!

— Ну и что же, что получал, мистер Хартхаус. А где еще я мог их

доставать? Старик Баундерби вечно хвалится, что в мои годы он жил на два пенса в месяц или вроде того. Отец мой постоянно «кладет предел», как он выражается, и с самого детства я не имел права переступить его. У моей родительницы нет ничего своего — одни болезни. Что же остается человеку делать? Куда мне обращаться за деньгами, если не к сестре?

Он чуть не плакал и десятками разбрасывал вокруг себя бутоны. Мистер Хартхаус, стараясь урезонить его, взял его за лацкан.

— Но, милый Том, если у вашей сестры нет денег...

— Нет денег, мистер Хартхаус? Я и не говорю, что есть. По всей вероятности, столько, сколько мне нужно, у нее и быть не может. Но она должна была достать их. И могла достать. После всего, что я уже рассказал вам, нет смысла делать из этого тайну: вы знаете, что она вышла за старика Баундерби не ради себя и не ради него, а ради меня. А если ради меня, то почему же она не выжимает из него то, что мне нужно? Она вовсе не обязана сообщать ему, что она сделает с его деньгами. У нее ума хватит, она отлично сумела бы выманить их у него, лишь бы пожелала. Почему же она не желает, когда я говорю ей, что для меня это страшно важно? Так нет же. Сидит возле него точно каменная, а стоило бы ей полюбезничать с ним — он сразу бы выложил деньги. Не знаю, как на ваш взгляд, но, по-моему, сестры так не поступают.

Под самой оградой, по другую сторону ее, был искусственный пруд, и мистеру Джеймсу Хартхаусу очень хотелось выбросить туда Томаса Грэдграинда-младшего — не хуже обиженных кокстаунцев, грозивших выбросить свою собственность в Атлантический океан. Но он устоял перед искушением, и через каменный парапет полетели только нежные бутоны роз, образовав маленький плавучий островок.

— Дорогой мой Том, — сказал мистер Хартхаус, — позвольте мне быть вашим банкиром.

— Ради бога, — выкрикнул Том, — не говорите о банкирах! — И вдруг лицо его побелело — по сравнению с розами оно казалось очень, очень белым.

Мистер Хартхаус, как человек безукоризненно воспитанный, привыкший вращаться в высшем обществе, не способен был недоумевать — с таким же успехом можно было бы предположить, что он способен растрогаться, — но все же веки его чуть приподнялись, словно их тронула тень удивления. Хотя склонность удивляться и раздумывать столь же противоречила его собственным правилам, как и принципам грэдграиндской школы.

— Какая сумма нужна вам сейчас, Том? Трехзначная? Признавайтесь.

Назовите точную цифру.

— Поздно, мистер Хартхаус, — отвечал Том, и слезы потекли по его лицу, что куда больше шло к нему, чем брань, хотя вид у него был достаточно жалкий. — Теперь деньги мне не помогут. Вот если бы они раньше у меня были. Но я очень признателен вам, вы истинный друг.

Истинный друг! «Ах ты щенок! — лениво подумал мистер Хартхаус. — Ты еще и осел!»

— И это очень великодушно с вашей стороны, — сказал Том, сжимая его руку, — очень великодушно, мистер Хартхаус.

— Ну что ж, — отвечал тот, — может быть, в другой раз пригодится. И впредь, милый мой, если сядете на мель, лучше откройтесь мне, потому что я лучше вас знаю, как в таких случаях находить выход.

— Спасибо, — сказал Том, уныло покачивая головой и жуя бутоны, — жаль, что я не узнал вас раньше.

— Так вот, Том, — заключил мистер Хартхаус, тоже бросая в пруд несколько роз, как бы для того, чтобы внести и свой вклад в образование островка, который упорно устремлялся к ограде, словно хотел слиться с материком, — каждый человек, что бы он ни делал, блюдет свою выгоду, и я ничем не отличаюсь от своих ближних. Я просто жажду, — в его жажде чувствовалась прямо-таки тропическая истома, — чтобы вы мягче обращались с сестрой, и вообще были бы для нее любящим и нежным братом, как она того заслуживает.

— Будет исполнено, мистер Хартхаус.

— И чем скорее, тем лучше. Не откладывайте.

— Хорошо, мистер Хартхаус. И Лу сама вам это подтвердит.

— Стало быть, по рукам, — сказал Хартхаус, хлопнув Тома по плечу с таким видом, что тот вполне мог поверить — и поверил, дурень несчастный! — будто Хартхаус лишь по доброте своей и от чистого сердца навязал ему условие, дабы он меньше чувствовал себя обязанным за предложенную помощь, — а теперь нам суждена разлука... до самого обеда.

Когда Том пришел в столовую, мысли у него, видимо, были тяжелые, зато ноги проворные — он пришел раньше, чем явился мистер Баундерби.

— Я не хотел обидеть тебя, Лу, — сказал он, протягивая сестре руку и целуя ее. — Я знаю, что ты меня любишь, и ты знаешь, что я тебя люблю.

В тот вечер на лице Луизы сияла улыбка, предназначенная не только для брата. Увы, не только для брата!

«Итак, щенок не единственное существо на свете, которое ей дорого, — подумал Джеймс Хартхаус, переиначивая мысль, мелькнувшую

у него в тот день, когда он впервые увидел ее прелестное лицо. — Нет, не единственное!»

Глава VIII

Взрыв

Летнее утро выдалось такое чудесное, что жаль было тратить его на сон, и Джеймс Хартхаус, поднявшись спозаранку, расположился в уютной оконной нише своей комнаты, дабы насладиться редким сортом табака, некогда оказавшим столь благотворное действие на его юного друга. Греясь в лучах солнца, вдыхая восточный аромат своей трубки, следя за прозрачными струйками дыма, медленно таявшими в мягком, насыщенном летними Запахами воздухе, он подводил итог своим успехам, точно картежник, подсчитывающий вчерашний выигрыш. Против обыкновения он не испытывал ни малейшей скуки, и мысль его работала усердно.

Он завоевал ее доверие, узнал тайну, которую она скрывала от мужа. Он завоевал ее доверие потому, что, вне всяких сомнений, она не питала никаких чувств к своему мужу и между ними никогда не было и тени духовного сродства. Он искусно, но недвусмысленно дал ей понять, что знает все тончайшие изгибы ее души; он стал так близок ей, через ее самую нежную привязанность; он пристегнул себя к этой привязанности; и преграда, за которой она жила, растаяла. Все это очень удивительно и очень недурно!

А между тем и сейчас еще он не замышлял ничего дурного. Куда лучше было бы для века, в котором он жил, если бы он и легион ему подобных наносили вред семье и обществу преднамеренно, а не по равнодушию и беспечности. Именно о дрейфующие айсберги, которые уносит любое течение, разбиваются корабли.

Когда дьявол ходит среди нас аки лев рыкающий, он ходит во образе, который, кроме дикарей и охотников, может соблазнить лишь немногих. Но когда он принаряжен, отутюжен, вылощен по последней моде; когда он пресыщен пороком, пресыщен добродетелью и до такой степени истаскан, что ни для ада, ни для рая не годится; вот тогда — занимается ли он волокитой или волокитством, — тогда он сущий дьявол.

Итак, Джеймс Хартхаус сидел в оконной нише, лениво посасывая трубку, и подсчитывал каждый шаг, сделанный им на пути, по которому, волею судеб, он следовал. Куда это заведет его, он видел с достаточной ясностью, но конечная цель пути его не тревожила. Что будет, то будет.

Так как ему предстояла долгая поездка верхом, — в нескольких милях от усадьбы ожидалось публичное собрание, где он намеревался,

придравшись к случаю, поратовать за партию Грэдграйнда, — то он рано совершил туалет и спустился вниз к завтраку. Ему не терпелось проверить — а что, если она за ночь опять отдалилась от него? Нет. Он мог продолжать свой путь с того места, где остановился накануне, — она снова подарила его приветливым взглядом.

Проведя день более или менее (скорее менее) приятно, насколько это было возможно при столь утомительных обстоятельствах, он в шесть часов пополудни возвращался обратно. От ворот усадьбы до дома было с полмили, и он ехал шагом по ровной, посыпанной гравием дорожке, когда-то проложенной Никитсом, как вдруг из-за кустов выскочил мистер Баундерби, да так стремительно, что лошадь Хартхауса шарахнулась.

— Хартхаус! — крикнул мистер Баундерби. — Вы слышали?

— Что именно? — спросил Хартхаус, оглаживая свою лошадь и мысленно отнюдь не желая мистеру Баундерби всех благ.

— Стало быть, вы не слышали!

— Я слышал вас, и не только я, но и моя лошадь. Больше ничего.

Мистер Баундерби, потный и красный, стал посреди дороги перед мордой лошади, дабы его бомба разорвалась с наибольшим эффектом.

— Банк ограбили!

— Не может быть!

— Ограбили этой ночью, сэр. Ограбили очень странным образом. Ограбили с помощью подделанного ключа.

— И много унесли?

Мистер Баундерби так сильно желал изобразить случившееся событием необычайной важности, что отвечал даже с некоторой обидой:

— Да нет. Не так чтобы очень много. Но ведь могли бы и много.

— Сколько же?

— Ежели вам так уж непременно хочется узнать сумму, то она не превышает ста пятидесяти фунтов, — с досадой сказал Баундерби. — Но дело не в украденной сумме, а в самом факте. Важен факт — произошло ограбление банка. Удивляюсь вам, что вы этого не понимаете.

— Дорогой мистер Баундерби, — сказал Джеймс, спешиваясь и отдавая поводья своему слуге, — я отлично это понимаю и до такой степени потрясен картиной, которая открылась моему внутреннему зору, что лучшего вы и пожелать не можете. Тем не менее, надеюсь, вы позволите мне поздравить вас — и, поверьте, от всей души, — что понесенный вами убыток не столь уж велик.

— Благодарствуйте, — сухо обронил Баундерби. — Но вот что я вам скажу — могли бы унести и двадцать тысяч фунтов.

— Вероятно.

— Вероятно! Еще как, черт возьми, вероятно! — воскликнул мистер Баундерби, свирепо мотая и трясая головой. — Ведь могли унести и дважды двадцать тысяч. Даже и вообразить нельзя, что могло бы случиться, ежели бы грабителям не помешали.

Тут к ним подошла Луиза, а также миссис Спарсит и Битцер.

— Вот дочь Тома Грэдграйнда, не в пример вам, отлично понимает, что могло бы быть, — похвастался Баундерби. — Упала как подкошенная, когда я сказал ей! В жизни с ней этого не бывало. Но ведь и случай-то какой! Я так считаю, что это делает ей честь, да-с!

Она все еще была бледна и едва держалась на ногах. Джеймс Хартхаус настоял, чтобы она оперлась на его руку, и медленно повел ее к дому; по дороге он спросил, как произошло ограбление.

— А я вам сейчас скажу, — вмешался Баундерби, сердито подавая руку миссис Спарсит. — Ежели бы вас так страшно не занимала украденная сумма, я уже давно сообщил бы вам подробности. Вы знакомы с этой леди (слышите, леди!), миссис Спарсит?

— Я уже имел удовольствие...

— Отлично. И этого молодого человека, Битцера, вы тоже видели в тот раз? — Мистер Хартхаус утвердительно наклонил голову, а Битцер стукнул себя по лбу костяшками пальцев.

— Отлично. Они живут при банке. Может быть, вам известно, что они живут при банке? Отлично. Вчера вечером, перед закрытием, все было убрано, как всегда. В кладовой, возле которой спит этот малый, лежало... неважно, сколько. В маленьком сейфе, в комнате Тома, где хранятся деньги на мелкие расходы, лежало около ста пятидесяти фунтов.

— Сто пятьдесят четыре фунта семь шиллингов один пенс, — подсказал Битцер.

— Ну-ну! — оборвал его Баундерби, круто поворачиваясь к нему. — Потрудитесь не прерывать меня. Хватит того, что меня ограбили, пока вы изволили храпеть — уж больно вам сладко живется. Так уж не лезьте со своими семь шиллингов один пенс. Я-то сам не храпел в ваши годы, могу вас уверить. На пустое брюхо не захрапишь. И не совался никого поправлять, а помалкивал, хоть был не глупее других.

Битцер угодливо стукнул себя по лбу, всем своим видом показывая, что такое стоическое воздержание мистера Баундерби одновременно и поразило и сразило его.

— Около ста пятидесяти фунтов, — повторил мистер Баундерби. — Том-младший запер деньги в свой сейф, — не очень надежный сейф, но не

в этом дело. Все было оставлено в полном порядке. А ночью, пока этот малый храпел... миссис Спарсит, сударыня, вы говорите, что слышали, как он храпел?

— Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — я не могу сказать с уверенностью, что слышала именно храп, и следовательно, не берусь утверждать это. Но зимними вечерами, когда ему случалось уснуть за своим столом, я иногда слышала хрипы, похожие на те, какие издает человек, страдающий удушьем. И еще я слышала шип, который позволю себе уподобить звукам, нередко исходящим от стенных часов. Однако, — продолжала миссис Спарсит с горделивым сознанием, что она добросовестно исполняет свой долг беспристрастной свидетельницы, — я отнюдь не хочу бросить тень на его нравственность. Напротив, я всегда считала Битцера молодым человеком самых высоких моральных правил; прошу учесть эти мои слова.

— Короче говоря, — едва сдерживая ярость, сказал Баундерби, — пока он храпел, или хрипел, или шипел, или уж не знаю что еще делал, — словом, пока он спал, какие-то люди пробрались к сейфу Тома — спрятались ли они заранее в банке, или проникли туда ночью, еще не установлено, — взломали его и унесли все деньги. Тут им помешали, и они пустились наутек; открыли главный вход (дверь была заперта на два поворота, а ключ лежал у миссис Спарсит под подушкой) и вышли, снова заперев ее на два поворота подделанным ключом; его нашли сегодня около полудня на улице неподалеку от банка. Спихватились только утром, когда этот самый Битцер поднялся и начал прибирать помещение. И вот, посмотрев на сейф Тома, он видит, что дверца приотворена, замок сломан, а деньги исчезли.

— Кстати, где же Том? — спросил Хартхаус, озираясь.

— Он помогает полиции. — отвечал Баундерби, — и потому остался в банке. Попробовали бы эти жулики ограбить *меня*, когда я был в его годах! Ежели бы они всего восемнадцать пенсов вложили в это дело, и то остались бы в накладе; пусть так и знают.

— Подозревают кого-нибудь?

— Подозревают ли? Еще бы не подозревали! Будьте покойны! — сказал мистер Баундерби, выдергивая руку из-под руки миссис Спарсит, дабы вытереть вспотевший лоб. — Чтобы Джосайю Баундерби из Кокстауна обобрали и ни на кого не пало подозрение? Нет уж, спасибо!

Мистер Хартхаус любопытствовал, кого же именно подозревают?

— Уж так и быть, — отвечал Баундерби, остановившись и поворачиваясь ко всем лицом, — я вам скажу. Об этом не надо повсюду

болтать — вернее, нигде об этом не надо болтать, — чтобы не спугнуть причастных к ограблению негодяев (их целая шайка). Так что я сообщаю вам мои подозрения по секрету. Слушайте. — Мистер Баундерби еще раз вытер лоб. — Что вы скажете... ежели тут замешан один из рабочих?! — взорвался он.

— Надеюсь, — равнодушно протянул Хартхаус, — не друг наш Блекпот?

— Он самый, — отвечал Баундерби, — только не пот, а пул.

У Луизы вырвался тихий возглас недоверчивого удивления.

— Да, да! Я знаю! — немедленно отозвался Бауни. — Знаю! Я к этому привык. Все слова знаю. Мол, лучше этих людей нет на свете. Болтать языком-то они горазды. Они, видите ли, хотят только одного — чтобы им объяснили, какие у них права. Но я заявляю вам: покажите мне недовольного рабочего, и я покажу вам человека, способного на любую подлость, любое злодеяние.

Это была еще одна фикция, имевшая хождение в Кокстауне, которую усердно распространяли и которой кое-кто искренне верил.

— Но я-то знаю этот народ, — продолжал Баундерби. — Я читаю в них, как в открытой книге. Миссис Спарсит, сударыня, я сошлюсь на вас. Разве не предостерегал я этого бунтовщика, когда он в первый раз пришел ко мне в дом и допытывался, как ему ударить по религии и сокрушить государственную церковь? Миссис Спарсит, по своим родственным связям вы ровня высшей знати, — скажите, говорил я или не говорил ему: «От меня вы не скроете правду; такие, как вы, мне не по душе, вы плохо кончите»?

— Несомненно, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — вы очень убедительно внушали ему это.

— Он тогда возмутил вас, сударыня, — сказал Баундерби, — уязвил ваши чувства?

— Совершенно верно, сэр, — отвечала миссис Спарсит, смиренно покачав головой, — именно это он сделал. Впрочем, должна сказать, что, быть может, такая уязвимость — или, допустим, безрассудство, — не была бы присуща мне в столь большой степени, ежели бы я издавна занимала нынешнее свое положение.

Мистер Баундерби, чуть не лопааясь от спеси, в упор поглядел на мистера Хартхауса, как бы говоря: «Эта женщина — моя собственность и, я полагаю, достойна вашего внимания». Затем он продолжал свою речь.

— Да вы и сами, Хартхаус, можете припомнить, что я сказал ему, — вы были при этом. Я все ему выложил без обиняков. Я с ними не

миндальничаю. Я их насквозь вижу. Так вот, сэр. Три дня спустя он удрал. Скрылся, — а куда, никто не знает. Точно как моя родительница во времена, моего детства — с той только разницей, что он, ежели только это возможно, почище ее злодей. А что он делал, прежде чем скрыться? (Мистер Баундерби говорил с расстановкой, сопровождая каждую фразу ударом кулака по тулье своей шляпы, которую держал в руке, — словно бил в бубен.) Вот, не угодно ли: его видели — каждый вечер — заметьте, каждый вечер — возле банка. — Он шатался там — когда же? — после наступления темноты. Миссис Спарсит поняла, что это не к добру — указала на него Битцеру, — они вдвоем стали следить за ним, а нынче мы узнали из расспросов, что и соседи приметили его. — Достигнув кульминационной точки своей тирады, мистер Баундерби жестом восточной танцовщицы надел бубен себе на голову.

— Подозрительно, — заметил Джеймс Хартхаус, — очень даже.

— Еще бы! — сказал Баундерби, воинственно вскинув подбородок. — Еще бы не подозрительно. Но тут и другие приложили руку. Замешана какая-то старуха. Всегда так — спохватятся, когда уже поздно; как сведут лошадь с конюшни, — вот тут-то и обнаружат, что дверь плохо пригнана. Теперь вдруг оказывается, что какая-то старуха время от времени прилетала в город верхом на метле. И за день до того, как этот злодей стал околачиваться возле банка, она с утра до вечера подглядывала за моим домом, а когда он вышел от меня, она вместе с ним скрылась, и потом они держали совет — надо думать, старая ведьма отчитывалась перед ним.

«Была какая-то женщина в комнате Стивена, и она пряталась в темном углу», — подумала Луиза.

— И это еще не все, нам уже сейчас кое-что известно, — сказал Баундерби, таинственно тряся головой. — Но довольно, больше я теперь ничего не скажу. А вы, будьте любезны, помалкивайте, никому ни слова. Может быть, на это потребуется время, но они от нас не уйдут. Пусть погуляют до поры до времени, это делу не повредит.

— Разумеется, они будут наказаны по всей строгости закона, как пишут в объявлениях, — заметил Джеймс Хартхаус, — и поделом им. Люди, которые берутся грабить банки, должны нести ответственность за последствия. Не будь последствий, мы все бы это делали. — Он мягко взял у Луизы из рук зонтик и, раскрыв его, держал над ней, хотя они шли не по солнцу, а в тени.

— А теперь, Лу Баундерби, — обратился к ней ее супруг, — надо позаботиться о миссис Спарсит. Из-за этой истории у миссис Спарсит нервы расходились, и она дня два поживет здесь. Так что устрой ее

поудобнее.

— Весьма признательна, сэр, — смиренно отвечала миссис Спарсит, — но, прошу вас, не хлопчите о моих удобствах. Мне ничего не нужно.

Однако именно неприхотливость миссис Спарсит явилась причиной беспокойства для всего дома, ибо она столь мало пеклась о себе и столь много о других, что очень скоро стала всем в тягость. Когда ей показали ее комнату, она была так потрясена ее великолепием, что невольно напрашивалась мысль, будто она предпочла бы провести ночь в прачечной, улегшись на каток для белья. Правда, Паулеры и Скэджерсы привыкли к роскоши; «но я почитаю своим долгом, — с достоинством говорила в таких случаях миссис Спарсит, особенно в присутствии слуг, — не забывать, что я уже не то, чем была когда-то. Скажу вам больше, — добавляла она, — ежели бы я могла окончательно вычеркнуть из памяти, что мистер Спарсит был Паулер, а я состою в родстве с семейством Скэджерс, или — еще лучше — ежели бы я могла отменить самый факт и превратиться в особу менее высокого происхождения и более заурядных родственных связей, я бы с радостью это сделала. Я считала бы, что в нынешних обстоятельствах я должна так поступить». Этот же подвижнический дух побудил ее отказаться за обедом от закусок и вин, предварительно заявив во всеуслышанье, что она «будет дожидаться обыкновенной баранины», и только после того, как мистер Баундерби прямо-таки приказал ей пить и есть, она произнесла «вы чрезвычайно добры, сэр» и переменила свое решение. Когда ей потребовалась соль, она просто не знала, куда деваться от стыда; а кроме того, чувствуя себя обязанной отплатить любезностью за любезность, она, дабы в полной мере оправдать свидетельство мистера Баундерби о состоянии ее нервов, время от времени откидывалась на спинку стула и безмолвно проливала слезы; и каждый раз при этом можно было видеть (или, вернее, нельзя было не видеть), как прозрачная капля величиной с хрустальную серьгу медленно ползла по ее римскому носу.

Но главной силой миссис Спарсит была и оставалась ее непоколебимая решимость жалеть мистера Баундерби. То и дело, глядя на него, она горестно качала головой, словно хотела сказать: «Увы, бедный Йорик!»^[54] Невольно выдав таким образом свои чувства, она заставляла себя приободриться и судорожно веселым голосом говорила: «Я рада, что вы не падаете духом, сэр!» — и всячески давала понять, какое это, по ее мнению, великое благо, что мистер Баундерби так легко несет свой крест. Была в ее поведении и еще одна странность, за которую ей неоднократно приходилось извиняться, но переломить себя она никак не могла. Она

почему-то упорно называла миссис Баундерби «мисс Грэдграйнд» и в течение вечера оговорила таким образом раз сто. Эта столь часто повторяемая ошибка в конце концов несколько смутила миссис Спарсит; но, право же, смиренно оправдывалась она, такое обращение для нее вполне естественно, между тем как представить себе, что мисс Грэдграйнд, которую она имела счастье знать в детстве, теперь и в самом деле миссис Баундерби, почти невозможно. И весьма примечательно, что чем больше она об этом думает, тем меньше ей это кажется возможным, — «при столь явном несоответствии», — заключила она.

После обеда, в гостиной, мистер Баундерби учинил суд над грабителями: допросил свидетелей, записал их показания, признал подозреваемых лиц виновными и приговорил их к высшей каре, предусмотренной законом. Засим он отпустил Битцера в город, поручив ему передать Тому, чтобы тот почтовым поездом воротился домой.

Когда внесли свечи, миссис Спарсит прошептала:

— Умоляю вас, сэр, не грустите. Я хочу видеть вас таким же веселым, каким вы были раньше.

Мистер Баундерби, который под воздействием этих попыток утешить его впал в совершенно несвойственное ему и оттого крайне нелепое элегическое настроение, тяжело и шумно вздохнул, словно некое морское чудовище.

— У меня душа за вас болит, — сказала миссис Спарсит. — Почему бы вам не сыграть в трик-трак^[55], сэр, как в былые дни, когда я имела честь жить с вами под одной кровлей.

— С той поры, сударыня, я не садился за триктрак. — отвечал мистер Баундерби.

— Да, сэр, — сочувственно сказала миссис Спарсит, — я это знаю. Я помню, что мисс Грэдграйнд никогда не любила трик-трак. Но ежели вы соизволите, сэр, я рада буду сыграть с вами.

Они сели играть у окна, выходящего в сад. Луна не показывалась, но вечер был теплый, почти душный, в воздухе стоял сильный аромат цветов. Луиза и мистер Хартхаус прогуливались по саду, и оттуда доносились их голоса, но слов разобрать нельзя было. Миссис Спарсит, сидя за доской трик-трака, то и дело напряженно смотрела в окно, пытаясь проникнуть взором в полутемный сад.

— Что там такое, сударыня? — спросил мистер Баундерби. — Уж не пожар ли вы видите?

— Что вы, сэр, нет, нет, — отвечала миссис Спарсит, — меня роса беспокоит.

— А какое вам дело до росы, сударыня? — спросил мистер Баундерби.

— Дело не во мне, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Я боюсь, как бы мисс Грэдграйнд не простудилась.

— Она никогда не простужается, — сказал мистер Баундерби.

— Вот как, сэр? — сказала миссис Спарсит.

И вдруг сильно закашлялась.

Когда пришло время ложиться спать, мистер Баундерби налил себе стакан воды.

— Что вы, сэр? — воскликнула миссис Спарсит. — А почему не подогретый херес с лимонной цедрой и мускатным орехом?

— Я уже отвык от этого, сударыня, — отвечал мистер Баундерби.

— Очень жаль, сэр, — сказала миссис Спарсит. — Я вижу, вы малопомалу отказываетесь от всех своих добрых старых привычек. Но не печальтесь, сэр! Ежели мисс Грэдграйнд разрешит, я сейчас приготовлю вам стаканчик, как делала это столь часто в прошлом.

Так как мисс Грэдграйнд с величайшей охотой разрешила миссис Спарсит делать все, что угодно, то сия заботливая особа немедленно приготовила питье для мистера Баундерби и вручила ему стакан со словами: «Это вам поможет, сэр. Душу согреет. Именно это вам нужно, не лишайте себя этого, сэр». А когда мистер Баундерби сказал: «Ваше здоровье, сударыня!» — она проникновенно ответила: «Благодарю вас, сэр. И вам того же, а также побольше счастья». Наконец, чуть не плача от умиления, она пожелала ему спокойной ночи; и мистер Баундерби отправился спать в глубоком унынии, убежденный, что он чем-то уязвлен в своих лучших чувствах, но чем именно — он и вообразить не мог.

Еще долго после того, как Луиза разделась и легла в постель, она не засыпала, поджидая возвращения Тома. Она знала, что он едва ли приедет раньше часу ночи; но безмолвие погруженной в сон природы не успокаивало, а лишь усугубляло ее тревогу, и время для нее тянулось томительно медленно. Прошло, как ей казалось, много часов, в течение которых тишина и мрак, точно состязаясь между собой, становились все глубже, и вот, наконец, у ворот зазвонил колокольчик. У нее мелькнула смутная мысль, что хорошо бы он звонил до самого рассвета; но колокольчик умолк, его последний отзвук, все шире расходясь кругами, замер вдали, и снова настала мертвая тишина.

Она подождала еще немного, по ее расчетам — с четверть часа. Потом встала с постели, накинула капотик, вышла из комнаты и впотьмах поднялась в комнату брата. Она тихо отворила дверь и, окликнув его, бесшумно приблизилась к его кровати.

Она опустилась возле нее на колени, обняла его за шею и притянула к себе его голову. Она знала, что он только притворяется спящим, но не произнесла ни слова.

Вдруг он приподнялся, как будто его только что разбудили, и спросил, кто тут и что случилось?

— Том, тебе нечего сказать мне? Если когда-нибудь ты любил меня, — что бы ты ни утаил от других, откройся мне.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу. Тебе что-то приснилось.

— Дорогой мой Том, — она положила голову на подушку, и ее распущенные волосы накрыли его, точно она пыталась спрятать брата от всех, кроме самой себя, — нет ли чего-нибудь, о чем ты хотел бы мне сказать? Нет ли чего-нибудь, о чем ты мог бы мне сказать, если бы захотел? Что бы ты ни сказал, я буду все та же для тебя. Том, скажи мне правду!

— Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу!

— Как ныне ты здесь лежишь один, в ночной тиши, так суждено тебе лежать в ином месте, и даже я, если доживу до того времени, должна буду покинуть тебя. Как ныне я здесь подле тебя, босая, полуодетая, неразличимая во мраке, так суждено мне некогда лежать всю долгую ночь, истлевая, пока не обращусь во прах. Во имя этого неотвратимого часа, заклинаю тебя, Том, скажи мне правду!

— О чем ты меня спрашиваешь?

— Знай одно, — в порыве любви и Отчаяния она прижала его к груди, словно малого ребенка, — знай, что я никогда не упрекну тебя. Знай, что я пожалею тебя и останусь верна тебе. Знай, что я спасу тебя любой ценой. Том, подумай, тебе нечего сказать мне? Шепни совсем тихо. Скажи только «да», — и я все пойму!

Она приблизила ухо к его губам, но он упрямо хранил молчание.

— Ни единого слова, Том?

— Как могу я сказать «да» или «нет», когда я не знаю, о чем ты говоришь? Послушай, Лу, ты хорошая, славная, и я понимаю, что я тебя не стою — не такого брата бы тебе иметь. Но больше мне тебе нечего сказать. Иди спать, иди.

— Ты устал, — прошептала она более спокойным тоном.

— Да, смертельно устал.

— Сегодня у тебя было много забот и хлопот. Открылось что-нибудь новое?

— Известно только то, что ты слышала... от него.

— Том, ты никому не говорил, что мы ходили к тем людям и видели их там втроем?

— Нет. Ты же сама настаивала, чтобы я держал это в тайне, когда просила меня проводить тебя.

— Да. Но я ведь тогда не знала, что случится.

— И я не знал. Откуда я мог знать?

Уж очень быстро он произнес эти слова.

— Следует ли мне, после того что случилось, сознаться, что я ходила туда? — спросила Луиза, поднявшись с колен и стоя возле кровати. — Нужно ли это? Должна я это сделать?

— Бог мой, Лу, — отвечал Том, — не в твоих привычках советоваться со мной. Говори или не говори, как хочешь. Если ты будешь молчать, и я буду молчать. Если ты расскажешь, что ж, так и будет.

Было темно, и они не видели друг друга, но и он и она говорили очень осторожно, взвешивая каждое слово.

— Том, как ты думаешь, тот человек, которому я дала деньги, в самом деле причастен к ограблению?

— Не знаю. Не вижу, почему бы и нет.

— Он показался мне очень честным.

— Это ничего не значит. Кто-нибудь может казаться тебе нечестным, а на самом деле быть честным.

Он запнулся и умолк. Молчала и она.

— Впрочем, — продолжал Том немного погодя, словно приняв какое-то решение, — раз уж ты об этом заговорила, то имей в виду, что он отнюдь не внушал мне большого доверия. Я даже вышел с ним за дверь, чтобы с глазу на глаз объяснить ему, что он должен ценить подарок моей сестры, — и пусть хорошо распорядится этими деньгами. Ты ведь помнишь, что я выходил вместе с ним. Я ничего дурного не хочу сказать о нем. Может быть, он и отличный малый, не знаю. Надеюсь, что это именно так.

— А он не обиделся на тебя?

— Нет, он выслушал меня спокойно; во всяком случае, вполне учтиво. Где ты, Лу? — Он сел на кровати и поцеловал ее. — Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи.

— Больше тебе нечего мне сказать?

— Нет. Что я мог бы сказать еще? Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебе лгал?

— Меньше всего, Том, я хочу, чтобы ты лгал мне этой ночью, сколько бы ночей — и, надеюсь, более счастливых — тебе ни суждено прожить.

— Спасибо, Лу. Я так устал, что, кажется, готов сказать, что угодно, лишь бы мне дали уснуть. Иди ложись, иди.

Он еще раз поцеловал ее, отвернулся к стене, натянул одеяло на голову

и лежал так тихо, словно уже пробил тот час, которым сестра заклинала его сказать правду. Она постояла еще немного возле кровати, потом медленно отошла. Открыв дверь, она еще раз с порога оглянулась на него через плечо и спросила, не звал ли он ее? Но он лежал не шевелясь, и она, бесшумно притворив дверь, спустилась в свою комнату.

Тогда злополучный мальчишка осторожно выглянул из-под одеяла и убедился, что она ушла; сполз с постели, запер дверь и опять уткнулся в подушку; он рвал на себе волосы, плакал упрямыми слезами, боролся с любовью к сестре, ненавидел и презирал самого себя, но не чувствовал раскаяния и столь же бесплодно ненавидел и презирал все доброе на земле.

Глава IX

Обретенный покой

Миссис Спарсит, проживая ради укрепления своих нервов в усадьбе мистера Баундерби, так зорко присматривалась ко всему из-под густых кориолановских бровей, что глаза ее, подобно двум маякам на скалистом берегу, предостерегли бы любого благоразумного моряка об опасности, таившейся в римском носе, который, словно гордый утес, грозно высился, окруженный темными кручами, — не будь ее непроницаемого спокойствия. Хотя с трудом верилось, что по вечерам она удаляется в свою комнату не только для виду, ибо и тени дремоты не бывало в ее античных глазах, и сколь ни странным казалось, что ее непреклонный нос может уступить естественной потребности в отдыхе, однако — сидела ли она праздно, поглаживая свои жесткие, негнущиеся митенки, похожие на проволочные ящики для хранения мяса, или рысила к неведомой цели, опираясь на стремя из бумажной пряжи, — она неизменно являла собой пример безмятежной кротости, и, глядя на нее, оставалось только предположить, что это голубиная душа, которую шаловливая природа заключила в земную оболочку хищной птицы.

Ее способность рыскать по дому просто поражала. Как ухитрялась она попадать из одного этажа в другой, казалось неразрешимой загадкой. Дико было бы подумать, что столь благовоспитанная особа, связанная родственными узами с высшим кругом, станет прыгать через перила лестницы или съезжать по ним; а между тем изумительная легкость, с какой она перемещалась, наводила именно на эту нелепую мысль. Вызывало удивление и еще одно свойство миссис Спарсит — она никогда не спешила. Кубарем скатившись с чердака в сени, она появлялась там без малейших признаков суетливости или одышки. И ни единое человеческое око ни разу не видело, чтобы она ускорила шаг.

Она сильно благоволила к мистеру Хартхаусу и имела с ним несколько весьма приятных бесед. Однажды утром, вскоре после своего прибытия, повстречав его в саду, она церемонно присела перед ним и сказала:

— Как будто только вчера это было, сэр, что я удостоилась чести принимать вас в банке и вы пожелали узнать адрес мистера Баундерби!

— Этот случай, могу вас заверить, навеки запечатлен в моей памяти, — сказал мистер Хартхаус, томно склонив голову в ответ на реверанс миссис Спарсит.

— Мы живем в странном мире, сэр, — проговорила миссис Спарсит.

— По лестному для меня совпадению, я имел честь высказать схожую мысль, хоть и выраженную не столь афористически.

— Да, сэр, в странном мире, — продолжала миссис Спарсит, предварительно в знак благодарности за комплимент сдвинув темные брови, что придало ее лицу выражение несколько отличное от елейных звуков ее голоса. — Это особенно относится к тому обстоятельству, что временами мы завязываем близкое знакомство с людьми, которых в другие времена не знали вовсе. Я припоминаю, сэр, наш первый разговор с вами: вы сказали тогда, что положительно опасаетесь встречи с мисс Грэдграйнд.

— Ваша память оказывает мне больше чести, нежели заслуживает моя скромная особа. Я воспользовался вашими любезными указаниями, и это помогло мне преодолеть мою боязнь, — нет нужды добавлять, что они были безупречно точны. Талант миссис Спарсит во всех делах, требующих точности, подкрепленный незаурядной силой духа и высоким происхождением, обнаруживает себя столь часто, что его нельзя не признать бесспорным. — Мистер Хартхаус чуть не заснул, произнося сей замысловатый мадригал — так лениво он растягивал слова и так далеки были его мысли от того, что он говорил.

— Мисс Грэдграйнд... ах, как я глупа! — никак не могу привыкнуть называть ее миссис Баундерби... показалась вам такой юной, какой я описала ее? — вкрадчиво спросила миссис Спарсит.

— Вы превосходно нарисовали ее портрет, — отвечал мистер Хартхаус. — Разительное сходство.

— Много обаяния, сэр, — сказала миссис Спарсит, медленно потирая свои митенки.

— Чрезвычайно много.

— Всегда существовало мнение, — сказала миссис Спарсит, — что мисс Грэдграйнд не хватает живости характера. Но, признаюсь, я просто поражена, до какой степени она с этой стороны переменилась к лучшему. А вот и мистер Баундерби! — вскричала миссис Спарсит, усиленно и многократно кивая головой, словно только о нем и думала и говорила все это время. — Как вы себя чувствуете, сэр? Прошу вас, будьте веселы, сэр.

Настойчивые усилия миссис Спарсит утолить его страдания и облегчить его бремя уже возымели свое действие и привели к тому, что он мягче обычного обращался с ней и жестче обычного с другими людьми, начиная со своей жены. Так, когда миссис Спарсит нарочито бодрым голосом заметила: «Вам пора завтракать, сэр; надо думать, мисс Грэдграйнд скоро спустится и займет свое место за столом», — мистер Баундерби

ответил: «Вы отлично знаете, сударыня, что, ежели я стал бы дожидаться, пока моя жена проявит заботу обо мне, я прождал бы до второго пришествия; поэтому я попрошу вас похозяйничать вместо нее». Миссис Спарсит повиновалась и как встарь принялась разливать чай.

Это напоминание о прошлом опять-таки повергло сию достойную женщину в крайнюю степень умиления.

Вместе с тем она не заносилась, а напротив, как только Луиза вошла в комнату, тотчас же встала и смиренно стала уверять, что и помыслить не могла бы при нынешних обстоятельствах занять это место за столом, хоть ей и нередко выпадала честь кормить завтраком мистера Баундерби, прежде нежели мисс Грэдграйнд... виновата, она хотела сказать мисс Баундерби... ей очень стыдно, но, право же, она никак не может привыкнуть к новому имени мисс Грэдграйнд, однако твердо надеется в скорости приучить себя к нему — заняла положение хозяйки. Единственно лишь по той причине (сказала она), что мисс Грэдграйнд случайно несколько замешкалась, а время мистера Баундерби столь драгоценно, и она издавна знает, как важно для мистера Баундерби, чтобы завтрак был подан минута в минуту, она взяла на себя смелость выполнить требование мистера Баундерби, поскольку его воля всегда была для нее законом.

— Довольно! Можете не продолжать, сударыня, — прервал ее мистер Баундерби. — Не трудитесь! Я думаю, миссис Баундерби только рада будет, ежели вы избавите ее от хлопот.

— Не говорите так, сэр, — возразила миссис Спарсит даже с некоторой строгостью, — вы обижаете миссис Баундерби. А обижать кого-нибудь — это на вас не похоже, сэр.

— Будьте покойны, сударыня, никакой обиды не будет. Тебя ведь это не огорчает, Лу? — с вызовом обратился мистер Баундерби к жене.

— Конечно, нет. Пустяки! Какое это может иметь значение для меня?

— Какое это вообще может иметь значение, миссис Спарсит, сударыня? — сказал мистер Баундерби, начиная закипать от обиды. — Вы, сударыня, придаете слишком большое значение таким пустякам. Погодите, здесь вас научат уму-разуму. Вы слишком старомодны, сударыня. Вы отстали от века, не поспеваете за детьми Тома Грэдграйнда.

— Что с вами? — с холодным удивлением спросила Луиза. — Чем вы недовольны?

— Недоволен! — повторил Баундерби. — Как ты думаешь — ежели я был бы недоволен чем-нибудь, я умолчал бы об этом и не потребовал, чтобы было сделано по-моему? Я, кажется, человек прямой. Не хожу вокруг да около.

— Вероятно, никто еще не имел повода заподозрить вас в чрезмерной застенчивости или излишнем такте, — спокойно отвечала Луиза. — Я, во всяком случае, ни разу не упрекнула вас в этом ни до замужества, ни после. Не понимаю, чего вы хотите?

— Чего хочу? — переспросил Баундерби. — Ровно ничего. Иначе, — как тебе, Лу Баундерби, досконально известно, — я, Джосайя Баундерби из Кокстауна, добился бы своего.

Он ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. Луиза вспыхнула и посмотрела на него с презрительной гордостью, — еще одна перемена в ней, как не преминул отметить мистер Хартхаус.

— Я отказываюсь понимать вас, — сказала она. — Пожалуйста, не трудитесь объяснять свое поведение. Меня это не интересует. Не все ли равно?

На этом разговор оборвался, и немного погодя мистер Хартхаус уже весело болтал о разных безобидных предметах. Но с этого дня влияние миссис Спарсит на мистера Баундерби все сильнее способствовало еще большей близости между Луизой и Джеймсом Хартхаусом, что в свою очередь уводило ее все дальше от мужа и укрепляло опасный союз против него с другим человеком, который завоевал ее доверие шаг за шагом столь неприметно, что она при всем желании не могла бы объяснить, как это случилось. Но было ли у нее такое желание или нет — об этом знало только ее сердце.

Размолвка супругов за столом так потрясла миссис Спарсит, что после завтрака, подавая мистеру Баундерби шляпу в сенях, где они были одни, она запечатлела на его руке целомудренный поцелуй, шепнув: «Мой благодетель!», и удалилась, сраженная горем. И однако — факт неопровержимый и неотъемлемый от сего повествования — не успел он выйти из дому в вышеозначенной шляпе, как представительница рода Скэджерс и свойственница Паулеров, потрясая правой митенкой перед его портретом, прошипела: «Поделом тебе, болван! Очень, очень рада».

Вскоре после ухода мистера Баундерби явился Битцер. Он приехал на поезде, — который мчал его, громяхая и лязгая, по длинной череде виадуков, над заброшенными и действующими угольными копиями, — с посланием из Каменного Приюта. Короткая записка извещала Луизу, что миссис Грэдграйнд тяжело больна. Луиза не помнила, чтобы мать ее когда-нибудь была здорова; но в последние дни она очень ослабела, этой ночью ей становилось все хуже и хуже, и теперь она, быть может, уже покинула бы сей мир, если бы не ее крайне ограниченная способность проявить хоть тень решимости перейти из одного состояния в другое.

Сопровождаемая белесым банковским рассыльным, чья бескровная физиономия как нельзя лучше подходила стражу у врат смерти, куда стучалась миссис Грэдграйнд, Луиза, пронесясь под грохот и лязг над угольными копиями, заброшенными и действующими, была стремительно ввергнута в дымную пасть Кокстауна. Она отпустила вестника несчастья и одна поехала в отчий дом.

Со времени своего замужества она почти не бывала там. Отец ее обычно находился в Лондоне, на государственном свалочном дворе, именуемом парламентом, где усердно просеивал свою кучу шлака, из которой он (сколько можно было судить) извлекал не очень-то много ценных предметов; отсутствовал он и сейчас. Мать ее, почти не встававшая с дивана, в любом посетителе видела прежде всего помеху; к младшей сестренке Луизу не тянуло — она не любила и не умела общаться с детьми; Сесси она оттолкнула от себя с того самого дня, когда дочь циркового клоуна подняла глаза и посмотрела в лицо нареченной мистера Баундерби. Ничто не манило ее в родное гнездо, и она лишь изредка навещивалась туда. И теперь, приближаясь к нему, она не отдавалась ни одному из тех светлых впечатлений, какие должен вызывать вид отчего дома. Детские грезы, легкие волшебные мечты, прекрасные, чарующие, столь человеческие небылицы, которыми юное воображение украшает нездешний мир, — как сладостно верить им ребенком, как сладостно вспоминать о них в зрелые годы; ибо тогда малейшая из них вырастает у нас в душе в образ великого Милосердия, которое пускает к себе детей и не препятствует им приходить к нему, дабы они на каменистых путях мира сего чистыми руками насаждали цветущий сад — и счастливее были бы все чада Адамовы, если бы они почаще грелись там на солнце, бесхитростно и доверчиво, забыв на время свою житейскую мудрость, — что было до этого Луизе? Память о том, как она, подобно миллионам других безгрешных существ, шла к тому малому, что знала, волшебной стезей надежд и мечтаний; как Разум, впервые явившийся ей в мягком свете сказочных грез, был для нее благосклонный бог, терпящий подле себя других, столь же великих богов, а не свирепый идол, жестокий и равнодушный, немой истукан, вперивший незрячий взор в свои связанные по рукам и ногам жертвы, который ничто не может подвигнуть, кроме точно вычисленной подъемной силы в столько-то тонн, — что было до этого Луизе? Ее память о родном доме и детстве была памятью о том, как в ее юной душе, едва забив, иссякали все свежие ключи. Золотых вод там не было. Они струились не здесь, они орошали край, где с терновника собирают виноград и с репейника смокву.

Холодная, тяжелая тоска сжимала ей сердце, когда она вошла в дом и

отворила дверь в спальню матери. С тех пор как Луиза покинула Каменный Приют, Сесси жила там на правах члена семьи. Она и сейчас сидела подле больной, и Джейн, сестренка Луизы, девочка лет двенадцати, тоже была здесь.

Нелегким делом оказалось объяснить миссис Грэдграйнд, что перед ней ее старшая дочь. Она полулежала на диване, лишь по давней привычке сохраняя свою обычную позу, если вообще можно говорить о позе в применении к столь беспомощному существу. Она решительно отказалась лечь в постель, на том основании, что если она ляжет, то ей никогда покою не будет.

Ее слабый голос, едва слышно доносившийся из недр намотанных на нее шалей, казался таким далеким, и звуки обращенных к ней голосов так долго совершали путь до ее ушей, словно она покоилась на дне глубокого колодца, где, как известно, лежит Истина. Бедная женщина и впрямь была сейчас ближе к Истине, чем когда-либо в жизни.

Когда ей сообщили о приходе миссис Баундерби, она невпопад ответила, что ни разу, с тех пор как он женился на Луизе, не назвала его этим именем и так как она еще не придумала сколько-нибудь пристойной замены, она зовет его просто Дж. — и не станет она сейчас изменять этому правилу, потому что покамест еще ни на чем не остановила свой выбор. Луиза несколько минут просидела подле матери и несколько раз с ней заговаривала, прежде нежели та поняла наконец, кто здесь. Но после этого больная сразу пришла в себя.

— Ну, моя дорогая, — сказала миссис Грэдграйнд, — я надеюсь, что ты довольна своей жизнью. Это дело рук твоего отца. Таково было его желание. Что ж, ему виднее.

— Я пришла узнать, как ваше здоровье, мама, а не рассказывать о себе.

— Узнать о моем здоровье? Вот это новость, что кто-то интересуется мной. Плохо мне, Луиза. Слабость, голова кружится.

— Вас мучают боли, мама?

— Боли? Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, — отвечала миссис Грэдграйнд, — но я не могу утверждать с уверенностью, что это моя боль.

Произнеся эти странные слова, она умолкла и откинулась на подушки. Луиза, державшая ее за руку, уже не чувствовала под пальцами биения пульса; но когда она поднесла руку к губам, она заметила, что жизнь тоненькой ниточкой трепещет в ней.

— Ты очень редко видишь свою сестру, — сказала миссис Грэдграйнд. — Она становится похожа на тебя. Погляди-ка сама. Сесси,

подведи ее.

Девочка подошла и протянула старшей сестре руку. Луиза, когда входила в комнату, обратила внимание, что Джейн обнимает Сесси за шею, и теперь отметила про себя это различие.

— Видишь, какое сходство, Луиза?

— Да, мама. Она, правда, кажется, похожа на меня. Но только...

— Что? Да, да, я всегда это говорю, — с неожиданной силой воскликнула миссис Грэдграйнд. — И я теперь вспомнила. Я... я хочу кое-что сказать тебе, Луиза. Сесси, дружок, оставь нас одних на минутку.

Луиза уже выпустила руку сестры; сказала себе, что ее лицо никогда не было таким милым и ясным, как личико Джейн; почувствовала, не без горькой обиды — даже здесь и в такой час, — что оно чем-то напоминает то, другое лицо — прелестное лицо с доверчивыми, кроткими глазами, бледное от бессонных тревожных ночей у постели больной и казавшееся еще бледней из-за пышных темных волос.

Оставшись наедине с матерью, Луиза наклонилась над ней и увидела в ее чертах торжественное спокойствие, словно ее уносило полноводным потоком и она, уже не сопротивляясь более, рада была отдаться течению. Луиза опять поцеловала прозрачную руку умирающей и окликнула ее:

— Вы хотели что-то сказать мне, мама.

— Что? Да, да, дорогая, сейчас. Ты ведь знаешь, отец твой почти всегда теперь в отлучке, и потому я должна написать ему об этом.

— О чем, мама? Не волнуйтесь. Скажите мне, о чем?

— Ты, должно быть, помнишь, милая, что стоило мне выразить свое мнение о чем-нибудь — все равно о чем, — мне уже не было покою. И потому я давным-давно решила молчать.

— Говорите, мама, я слышу вас, — Но только пригнувшись к самому лицу матери и напряженно следя за шевелившимися губами, могла она уловить какую-то связь в ее невнятных, отрывочных словах.

— Ты много училась, Луиза, — и ты и твой брат. Сплошь одни ологии с утра до вечера. Ежели есть на свете какая-нибудь ология, которую в этом доме не истрепали до дыр, то я надеюсь, что никогда не узнаю, как она называется.

— Я слышу вас, мама, — повторила Луиза. — Говорите, если только вы в силах. — Она чувствовала, что мать уже уносит течением.

— Но есть что-то — никакая не ология, а совсем другое — и это, Луиза, отец твой упустил или запаматовал. Я не знаю, что это. Когда Сесси сидит со мной, я часто об этом думаю. Мне не вспомнить, как оно называется. Но отец твой может узнать. Вот что меня волнует. Я хочу

написать ему, пусть он, ради бога, узнает, что это такое. Дай мне перо, дай мне перо.

Но и для волнения уже не оставалось сил, и только ее бедная голова тихо двигалась на подушке.

Ей, впрочем, казалось, что просьба ее исполнена и что перо, которое она не могла бы удержать, у нее в руке. Не стоит гадать, какие причудливые, лишённые смысла письма чертили ее пальцы на платках и шальных. Рука внезапно остановилась; слабый свет, всегда лишь тускло мерцавший позади бледного транспаранта, погас; и даже миссис Грэдграйнд, вознесенную из полутьмы, в которой человек ходит подобно призраку и напрасно суетится^[56] осенил величавый покой мудрецов и патриархов.

Глава X

Лестница миссис Спарсит

Ввиду того, что нервы миссис Спарсит укреплялись крайне медленно, сия достойная женщина вынуждена была провести чуть ли не месяц в усадьбе мистера Баундерби, где, вопреки тяге к подвижничеству, проистекавшей из похвального понимания своего нынешнего, более скромного места в мире, она героически соглашалась жить, так сказать, припеваючи, катаясь как сыр в масле. Все время, пока длился ее отдых от забот хранительницы банка, миссис Спарсит являла собой пример стойкости и постоянства, упорно выражая мистеру Баундерби в лицо столь горячее сочувствие, какое редко выпадает на долю смертного, и бросая в лицо его портрету «болван» с величайшей язвительностью и презрением.

Мистер Баундерби, уверовав со всем пылом своей взрывчатой натуры в прозорливость миссис Спарсит — почуяла же она, что его не ценят по заслугам в собственном доме (в чем это выражалось, он еще не додумался), — и, кроме того, угадывая, что Луиза воспротивилась бы частым визитам миссис Спарсит, если вообще допустима мысль о противодействии его могучей воле со стороны Луизы, — решил не упускать миссис Спарсит из виду надолго. И потому, когда состояние ее нервов позволило ей возвратиться к одиноким трапезам в банке, он накануне ее отъезда сказал ей за обедом:

— Вот что, сударыня: пока стоит хорошая погода, вы будете приезжать сюда по субботам и оставаться до понедельника. — На что миссис Спарсит, не будучи, впрочем, магометанкой, отвечала в том смысле, что, мол, «слушаю и повинуюсь».

Нельзя сказать, чтобы миссис Спарсит была женщиной поэтического склада и, однако, в ее воображении возникла некая аллегория. Вероятно, упорная слежка за Луизой и длительные раздумья над ее непонимаемым поведением, до предела отточив острый ум миссис Спарсит, послужили трамплином для этой вдохновенной идеи. Она мысленно воздвигла громадную лестницу, у подножия которой зияла темная пропасть позора и гибели; и по этой-то лестнице, ниже и ниже, день ото дня, час от часу спускалась Луиза.

Для миссис Спарсит весь смысл жизни свелся к тому, чтобы, глядя на лестницу, злорадно наблюдать, как по ней сходит Луиза: то медленно, то быстро, иногда шагая сразу через несколько ступенек, иногда

останавливаясь, но только не возвращаясь вспять. Повороты она хоть раз обратно, миссис Спарсит умерла бы от тоски и горя.

По ее наблюдениям спуск совершался непрерывно до того дня и в самый день, когда последовал вышеизложенный приказ мистера Баундерби еженедельно посещать его. Миссис Спарсит была в приподнятом настроении и потому не прочь завести беседу.

— Прошу вас, сэр, — ежели вы позволите мне задать вопрос относительно предмета, о котором вы предпочитаете умалчивать, что, разумеется, с моей стороны просто дерзость, ибо все, что вы делаете, вы делаете обдуманно, — слышно ли что-нибудь новое об ограблении банка?

— Нет, сударыня, покамест ничего. Да я и не жду так скоро. Рим строился не один день, сударыня.

— Ваша правда, сэр, — сказала миссис Спарсит, качая головой.

— И даже не одну неделю, сударыня.

— Верно, верно, сэр, — с грустью поддакнула миссис Спарсит.

— А мне и не к спеху, сударыня, — сказал Баундерби, — могу и подождать. Ежели Ромул и Рем^[57] могли ждать, Джосайя Баундерби может ждать не хуже их. Хотя им в детстве и лучше жилось, чем мне. У них волчица была за кормилицу, а у меня волчица была всего только за бабку. Молока она не давала, сударыня. Зато очень больно лягалась. Точь-в-точь, как олдернейская корова.

— О-о! — Миссис Спарсит, содрогнувшись, тяжело вздохнула.

— Нет, сударыня, — продолжал Баундерби, — я больше ничего не слышал об этом деле. Но им занимаются; и Том Грэдграйнд-младший, который, кстати сказать, в последнее время усердно работает, чего за ним прежде не водилось — не проходил он *моей* выучки, — хорошо помогает мне. Я рассудил так: помалкивай, пусть думают, что все заглохло. Под рукой делай что хочешь, но виду не показывай, не то полсотни их стакнется между собой и так спрячет этого сбежавшего жулика, что его и не найдешь. Знай себе помалкивай, и мало-помалу воры перестанут остерегаться, и тут-то мы их и накроем.

— Весьма хитроумно, сэр, — заметила миссис Спарсит. — И чрезвычайно интересно. А та старуха, сэр, о которой вы...

— Та старуха, сударыня, еще не в наших руках, — сухо оборвал ее Баундерби, не видя повода для хвастовства в этом разговоре. — Но ручаюсь вам, она от нас не уйдет — об этом старая ведьма может не беспокоиться. А покуда, сударыня, ежели вам угодно знать мое мнение, то чем меньше мы будем говорить о ней, тем лучше.

После обеда миссис Спарсит, отдыхая от сборов в дорогу, из окна

своей комнаты видела, как Луиза еще ниже спускается по роковой лестнице.

Она сидела в саду, в беседке, и очень тихо разговаривала с мистером Хартхаусом; он стоял, так близко наклонившись к ней, что почти касался лицом ее волос. «А может быть, и не почти!» — сказала миссис Спарсит, донельзя напрягая свои ястребиные глаза. Расстояние было слишком велико, и миссис Спарсит не слышала ни единого слова из их беседы, и даже о том, что они вообще что-то говорили, она могла только догадываться по выражению их лиц; а говорили они вот что:

— Вы помните этого человека, мистер Хартхаус?

— Отлично помню!

— Его лицо, и как он держался, и что сказал?

— Помню. И по правде говоря, впечатление он произвел на меня самое мрачное. Унылый субъект и скучный до крайности. Не без хитрости, однако, — этакая смиренная добродетель. Но, уверяю вас, пока он разглагольствовал, я невольно подумал: «Ну, братец ты мой, пересаливаешь!»

— Мне очень трудно подозревать этого человека в чем-нибудь дурном.

— Дорогая моя Луиза — как вас называет Том — (никогда Том ее так не называл), вы знаете что-нибудь хорошее о нем?

— Нет, конечно.

— Или о ком-нибудь другом из этих людей?

— Откуда? — спросила она таким тоном, каким уже давно не говорила с ним, — ведь я ровно ничего об этих людях не знаю.

— Тогда соблаговолите, моя дорогая Луиза, выслушать почтительнейшие разъяснения вашего преданного друга, который кое-что знает о некоторых разновидностях своих превосходнейших ближних, ибо я охотно верю, что они превосходнейшие люди, невзирая на присущие им маленькие слабости, как, например, — не упускать того, что плохо лежит. Этот человек много рассуждает. Все люди рассуждают. Он ратует за высокую нравственность. Сколько угодно шарлатанов ратуют за высокую нравственность. От палаты общин до уголовной тюрьмы — повсюду одни ревнители нравственности. Только в наших рядах их нет, и в этом особенная прелесть нашей партии. Вы сами видели и слышали, с чего все началось. Перед вами был человек — из тех, что вечно в пуху, — недовольный своим жребием, и мой глубокоуважаемый друг, мистер Баундерби, который, как нам известно, не обладает деликатностью, способной смягчить ожесточение таких людей, обошелся с ним весьма круто. Рабочий этот был обижен, зол, он вышел из вашего дома сердито

ворча, встретил кого-нибудь, кто предложил ему участвовать в налете на банк, согласился, спрятал свою долю в пустой дотоле карман и почувствовал огромное облегчение. Право же, вместо самого обыкновенного малого, он оказался бы человеком необыкновенным, не воспользуйся он таким удобным случаем. А, может быть, если у него хватило смекалки, он и сам это дело устроил.

— Мне почему-то кажется, — сказала Луиза после короткого раздумья, — что я поступаю дурно, соглашаясь с вами, хотя ваши слова снимают камень с моей души.

— Я говорю только то, что подсказывает мне логика; вот и все. Я неоднократно беседовал об этом деле с моим другом Томом — между нами, понятно, по-прежнему царит полное доверие, — и мы оба одного и того же мнения. Угодно вам пройтись?

Они ушли рука об руку в глубь сада и затерялись среди дорожек, уже едва различимых в сгущающихся сумерках, и не ведала Луиза, что спускается все ниже, ниже, ниже по лестнице миссис Спарсит.

День и ночь блюла миссис Спарсит свою лестницу. Когда Луиза перешагнет последнюю ступеньку и пропасть поглотит ее, пусть лестница рухнет вслед за ней; но до тех пор она должна стоять, прочная, внушительная, перед мысленным взором миссис Спарсит. И на ней — Луиза, всегда и неизменно. И всегда и неизменно она скользит вниз, вниз, вниз!

Миссис Спарсит вела счет всем посещениям Джеймса Хартхауса; она запоминала все, что слышала о нем; она приглядывалась к лицу, которое и он изучал; она так же, как и он, подмечала тончайшие перемены в нем, видела, когда оно хмурится, когда светлеет; ее черные широко открытые глаза без тени сострадания, без грусти, жадно следили за тем, как одинокая фигура, не удерживаемая ничьей дружеской рукой, неуклонно приближалась к подножью этой новой Лестницы Гигантов^[58].

Сколь ни почитала миссис Спарсит мистера Баундербри — в отличие от чувств, которые внушал ей его портрет, — она не имела ни малейшего намерения остановить этот спуск. Предвкушая желанный конец его, она тем не менее не торопила события, а терпеливо ждала, когда созреет обильная жатва, дабы полнее насладиться плодами трудов своих. Окрыленная надеждой, затаив дыхание, она не отводила настороженного взора от лестницы и лишь изредка грозила правой митенкой (с заключенным в ней кулаком) спускающейся по ступенькам одинокой фигуре.

Глава XI

Ниже и ниже

Одинокая фигура спускалась по роковой лестнице медленно, но неуклонно, увлекаемая, словно тяжелый груз в глубокой воде, на дно черной пропасти.

Мистер Грэдграйнд, уведомленный о кончине своей жены, прибыл из Лондона и похоронил ее очень спокойно и деловито. Затем он немедленно возвратился к своей куче шлама и снова принялся просеивать ее в поисках потребного ему хлама, пуская пыль в глаза другим мусорщикам, ищущим потребного им хлама — короче говоря, вернулся к своим обязанностям парламентария.

Между тем миссис Спарсит бодрствовала и бдела. Разлученная со своей лестницей всю неделю железнодорожным полотном, отделяющим Кокстаун от усадьбы мистера Баундерби, она продолжала, как кошка за мышью, следить за Луизой через посредство ее мужа, брата, Джеймса Хартхауса, надписей на конвертах и посылках, — словом, через посредство всех одушевленных и неодушевленных предметов, приближающихся к лестнице в любое время дня или ночи. «Твоя нога уже на последней ступеньке, красавица моя, — говорила миссис Спарсит, мысленно обращаясь к Луизе и грозя ей митенкой, — и все твои искусные увертки меня не обманут».

Однако было ли то искусство или природа, истинная сущность Луизы или воздействие внешних обстоятельств, но ее удивительная сдержанность сбивала с толку, хоть и подзадоривала даже такую проницательную особу, как миссис Спарсит. Бывали дни, когда мистер Джеймс Хартхаус терял уверенность в ней. Бывали дни, когда он ничего не мог прочесть на лице, которое так долго изучал, когда эта беззащитная молодая женщина казалась ему более непроницаемой, нежели любая светская львица, окруженная когортой верных рыцарей.

Так время шло, пока однажды дела мистера Баундерби не потребовали его отлучки из дому дня на три, на четыре. Была пятница, когда он в банке сообщил о своем отъезде миссис Спарсит и добавил:

— Но вы, сударыня, все равно завтра поедете ко мне. Вы поедете туда, как обычно, точно я и не уезжал. Не будет никакой разницы. Все будет как при мне.

— Прошу вас, сэръ, — отвечала миссис Спарсит с упреком, —

убедительно прошу вас, не говорите так. Без вас или с вами — для меня огромная разница, и вы, сэр, отлично это знаете.

— Ну что ж делать, сударыня, придется вам уж как-нибудь обойтись без меня, — сказал польщенный Баундерби.

— Мистер Баундерби, — отвечала миссис Спарсит, — ваше желание для меня закон; иначе я, быть может, склонялась бы к тому, чтобы послушаться вашего милостивого приказа, поскольку я не уверена, что со стороны мисс Грэдграйнд меня ждет такая же радушная встреча, к какой меня приучило ваше щедрое гостеприимство. Но ни слова больше, сэр. — Раз вы меня приглашаете, я поеду.

— Надеюсь, — сказал мистер Баундерби, удивленно тараща глаза, — других приглашений, кроме моего, вам не требуется?

— Нет, сэр, конечно, нет, — отвечала миссис Спарсит, — надеюсь, что нет. Ни слова больше, сэр. Как я желала бы снова видеть вас веселым.

— Что вы хотите сказать, сударыня? — воскликнул Баундерби.

— Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — я не вижу в вас былой резвости, о чем горько сокрушаюсь. Будьте жизнерадостны, сэр!

В ответ на такую своеобразную просьбу, да еще подкрепленную сострадательным взглядом, мистер Баундерби мог только почесать затылок, сооротив при этом довольно глупую мину, и в отместку за свое смущение все утро энергично придирался к своим подчиненным и клиентам помельче.

— Битцер, — сказала миссис Спарсит в тот же день, после того как банк закрылся уже в отсутствие хозяина, — передайте мистеру Томасу-младшему мой привет и что я прошу его прийти сюда и вместе со мной отведать бараньих котлет с ореховой подливкой и выпить стаканчик ост-индского эля. — Мистер Томас-младший редко отказывался от подобных приглашений, а посему Битцер воротился с его любезным согласием, и тотчас же явился и сам Том.

— Мистер Томас, — сказала миссис Спарсит, — вот моя скромная трапеза — не соблазнитесь ли?

— Спасибо, миссис Спарсит, — отвечал щенок. И хмуро принялся за еду.

— Как поживает мистер Хартхаус, мистер Том? — осведомилась миссис Спарсит.

— Ничего, — отвечал Том.

— А где он сейчас? — спросила миссис Спарсит тоном светской беседы, мысленно посылая щенка ко всем фуриям за его необщительность.

— Охотится в Йоркшире, — сказал Том. — Прислал Лу корзинищу

дичи величиной чуть ли не с церковь.

— За такого джентльмена, как он, можно поручиться, что он хороший стрелок! — елейно сказала миссис Спарсит.

— Бьет без промаха, — сказал Том.

Том уже давно имел обыкновение не смотреть людям в глаза, а в последнее время эта черта в нем так усугубилась, что он и трех секунд подряд не мог выдержать ничьего взгляда. Поэтому миссис Спарсит, пожелай она только, могла бы сколько угодно рассматривать его лицо.

— Я питаю слабость к мистеру Хартхаусу, — сказала миссис Спарсит, — как, впрочем, почти все. Можно надеяться вскоре опять увидеть его, мистер Том?

— Я-то думаю увидеть его завтра, — отвечал щенок.

— Чудесно! — проворковала миссис Спарсит.

— Мы условились, что я вечером встречу его на вокзале, а потом мы, должно быть, вместе пообедаем. В усадьбу он не поедет на этих днях, ему куда-то нужно в другое место. По крайней мере так он говорил; но я не удивлюсь, если он останется здесь до понедельника и все-таки заглянет туда.

— Ах, кстати! — воскликнула миссис Спарсит. — Не будете ли вы так любезны передать кое-что вашей сестре, мистер Том?

— Ну что же, можно, — нехотя согласился щенок, — если только это не что-нибудь очень длинное.

— Просто я хочу засвидетельствовать мое почтение вашей сестре, — сказала миссис Спарсит, — и предупредить ее, что завтра, видимо, не стану докучать ей своим обществом, ибо я все еще несколько нервна, и уж лучше мне побыть в смиренном уединении.

— А-а, только-то, — отвечал Том. — Не беда, если я и позабуду сказать Лу, потому что сама она ни за что не вспомнит о вас.

Отплатив за угощение столь любезным комплиментом, он опять замолчал и безмолвствовал до тех пор, пока не кончился ост-индский эль; потом он сказал: «Ну, миссис Спарсит, мне пора идти!» — и ушел.

Назавтра, в субботу, миссис Спарсит весь день просидела у окна, глядя на входящих и выходящих клиентов, следя за почтальонами, наблюдая уличное движение, перебирая в уме всякую всячину, но превыше всего всматриваясь в свою лестницу. Под вечер она надела шляпку, завернулась в шаль и тихонько вышла — у нее имелись свои причины тайком подкарауливать на вокзале поезд, который должен был привезти некоего пассажира из Йоркшира, а потому она не показывалась открыто, предпочитая выглядывать из-за колонн и углов и даже из окон дамской

залы.

Том уже был на месте и в ожидании поезда слонялся по вокзалу. Но поезд не привез мистера Хартхауса. Том не уходил, пока не рассеялась толпа пассажиров и не кончилась обычная в таких случаях суета; потом подошел к расписанию поездов, а затем навел справки у носильщиков. После этого он лениво поплелся с вокзала, постоял немного, оглядывая улицу, снял шляпу, снова надел ее, зевнул, потянулся, — словом, обнаруживал все признаки смертельной скуки, вполне естественной в человеке, которому предстоит час сорок минут дожидаться следующего поезда.

— Это подстроено нарочно, чтобы он не мешался, — сказала миссис Спарсит, отходя от мутного вокзального окна, откуда она напоследок подсматривала за Томом. — А Хартхаус сейчас с его сестрой!

То была вдохновенная догадка, наитие свыше, и миссис Спарсит стремительно принялась действовать. Вокзал, с которого отходил поезд в направлении усадьбы, помещался на другом конце города, времени оставалось в обрез, дорога была не из легких; в мгновение ока она завладела свободной каретой, молниеносно вскочила в нее, выскочила, сунула деньги кассиру, схватила билет, ринулась в вагон — и вот уже поезд мчит ее по виадукам над заброшенными и действующими угольными копями, словно неистовый вихрь закружил и унес ее.

Всю дорогу, столь же отчетливо, как черные глаза миссис Спарсит видели вечернее небо, разлинованное телеграфными проводами, точно огромная полоса нотной бумаги, ее черное внутреннее око видело лестницу, неотступно стоявшую перед ней, не обгоняемую поездом, и на ней сходящую вниз одинокую фигуру. Уже близка последняя ступень. До края пропасти — один шаг.

Пасмурный сентябрьский вечер, готовясь уступить место ночному мраку, из-под полуопущенных век следил за тем, как миссис Спарсит, выскользнув на маленькой станции из поезда, спустилась по деревянным ступенькам на выложенную камнем дорогу, пересекла ее и, углубившись в проселок, скрылась за зелеными ветками и пышной листвой живой изгороди. Запоздалое сонное чириканье пташек в двух-трех гнездах, летучая мышь, тяжело кружившая то сзади, то впереди, и густая пыль, которая поднималась из-под ее собственных ног, ступавших точно по плюшевому ковру, — вот и все, что видела и слышала миссис Спарсит, пока тихонько не притворила за собой калитку.

Прячась за кустами, она подобралась, к дому, обошла его, вглядываясь сквозь листву в нижние окна. Почти все они стояли настежь, как всегда в

теплую погоду, однако ни в одном из них не было огня и в доме царила полная тишина. Она обследовала сад, но столь же безуспешно. Вспомнила о роще — и крадучись свернула туда, не страшась ни высокой травы и шипов терновника, ни земляных червей, ни улиток, ни гусениц, ни прочих ползучих тварей. Выслав вперед свои черные глаза и крючковатый нос, она осторожно пробиралась по густому подлеску, так страстно стремясь к желанной цели, что она, надо думать, не отступила бы, если бы даже роща кишела гадюками.

Чу!

Малым пичужкам впору бы вывалиться из гнезда — так ярко вспыхнули во тьме глаза миссис Спарсит, когда она остановилась, напрягая слух.

Тихие голоса. Близко, рукой подать. Его голос и ее. Стало быть, верно, что встреча с Томом на вокзале — лишь уловка, чтобы он не мешал свиданью! Вон они там, у поваленного ствола.

Низко пригнувшись к росистой траве, миссис Спарсит подкралась поближе. Потом она выпрямилась и как Робинзон Крузо, из засады подстерегающий дикарей, стала за деревом — так близко к ним, что одним прыжком могла бы очутиться возле них. Ясно — он приехал сюда тайно и в доме не показывался. Он приехал верхом, очевидно полями, потому что лошадь его была привязана по ту сторону ограды, в трех шагах от них.

— Любовь моя, — говорил он, — как мог я поступить иначе? Зная, что вы одна, мог ли я не приехать?

«Опускай голову, сколько душе угодно, — подумала миссис Спарсит, — раз ты воображаешь, что это к тебе идет. Я лично не понимаю, что в тебе находят хорошего, даже когда ты поднимаешь ее. Но знала бы ты, любовь моя, чьи глаза на тебя смотрят!»

Голова ее и в самом деле была низко опущена. Она просила его уйти, требовала, чтобы он ушел, но она не поднимала глаз, не глядела на него. Вместе с тем — как не без удивления отметила притаившаяся в засаде симпатичная особа — она была спокойна и сдержанна ничуть не меньше, чем всегда. Она сидела неподвижно, точно изваяние, сложив руки на коленях, и даже речь ее звучала неторопливо.

— Дитя мое, — сказал Хартхаус, причем миссис Спарсит с восторгом увидела, что он обнял ее одной рукой, — неужели не дозволено мне немного побыть с вами?

— Не здесь.

— Где же, Луиза?

— Не здесь.

— Но у нас так мало времени, и нам так много нужно сказать друг другу, а я приехал издалека, и я так предан вам, и без ума от вас. Еще свет не видел раба столь преданного, ни госпожи столь жестокой. Я как солнца ждал вашего приветов, который всегда согревает мне душу, а вы обдаете меня ледяным холодом. У меня сердце разрывается!

— Нужно ли повторять, что здесь мне нельзя быть с вами?

— Но я должен видеть вас, Луиза, дорогая моя. Где мы встретимся?

Тут оба вздрогнули. Испуганно вздрогнула и та, что подслушивала, — ей почудилось, что кто-то еще прячется за деревьями. Но это зашумел дождь — крупные частые капли тяжело падали на землю.

— Не подъехать ли мне через несколько минут к крыльцу с самым невинным видом, предполагая, что хозяин дома и примет меня с распростертыми объятиями?

— Нет!

— Я безропотно повинуюсь вашему жестокому приказанию; но поистине нет несчастней меня на свете, ибо доселе ни одна женщина не возмущала мой покой, а кончилось тем, что я повержен к ногам самой прекрасной, самой обаятельной и самой властной из них. Дорогая моя Луиза, я не могу уйти, я вас не отпущу, пока вы не смените гнев на милость.

Миссис Спарсит видела, как он обнимал ее, слышала, жадно ловя каждое слово, как он говорил ей, что страстно любит ее, что ради нее с радостью поставит на карту всю свою будущность. Цели, которые он в последнее время преследовал, меркнут рядом с ней; успех, уже почти достигнутый им, он готов отвергнуть, ибо это прах по сравнению с ней. Но будет ли он продолжать здесь свое дело, дабы не удалиться от нее, или бросит его, если оно потребует разлуки с ней, или решится бежать с ней, если она даст на то согласие, или навеки сохранит их тайну, если такова ее воля, — что бы ни ждало его впереди, ему все равно, лишь бы она отдала свое сердце тому, кто почувствовал, понял, как она одинока, в ком она с первой встречи возбудила такое участие, такое восхищение, на какое он не считал себя способным, кого она подарила своим доверием, кто предан ей беззаветно и любит ее до безумия. Все это и еще многое другое слушала и запоминала миссис Спарсит, но усиливавшийся с каждой минутой дождь и первые раскаты грома заглушили его последние торопливые слова, а сама она так неистово злорадствовала, так смертельно боялась быть обнаруженной, что мысли ее путались, и когда, наконец, он перелез через ограду и ушел, ведя лошадь в поводу, она не могла бы сказать с уверенностью, где и на какой час назначено свидание, — кроме того, что

оно должно состояться в ту же ночь.

Но ушел только один, другая еще здесь, в темноте, и пока ее след не потерян, ошибки быть не может. «О любовь моя, — подумала миссис Спарсит, — знала бы ты, сколь зорко тебя охраняют!»

Миссис Спарсит видела, как она вышла из рощи, видела, как она скрылась в доме. Что делать дальше? Дождь не унимался. Чулки миссис Спарсит, когда-то белые, отливали всеми цветами радуги, преимущественно зеленым; в башмаки набились колючки; на ее платье то тут, то там качались гусеницы в самодельных гамаках; с ее шляпки и римского носа стекали ручейки. В таком плачевном виде стояла миссис Спарсит, притаившись за кустами, и размышляла — что же дальше?

Но вот — Луиза показывается на крыльце! В наспех накинутом плаще и шали, она уходит крадучись. Она решила бежать! Она упала с нижней ступеньки лестницы, и пропасть поглотила ее.

Точно не замечая дождя, она быстрым, твердым шагом углубилась в боковую аллею, пролежавшую рядом с подъездной дорогой. Миссис Спарсит, прячась в тени деревьев, шла за ней по пятам — нелегко в темную ненастную ночь удержать в поле зрения быстро удаляющуюся фигуру.

Когда Луиза остановилась и бесшумно затворила калитку, остановилась и миссис Спарсит. Когда она пошла дальше, пошла и миссис Спарсит. Луиза шла тем же путем, каким добиралась сюда миссис Спарсит, — миновала проселок между зелеными изгородями, пересекла мощеную дорогу и поднялась по деревянным ступенькам станции. Миссис Спарсит знала, что вскоре должен пройти поезд на Кокстаун; стало быть, подумала она, Кокстаун ее ближайшая цель.

Перепахканная, промокшая до нитки, миссис Спарсит могла бы и не тратить усилий, дабы изменить свой привычный облик; однако она, укрывшись под стеной станционного здания, иначе сложила свою шаль и повязалась ею поверх шляпки. После этого, не боясь быть узнанной, она тоже поднялась по деревянным ступенькам и взяла билет у маленького окошка. Луиза, дожидаясь поезда, сидела в одном углу. Миссис Спарсит сидела в другом.

Обе прислушивались к раскатам грома, к плеску воды, стекающей с крыши, к стуку дождевых капель по перилам виадука. Два-три фонаря погасли от дождя и ветра; тем ярче перед глазами обеих сверкало отражение молний, извиваясь и трепеща на стальных рельсах.

Предвещая прибытие поезда, по станционному зданию прошла дрожь, закончившаяся сердечным припадком. Огонь, пар, дым, красный свет; шипенье, грохот, звон колокола, пронзительный свисток; Луиза в одном

вагоне, миссис Спарсит — в другом; и опустевшая станция уже снова лишь черное пятнышко, затерянное в грозе и буре.

Невзирая на то, что у миссис Спарсит зуб на зуб не попадал от холода и сырости, радости ее не было границ. Одинокую фигуру поглотила пропасть, и миссис Спарсит казалось, что она провожает покойницу на кладбище. Могла ли она, которая столь деятельно способствовала торжественному погребению, не ликовать? «Она приедет в Кокстаун намного раньше него, — думала миссис Спарсит, — как бы он ни гнал свою лошадь. Где она будет ждать его? И куда они отправятся вместе? Терпенье. Поживем — увидим».

Когда поезд под неистовым ливнем прибыл к месту назначения, там царила невообразимая суматоха. Водосточные трубы лопнули, канавы были переполнены, улицы превратились в реки. Сойдя с поезда, миссис Спарсит первым делом обратила смятенный взор на стоявшие перед вокзалом кареты, которые брали с бою. «Она сядет в карету, — соображала она, — и уедет, прежде чем я достану другую, чтобы гнаться за ней. Пусть я угожу под колеса, но я должна увидеть номер и услышать, что она скажет кучеру».

Но миссис Спарсит ошиблась в своих расчетах. Луиза не села в карету и была уже далеко. Черные глаза теперь зорко следили за вагоном, из которого должна была выйти Луиза, но они вперились в него с опозданием на одну минуту. Удивляясь, что дверь вагона долго не отворяется, миссис Спарсит прошла мимо раз, другой, — ничего не увидела, заглянула внутрь и обнаружила, что там никого нет. Злополучная миссис Спарсит промокла насквозь, при каждом шаге вода хлупала и булькала в ее башмаках, лицо с чертами римской матроны словно сыпью усеяли капли дождя, шляпка превратилась в подобие переспелой фиги, платье было вконец испорчено, все как есть пуговики, крючки и петли отпечатались на ее высокородной спине, грязноватая пазелень покрывала ее с головы до ног, точно чугунную ограду в тесном переулке. Что ей оставалось? Только разразиться слезами бессильной злобы и горестно воскликнуть: «Упустила!»

Глава XII

На краю пропасти

Государственные мусорщики, потешив друг друга множеством шумных мелких схваток между собой, на время разъехались, и мистер Грэдграйнд проводил каникулы у себя, в Каменном Приюте.

Он сидел за письменным столом в комнате с убийственно точными часами и по всей вероятности что-то доказывал — должно быть, что добрый самаритянин^[59] был дурной экономист. Шум проливного дождя не мешал ему, однако все же привлекал его внимание, и он время от времени досадливо вскидывал голову, словно хотел отчитать непокорные стихии. При очень сильных раскатах грома он поглядывал в сторону Кокстауна — не ударила ли молния в одну из высоких фабричных труб.

Гроза удалялась — гром грохотал все реже и глуше, дождь лил ливнем, — как вдруг дверь его комнаты отворилась. Он слегка отклонился, чтобы свет настольной лампы не бил в глаза, и с изумлением увидел свою старшую дочь.

— Луиза?

— Отец, мне надо поговорить с вами.

— Что случилось? В каком ты виде? Боже мой! — воскликнул мистер Грэдграйнд в полном недоумении. — Неужели ты пришла пешком в такую грозу?

Она провела руками по своему платью, словно только сейчас заметила, что промокла. «Да». Потом откинула капюшон и, даже не взглянув на плащ, соскользнувший с ее плеч, стала перед отцом, бледная как полотно, со спутанными волосами, и в устремленном на него взоре был такой вызов и вместе с тем отчаяние, что он испугался.

— Что такое? Луиза, ради всего святого, скажи, что случилось?

Она упала в кресло подле него и коснулась холодной рукой его локтя.

— Отец, вы воспитали меня с колыбели?

— Да, Луиза.

— Лучше бы мне не родиться, чем такой жребий.

Он глядел на нее с ужасом, не веря своим ушам, и бессмысленно повторял: «Не родиться? Не родиться?».

— Как могли вы даровать мне жизнь и отнять у меня все неоценимые блага, без которых она не более чем сознательная смерть? Где сокровища

души моей? Где жар моего сердца? Что сделали вы, отец, с душистым садом, который некогда должен был расцвести в этой бесплодной пустыне?

Она обеими руками ударила себя в грудь.

— Если бы он здесь когда-нибудь цвел, один уж пепел его уберег бы меня от страшной пустоты, объявшей всю мою жизнь. Я не хотела так говорить с вами, но помните ли вы, отец, наш последний разговор в этой комнате?

Ее слова, столь неожиданные, так поразили его, что он едва выговорил:

— Помню, Луиза.

— Все, что вы сейчас слышите из моих уст, вы слышали бы тогда, если бы вы хоть на миг один протянули мне руку помощи. Я вас не виню, отец. Воспитывая меня, вы пренебрегли только тем, о чем никогда не пеклись и для самого себя. Но — ах! — если бы вы не упустили этого много, много лет назад или вовсе лишили меня своего попечения, насколько ныне я была бы лучше и счастливее!

Услышав такой укор — после его-то неусыпных забот! — он склонился головой на руку и громко застонал.

— Отец, если бы в тот день, когда мы в последний раз были здесь вдвоем, вы знали, чего я страшусь и что пытаюсь побороть в себе — как я с детства принуждала себя подавлять каждый естественный порыв своего сердца, — если бы вы знали, что в груди моей дремлют чувства, стремления, слабости, которые могли бы обернуться силой, не подвластные никаким расчетам и не более постижимые с помощью арифметики, нежели сам Творец, — отдали бы вы меня мужу, который мне теперь ненавистен? Он сказал:

— Нет. Нет, бедное дитя мое.

— Обрекли бы вы меня на губительный холод, изувечивший и ожесточивший меня? Отняли бы у меня — никого не обогащая, лишь усугубив запустенье мира сего — все невещественное, все духовное во мне, весну и лето моих верований, убежище от всего низменного и дурного вокруг меня, ту школу, в которой я научилась бы с большим смирением понимать зло окружающей жизни в надежде уменьшить его, хотя бы в своем малом, тесном кругу?

— Нет, нет! Нет, Луиза.

— Так знайте, отец: если бы я была лишена зрения и шла вслепую, ощупью находя свой путь, только осязая поверхность и форму предметов, но могла бы дать волю моему воображению, я и то была бы в тысячу раз мудрее, счастливее, чище, более человечна и более отзывчива на все

доброе, нежели сейчас, с моими зрячими глазами. А теперь слушайте, что я пришла сказать вам.

Она встала с кресла. Он тоже поднялся и, поддерживая ее, обнял одной рукой. Она положила свою руку ему на плечо и заговорила, глядя на него в упор:

— Тщетно надеясь хоть на мгновение утолить муки голода и жажды, томимая тоской по такой жизни, где господствуют не одни правила, цифры и точные определения, так я росла, отвоевывая каждую пядь своего пути.

— Дитя мое, как мог я знать, что ты несчастлива?

— Я всегда это знала, отец. В неустанной жестокой борьбе я едва не отреклась от моего доброго ангела, не дала ему обернуться демоном. Знания, приобретенные мной, оставили меня во власти неверия, ложных понятий, внушили мне презрительное равнодушие и сожаление о том, чего мне не дано было узнать; помощи я искала лишь в невеселой мысли, что жизнь скоро кончится и нет в ней ничего, за что стоило бы страдать и бороться.

— В твои-то годы, Луиза! — сказал он с жалостью.

— В мои годы, отец. Таковы были мои чувства и мысли — я ныне без страха, не таясь, показываю вам, насколько сама могу судить, как мертво и пусто было у меня на душе, — когда вы предложили мне мужа. Я дала согласие. Я никогда не обманывала ни вас, ни его, не притворялась, будто выхожу по любви. Я знала, и вы, отец, знали, и он знал, что я не люблю его. Отчасти я даже хотела этого брака, я надеялась, что это будет приятно и выгодно Тому. Я очертя голову погналась за химерой и только мало-помалу поняла, на что я польстилась. Но Том всю мою жизнь был для меня предметом нежных забот, вероятно потому, что я глубоко жалела его. Теперь уже ничего изменить нельзя, но, быть может, это побудит вас снисходительней отнестись к его проступкам.

Он держал ее в объятиях, а она, положив обе руки ему на плечи и все так же в упор глядя на него, продолжала:

— После того, как совершилось непоправимое, все во мне восстало против этого неравного брака и опять в душе моей поднялась борьба, еще более ожесточенная, чем прежде, ибо питалась она полной несообразностью наших двух натур, — и тут, отец, не помогут никакие общие законы, пока они не способны научить анатома, куда вонзить нож, чтобы вскрыть сокровенные тайны моего сердца.

— Луиза! — сказал он, сказал с мольбой, ибо хорошо помнил их последний разговор в этой комнате.

— Я вас не виню, отец; и я не жалуясь. Я не за тем пришла сюда.

— Что я могу сделать, дитя мое? Требуй всего, чего хочешь.

— Сейчас я скажу об этом. Отец, случай свел меня с новым знакомцем, — таких людей я еще не встречала в своей жизни: человек светский, благовоспитанный, держится легко, непринужденно; не лицемерит, открыто презирает все на свете — что я делала втайне и со страхом; он очень скоро дал мне почувствовать — сама не знаю, как и отчего это случилось, — что он понимает меня, читает мои мысли. Я не видела никаких причин считать его хуже себя. Мне казалось, что у нас с ним очень много общего. Меня только удивляло, почему он, безучастный ко всему, не безучастен ко мне.

— К тебе, Луиза?

Он невольно разжал было объятья, но почувствовал, что силы покидают ее, и увидел лихорадочный блеск ее расширенных глаз, пристально смотревших ему в лицо.

— Я не скажу ничего о том, что дало ему право притязать на мое доверие. Все равно каким путем, но он завоевал его. То, что вы, отец, теперь знаете о моем замужестве, вскоре стало известно и ему.

Лицо его посерело, и он крепко прижал ее к груди.

— Худшего я не сделала; я вас не опозорила. Но если вы меня спросите, любила ли я его, или люблю ли, говорю вам прямо, отец, — может быть, и так. Я не знаю.

Она внезапно сняла руки с его плеч и схватилась за сердце. Черты лица ее болезненно исказились, но она последним напряжением сил выпрямилась во весь рост и, дав волю столь долго подавляемым чувствам, договорила то, что решила сказать:

— Мой муж в отъезде, и сегодня вечером этот человек был со мной и объяснился мне в любви. Сейчас он ждет меня, ибо, только согласившись на свидание, я могла удалить его. Я не знаю, раскаиваюсь ли я; не знаю, стыжусь ли; не знаю, унижена ли я в собственных глазах. Но одно, отец, я знаю твердо: ваши теории, ваши поучения не спасут меня. Вы довели меня до этого. Найдите другие средства спасти меня!

Она пошатнулась, и он крепче обнял ее, чтобы она не упала, но у нее вырвался душераздирающий крик: «Не держите меня! Дайте мне лечь, не то я умру!» Он опустил ее на пол и увидел любимую дочь — свою гордость и радость, венец его системы воспитания — в беспамятстве распростертой у своих ног.

Конец второй книги

КНИГА ТРЕТЯ
«СБОР В ЖИТНИЦЫ»

Глава I

Иное на потребу

Луиза очнулась от забытья, с трудом приподняла тяжелые веки и увидела, что лежит на своей девичьей кровати в своей девичьей комнате. В первую минуту у нее мелькнула мысль, что все случившееся с той поры, когда и эта кровать и эта комната были столь привычны, просто померещилось ей во сне; но по мере того как взор ее явственнее различал знакомые предметы, недавние события явственнее проступали в ее сознании.

Голова у нее кружилась, виски нестерпимо ломило, воспаленные глаза болели, и она была так слаба, что едва могла шевельнуться. Ею овладело какое-то тупое безразличие ко всему, и даже присутствие своей сестренки она заметила не сразу. Уже после того, как взгляды их встретились и девочка, подойдя к постели, робко взяла сестру за руку, Луиза еще долго молча глядела на нее, прежде чем спросила:

— Когда меня привели в эту комнату!

— Вчера вечером, Луиза.

— Кто привел меня?

— Думаю, что Сесси.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что я утром застала ее здесь. Она сегодня не пришла, как обычно, будить меня; и я стала искать ее. Я думала, она в своей комнате, но ее там не оказалось; я искала по всему дому и, наконец, нашла ее здесь — она ухаживала за тобой, клала холодные примочки на лоб. Позвать папу? Сесси велела мне сказать папе, как только ты проснешься.

— Какое у тебя приветливое личико, Джейн! — шепнула Луиза, когда ее сестренка, все еще робея, нагнулась и поцеловала ее.

— Разве? Я рада, что ты так думаешь. Это все Сесси, конечно.

Рука, которую Луиза подняла было, чтобы обнять Джейн, опустилась.

— Можешь позвать папу. — Потом, удержав сестру еще на минуту, она спросила: — Это ты убрала комнату и сделала ее такой уютной?

— Нет, что ты, Луиза. Когда я пришла, все уже было готово. Это сделала...

Луиза отвернулась к стене и не стала больше слушать. Когда Джейн ушла, она опять поворотилась лицом к дверям и не спускала с них глаз, пока они не открылись и не вошел ее отец.

Лицо у него было осунувшееся, встревоженное, и рука, которую он протянул Луизе, — столь твердая обычно, — заметно дрожала. Он сел подле ее постели, ласково спросил, как она себя чувствует, настойчиво повторял, что ей необходим полный покой после пережитого накануне волнения и долгого пути под проливным дождем. Говорил он глухо, неуверенно, подыскивая слова, совсем не так, как бывало, сразу утратив свой диктаторский тон.

— Дорогая моя Луиза! Бедная моя дочь! — Тут он, сколько ни искал, не нашелся что сказать и окончательно умолк. Потом начал сызнава:

— Бедное дитя мое! — Но и на сей раз не сдвинулся с места и опять начал сызнава:

— Никакими словами, Луиза, не мог бы я выразить, как сильно я потрясен тем, что обрушилось на меня вчера вечером, Почва ушла у меня из-под ног. Единственный оплот, который казался мне — и посейчас еще кажется — незыблемым, как скала, рассыпался в одно мгновение. Это внезапное открытие сразило меня. Я думаю сейчас не о себе, но то, что произошло вчера вечером, для меня очень тяжелый удар.

Она ничего не могла сказать ему в утешение: ее собственная жизнь разбилась об эту скалу.

— Я не стану говорить о том, Луиза, что для нас обоих — для твоего и моего покоя — было бы лучше, ежели бы ты немного раньше вывела меня из заблуждения. Я хорошо понимаю, что, быть может, моя система недостаточно поощряла такого рода откровенность. Я доказал самому себе преимущества моей... моей системы воспитания и неуклонно придерживался ее; поэтому я должен нести ответственность за то, что она себя не оправдала. Я только прошу тебя верить, дорогая, что намерения у меня были самые лучшие.

Он говорил с чувством, и, надо отдать ему справедливость, говорил искренне. Измеряя бездонные глубины своей куцей линейкой, пытаясь охватить вселенную ржавым циркулем на негнущихся ножках, он думал совершить великие дела. Насколько позволяла короткая привязь, он усердно вытапывал цветы жизни, и делал это с большей убежденностью, нежели многие его мычащие соратники.

— Я верю вашим словам, отец. Я знаю, что я ваша любимая дочь. Я знаю, что вы хотели моего счастья. Я ни в чем не упрекаю вас, и никогда не упрекну.

Он взял ее протянутую руку и удержал в своей.

— Дорогая, я всю ночь просидел за своим столом, снова и снова возвращаясь мыслью к нашей вчерашней тягостной встрече. Когда я думаю

о тебе, о том, что ты годами скрывала от меня свою истинную натуру и я знаю ее всего несколько часов; когда я вдумываюсь в причину, заставившую тебя в конце концов открыть мне правду, — я теряю доверие к себе.

Он мог бы прибавить: «Когда я гляжу на обращенное ко мне лицо дочери». Вероятно, он это сделал мысленно, судя по тому, с какой нежностью он откинул упавшие ей на лоб волосы. Такое неприметное движение, столь естественное в других людях, для него было крайне необычно; и Луизе эта мимолетная ласка красноречивее слов сказала о его раскаянии.

— Но, Луиза, — запинаясь, продолжал мистер Грэдграйнд, явно страдая от охватившего его чувства беспомощности, — ежели я имею основания не доверять себе в том, что касается прошлого, я не имею права доверять себе и относительно настоящего и будущего. Признаюсь тебе чистосердечно — этого доверия у меня нет. Я отнюдь не убежден — каковы бы ни были мои взгляды всего двадцать четыре часа тому назад, — что я сумею оправдать надежды, которые ты возлагаешь на меня; что я в силах откликнуться на призыв о помощи, которую ты ищешь в родительском доме; что чутье — допустим на минуту существование такого душевного качества — подскажет мне, как найти способ возвратить тебе покой и вывести на правильный путь.

Она повернула голову и закрылась локтем, так что он не видел ее лица. Ее страстное отчаяние утихло; но она по-прежнему не плакала. Перемена, совершившаяся за одну ночь в ее отце, быть может, нагляднее всего сказалась в том, что он рад был бы видеть Луизу в слезах.

— Существует мнение, — продолжал он все так же неуверенно, — что есть мудрость ума и мудрость сердца. Я с этим не соглашался, но, как я тебе говорил, я уже себе не доверяю. Я считал, что достаточно мудрости ума; но могу ли я ныне утверждать это? Ежели то, чем я пренебрег, и есть мудрость сердца — то самое чутье, которого мне не хватает...

Он говорил с сомнением в голосе, словно и сейчас еще не желал соглашаться, что это именно так. Она ничего не отвечала ему и молча лежала на кровати, — почти такая же растерзанная и неподвижная, какой накануне лежала на полу в его кабинете.

— Луиза, дорогая, — и он снова коснулся рукой ее волос, — последнее время я мало бывал дома; и хотя твоя сестра воспитывалась по моей... системе, — на этом слове он каждый раз спотыкался, — все же ее придерживались менее строго, ибо по необходимости Джейн с ранних лет была окружена не только моими заботами. Я хочу спросить тебя, смиренно

признаваясь в моем невежестве, как ты думаешь — это к лучшему?

— Отец, — отвечала она, не поворачивая головы, — если кто-то пробудил в ее юной душе гармонию, которая безмолвствовала в моей, пока не зазвучала нестройно нефальшиво, то пусть она возблагодарит бога за то, что ей суждено больше счастья, чем выпало мне на долю.

— О дитя мое! — воскликнул он горестно. — Как больно мне слышать это от тебя! Что нужды в том, что ты меня не упрекаешь, когда я должен столь жестоко упрекать самого себя! — Он опустил голову и заговорил, понизив голос: — Луиза, я подозреваю, что здесь, в моем доме, мало-помалу многое изменилось одной лишь силой любви и горячей признательности; и то, что не было и не могло быть сделано одним умом, в тиши доделало сердце. Может ли это быть?

Она молчала.

— Я не стыжусь поверить этому, Луиза. К лицу ли мне гордость, когда я смотрю на тебя! Может это быть? Так ли это, дорогая?

Он еще раз бросил взгляд на свою дочь, неподвижно, словно обломок крушения, лежащую перед ним, и, не проронив больше ни слова, вышел из комнаты. Спустя несколько минут она услышала легкие шаги у дверей и почувствовала, что кто-то стоит подле нее.

Она не подняла головы. От мысли, что ее несчастье видят те самые глаза, чей взгляд некогда так глубоко уязвил ее, потому что в нем невольно — и увы, недаром, — отразился страх за нее, она испытывала глухую, но жгучую, как тлеющий огонь, обиду. Любая стихийная сила, если заключить ее в слишком, тесное узилище, становится пагубной. Воздух, который был бы благодатен для земли, вода, которая напоила бы ее, тепло, которое взрастило бы ее плоды, вырвавшись из заточения, разрушают ее. Так и в душе Луизы: самые сильные чувства ее, столь долго не находившие выхода, очерствели, и она упрямо отворачивалась от дружеского участия.

Хорошо, что на грудь ей легла ласковая рука, и хорошо, что она успела притвориться спящей. Нежное прикосновение не вызвало в ней гнева. Пусть рука лежит на ее груди, пусть лежит.

От мягкой ладони исходило тепло и покой; оживали мысли, уже не столь горькие. Под внимательным, полным сострадания взором сердце Луизы смягчилось, и глаза ее, наконец, увлажнились слезами. Она почувствовала, как к ее лицу прижалась мокрая от слез щека; она знала, что эти слезы о ней.

Когда Луиза открыла глаза — как будто она только что проснулась, — Сесси быстро выпрямилась и тихо стала у постели.

— Я вас не разбудила? Я пришла спросить, можно мне остаться с

вами?

— Зачем ты останешься со мной? Джейн будет скучать без тебя. Ты для нее — все.

— Вы думаете? — отвечала Сесси, с сомнением покачав головой. — Я хотела бы хоть чем-нибудь быть для вас, если бы вы позволили.

— Чем? — спросила Луиза почти сурово.

— Тем, в чем вы больше всего нуждаетесь, — если бы я сумела. Во всяком случае, я могла бы попытаться. Пусть сначала будет трудно, я все равно не отступлюсь. Позвольте?

— Это отец велел тебе спросить у меня?

— Нет, нет, — отвечала Сесси. — Он только сказал мне, что я могу войти к вам; а утром он велел мне уйти... то есть не то, что велел... — она замялась и умолкла.

— А что же? — спросила Луиза, испытующе глядя Сесси в лицо.

— Я сама решила уйти... я не знала, понравится ли вам, что я здесь.

— По-твоему, я тебя всегда ненавидела?

— Надеюсь, что нет, потому что я всегда вас любила; и мне всегда хотелось, чтобы вы об этом знали. Но незадолго до вашего отъезда из дому вы немного переменились ко мне. Это меня не удивляло. Вы так много знали, а я так мало, и вас ожидало знакомство с другими людьми. Так и должно было быть, и я не чувствовала ни огорчения, ни обиды.

Последние слова она произнесла скороговоркой, вся вспыхнув и потупя глаза. Луиза поняла, что Сесси щадит ее, и сердце у нее больно сжалось.

— Так можно мне попытаться? — спросила Сесси и, осмелев, подняла руку, чтобы обнять Луизу, видя, что та невольно тянется к ней.

Луиза сняла ее руку со своего плеча и, не выпуская ее, заговорила:

— Постой, Сесси. Ты знаешь, какая я? Я заносчива и озлоблена, ум мой в смятении, я так бесчувственна и несправедлива ко всем и к самой себе, что вижу одно только темное, жестокое, дурное. Это тебя не отталкивает?

— Нет!

— Я очень несчастлива, и все, что могло сделать меня счастливой, безнадежно захирело и зачахло, и если бы я до сей поры вовсе не имела разума, и не была бы такой ученой, какой ты меня считаешь, а, напротив, только начинала бы постигать самые простые истины, я и то меньше нуждалась бы в чьей-нибудь помощи, дабы обрести покой, радость, душевное благородство — все те блага, в которых мне отказано. Это тебя не отталкивает?

— Нет!

Такая горячая, неустрашимая любовь, такая беззаветная преданность переполняла сердце некогда брошенной девочки, что сияние ее глаз растопило лед в душе Луизы.

Она подняла руку Сесси и обеими ее руками обвила свою шею. Она упала на колени и, прильнув к дочери клоуна, смотрела на нее почти с благоговением.

— Прости меня, сжался надо мной, помоги мне! Не покинь меня в моей великой беде, дай мне приклонить голову на любящую грудь!

— Да, да! — вскричала Сесси. — Пусть так и будет, дорогая!

Глава II

Смешно и нелепо

Мистер Джеймс Хартхаус провел всю ночь и весь день обуянный столь лихорадочным нетерпением, что, пока длились эти сутки, высшему свету, даже сквозь самый сильный лорнет, ни за что бы не признать в нем легкомысленного братца прославленного остряка-парламентария. Он положительно был взволнован. Он несколько раз изъяснялся с почти вульгарной горячностью. Он приходил и уходил по непонятным причинам и без видимой цели. Он скакал сломя голову, как разбойник с большой дороги. Словом — он попал в такой переплет, что не знал, куда деваться от скуки, и начисто забыл, как должен вести себя человек, скучающий по всем правилам законодателей моды.

После того как он чуть не загнал лошадь, единым духом, в самую грозу, примчавшись в Кокстаун, он прождал всю ночь, то и дело яростно дергая звонок, обвиняя коридорного в сокрытии писем или извещений, которые не могли не быть вручены ему, и требуя немедленной выдачи их. Но пришел рассвет, пришло утро, а затем и день, и так как ни рассвет, ни утро, ни день не принесли никаких вестей, он поскакал в усадьбу. Там ему сообщили, что мистер Баундерби еще не возвращался из Лондона, а миссис Баундерби в городе; неожиданно уехала вчера вечером; и даже никто не знал, что она в Кокстауне, пока не было получено письмо, уведомлявшее о том, чтобы ее в ближайшее время не ждали.

Итак, ему не оставалось ничего иного, как последовать за ней в Кокстаун. Он отправился в городской дом банкира — миссис Баундерби здесь нет. Он зашел в банк — мистер Баундерби уехал, и миссис Спарсит уехала. Что? Миссис Спарсит уехала? Кому это вдруг так срочно понадобилось общество старой карги?

— Да не знаю, — сказал Том, у которого были свои причины пугаться внезапной отлучки миссис Спарсит. — Понесло ее куда-то сегодня рано утром. Всегда у нее какие-то тайны; терпеть ее не могу. И еще этого белесого малого; моргает и моргает, и глаз с тебя не сводит.

— Где вы были вчера вечером, Том?

— Где я был вчера вечером? Вот это мне нравится! Вас поджидал, мистер Хартхаус, пока не начался такой ливень, какого я лично еще не видел в моей жизни. Где я был! Вы лучше скажите, где были вы?

— Я не мог приехать, меня задержали.

— Задержали! — проворчал Том. — А меня не задержали? Меня так задержало напрасное ожидание вас, что я пропустил все поезда, кроме почтового. Ужасно приятно ехать почтовым в такую погоду, а потом шлепать до дому по лужам. Так и пришлось ночевать в городе.

— Где?

— Как где? В моей собственной постели, у Баундерби.

— А сестру вашу видели?

— Что с вами? — сказал Том, вытаращив глаза. — Как мог я видеть сестру, когда она была в пятнадцати милях от меня?

Мысленно кляня неучтивость юного джентльмена, к которому он питал столь искреннюю дружбу, мистер Хартхаус без всяких церемоний оборвал разговор и в сотый раз задал себе вопрос — что все это означает? Ясно только одно: находится ли она в городе или за городом, слишком ли он поторопился, понадеявшись на то, что, наконец, разгадал ее, испугалась ли она в последнюю минуту, или их тайна раскрыта, произошла ли какая-то глупейшая ошибка или непредвиденная помеха — он обязан дожидаться грядущих событий, что бы они ему ни сулили. Следовательно, гостиница, где, как всем было известно, он проживал, когда ему волей-неволей случалось пребывать в этом царстве тьмы, и будет тем колом, к которому он привязан. А в остальном — что будет, то будет. — И посему, — рассудил мистер Джеймс Хартхаус, — предстоит ли мне вызов на дуэль, или любовное свидание, или упреки кающейся грешницы, или драка тут же на месте, без соблюдения каких-либо правил, с моим другом Баундерби, — что, кстати сказать, весьма вероятно при сложившихся обстоятельствах, — я пока что все же пообедаю. У Баундерби несомненное превосходство в весе; и если между нами должно произойти нечто истинно английское, то не мешает быть в форме.

Итак, он позвонил и, небрежно развалившись на диване, заказал «обед к шести часам и чтобы непременно бифштекс», а оставшиеся до обеда часы попытался скоротать как можно лучше. Однако они не показались ему особенно короткими, ибо его мучила неизвестность, и по мере того как время шло и положение нисколько не разъяснялось, муки его возрастали как сложные проценты. Все же он сохранял хладнокровие в той степени, в какой это доступно человеческим силам, придумывая для развлечения всякие способы подготовиться к возможному единоборству. «Не плохо было бы, — думал он, позевывая, — дать лакею пять шиллингов и повалить его». И немного погодя: «А что, если нанять за почасовую плату парня, весом этак в центнер?» Но существенной пользы эти шутки не принесли — настроение его не улучшилось, а время тянулось нестерпимо медленно.

Еще до обеда невозможно было удержаться, чтобы не ходить взад-вперед по комнате, следуя за узором ковра, то и дело выглядывая в окно, прислушиваясь у дверей, не идет ли кто, и обливаясь потом каждый раз, как в коридоре раздавались чьи-нибудь шаги. Но после обеда, когда наступили сумерки, когда сумерки затем сгустились до мрака, а он по-прежнему не имел ни единой весточки, началось то, что он назвал про себя «медленной пыткой по системе Святой инквизиции^[60]». Однако, верный своему убеждению (единственному), что истинный аристократизм проявляется в равнодушии, он в эту критическую минуту потребовал свечей и газету.

После того как он с полчаса тщетно пытался сосредоточить свое внимание на газете, явился слуга и произнес с несколько таинственным и виноватым видом:

— Прошу прощения, сэр. Вас требуют, сэр.

Смутное воспоминание о том, что именно так полиция обращается к хорошо одетым жуликам, побудило мистера Хартхауса гневно спросить слугу, что, черт его возьми, значит «требуют?».

— Прошу прощения, сэр. Молодая леди здесь, хочет вас видеть.

— Здесь? Где?

— За дверью, сэр.

Обозвав слугу дубиной и послав его по уже упомянутому адресу, мистер Хартхаус кинулся в коридор. Там стояла совершенно незнакомая ему молодая девушка, очень скромно одетая, очень тихая, очень миловидная. Когда он ввел ее в комнату, где горело несколько свечей, и подал ей стул, он обнаружил, что она даже лучше, нежели ему показалось на первый взгляд. Ее совсем еще юное лицо было по-детски наивно и необычайно привлекательно. Она не робела перед ним и нисколько не смущалась. Видимо, мысли ее были полностью поглощены целью ее прихода, и о себе она вовсе не думала.

— Я говорю с мистером Хартхаусом? — спросила она, когда слуга вышел.

— Да, с мистером Хартхаусом. — И про себя добавил: «И при этом у тебя такие доверчивые глаза, каких я в жизни не видел, и такой строгий (хоть и тихий) голос, какого я в жизни не слыхал».

— Мне неизвестно, сэр, — сказала Сесси, — к чему вас, в других делах, обязывает честь джентльмена, — услышав такое начало, он покраснел как рак, — но я надеюсь, что вы сохраните в тайне и мой приход и то, что я вам сообщу. Если вы мне обещаете, что в этом я могу положиться на вас, я вам поверю на слово.

— Безусловно можете.

— Я молода, как видите; и я пришла одна. Никто не научил меня прийти, никто не посылал к вам — меня привела только надежда.

«Зато надежда твоя очень сильна», — подумал он, увидев выражение ее глаз, когда она на миг подняла их. И еще он подумал: «Очень странный разговор. Хотел бы я знать, чем он окончится».

— Я полагаю, — сказала Сесси, — что вы догадываетесь, с кем я только что рассталась.

— Вот уже сутки (а мне они показались вечностью), как я нахожусь в чрезвычайной тревоге из-за одной леди, — отвечал он. — Ваши слова подают мне надежду, что вы пришли от этой леди. Я не обманываюсь?

— Я оставила ее меньше часу тому назад.

— Где?

— В доме ее отца.

Физиономия мистера Хартхауса, невзирая на все его хладнокровие, вытянулась. «В таком случае, — подумал он, — я уж совсем не знаю, чем это кончится».

— Она приехала туда вчера вечером, вне себя от волнения. Она всю ночь пролежала в беспамятстве. Я живу в доме ее отца и целый день провела с ней. Могу вас уверить, сэр, что вы больше никогда ее не увидите.

Мистер Хартхаус только рот разинул; и тут же сделал открытие, что если бывают случаи, когда человек не находит слов, то такой случай, несомненно, произошел сейчас с ним. Полудетское простодушие его гостыи, спокойная смелость и прямота, с какой она говорила, не прибегая ни к каким ухищрениям, нимало не думая о себе, а только настойчиво, неуклонно добиваясь своей цели, — все это, да вдобавок доверие, с каким она приняла его так легко данное обещание молчать — от одного этого можно было сгореть со стыда, — было ему до такой степени внове, и он так ясно понимал, сколь бессильно здесь его обычное оружие, что решительно не знал, как отвечать ей.

Наконец он сказал:

— Такое неожиданное заявление, и выраженное столь решительно, да еще слышать его из ваших уст... признаюсь, вы меня ошеломили. Позвольте, однако, задать вам один вопрос: вы облекли свой приговор в эти беспощадные слова по поручению той леди, о которой мы говорим?

— Она ничего мне не поручала.

— Утопающий за соломинку хватается. Я отнюдь не сомневаюсь ни в верности ваших суждений, ни в вашей искренности, но я не могу отказаться от надежды, что еще не все погибло и что я не буду обречен на вечное изгнание.

— У вас нет ни малейшей надежды. Я пришла к вам, сэр, для того, чтобы, во-первых, заверить вас, что у вас столько же надежды увидеться с ней, как если бы она умерла вчера, когда воротилась домой...

— Заверить меня? А если я не могу этому верить? А если я от природы упрям и не хочу...

— Все равно, это так. Надежды нет.

Джеймс Хартхаус покосился на нее, скептически улыбаясь, но улыбка пропала даром, потому что Сесси на него не глядела.

Он ничего не сказал и, кусая губы, задумался.

— Ну что ж! — заговорил он немного погодя. — Если, к несчастью, окажется, что все мои усилия тщетны и я в самом деле изгнан от лица этой леди, то я, разумеется, не стану преследовать ее. Но вы сказали, что пришли без полномочий от нее?

— У меня одни только полномочия — моя любовь к ней и ее любовь ко мне. У меня одна только доверенность — с того часа, когда она вернулась домой, я не отходила от нее, и она открылась мне. У меня одно только право — я немного знаю, какова она и каков ее брак. Ах, мистер Хартхаус, ведь и вам она доверилась!

Такой страстный упрек прозвучал в ее голосе, что он почувствовал укол в том месте, где надлежало бы быть сердцу, а было только гнездо яиц-болтунов, тогда как там могли бы жить птицы небесные, если бы он не разогнал их свистом.

— Я не отличаюсь высокой нравственностью, — сказал он, — и никогда не выдаю себя за образец добродетели. Я человек вполне безнравственный. Однако если я причинил малейшее огорчение той леди, которая составляет предмет нашего разговора, или, по несчастью, в какой-то мере нанес ущерб ее доброму имени, или до такой степени забылся, что дерзнул выразить ей свои чувства, отчасти несовместимые с... ну, скажем, — святостью домашнего очага, если я воспользовался тем, что отец ее — машина, брат — щенок, а супруг — медведь, то прошу вас верить мне — я сделал это не по злему умыслу, а просто скользил со ступеньки на ступеньку так дьявольски плавно и незаметно, что и понятия не имел, как длинен перечень моих прегрешений. А между тем, — заключил мистер Джеймс Хартхаус, — когда я начинаю листать его, я вижу, что он занимает целые томы.

Хотя он проговорил все это своим обычным небрежным тоном, но на сей раз он, видимо, пытался навести некоторый глянец на довольно некрасивый предмет. Помолчав немного, он продолжал уже увереннее, однако все еще с оттенком обиды и раздражения, который никаким гляncем

не прикроешь.

— После всего сказанного вами и сказанного так, что у меня нет ни малейших сомнений в истинности ваших слов, — вряд ли я согласился бы столь безоговорочно признать достоверность другого источника — я считаю своим долгом, поскольку вы все знаете из первых рук, сообщить вам, что, пожалуй (как это ни неожиданно), мне не суждено больше встречаться с леди, о которой мы говорим. То, что дело приняло такой оборот, полностью моя вина... и... и могу лишь присовокупить, — заключил он, не зная, как половчее закончить свою тираду, — что не льщу себя надеждой когда-либо стать образцом добродетели, и вообще не верю, что таковые существуют.

Лицо Сесси ясно говорило о том, что выполнена еще не вся ее миссия.

— Вы сказали, — продолжал он, когда она подняла на него глаза, — в чем состоит первая цель вашего прихода. Следовательно, имеется вторая?

— Да.

— Пожалуйста, я вас слушаю.

— Мистер Хартхаус, — начала Сесси, и в голосе ее была такая смесь упорства и обезоруживающей мягкости, а в глазах столь простодушная вера в его готовность выполнить ее требование, что он чувствовал себя бессильным перед ней, — единственное, чем вы можете загладить свою вину, — это уехать отсюда немедленно и навсегда. Только так вы можете возместить причиненный вами вред, поправить содеянное вами зло. Я не говорю, что вашим отъездом все или хотя бы многое будет искуплено; но это лучше, чем ничего, и вы должны это сделать. А потому, не имея никаких полномочий, кроме тех, о которых я вам говорила, и даже без ведома кого бы то ни было, кроме вас и меня, я прошу вас уехать отсюда сегодня же и никогда больше не возвращаться.

Если бы она пустила в ход против него какое-либо оружие, помимо глубокой веры в истину и правоту своих слов; если бы она пыталась скрыть хоть тень сомнения или нерешительности, или прибегла к невинным предложениям и уверткам; если бы она хоть в малейшей степени дала ему понять, что замечает нелепость его роли, его негодующее изумление, или ждет от него отповеди, — он еще мог бы побороться с ней. Но он чувствовал, что поколебать ее так же немыслимо, как замутить ясное небо, устремив на него удивленный взор.

— Но знаете ли вы, чего вы требуете? — спросил он, окончательно потерявшись. — Вам, может быть, неизвестно, что я нахожусь здесь в качестве общественного лица и занят делом, правда глупейшим, — но тем не менее я взялся за него, и приносил присягу в верности ему, и

предполагается, что я предан ему душой и телом? Вам это, может быть, неизвестно, но уверяю вас, что это факт.

Факт или не факт — Сесси не дрогнула.

— Уже не говоря о том, — смущенно продолжал мистер Хартхаус, расхаживая по комнате, — что это до ужаса смешно. Бросить все по совершенно непонятным причинам, после того как я обязался помогать этим людям, — значит стать посмешищем в их глазах.

— Я убеждена, сэр, — повторила Сесси, — что это единственное, чем вы можете искупить свою вину. Не будь я так твердо в этом убеждена, я не пришла бы к вам.

Он взглянул на ее лицо и опять зашагал по комнате.

— Честное слово, я просто не знаю, что вам сказать. До чего же нелепо!

Пришла его очередь просить о сохранении тайны.

— Если бы я решился на такой смехотворный поступок, — сказал он, остановившись и опираясь на каминную полку, — то лишь при одном условии: чтобы это навсегда осталось между нами.

— Я доверяю вам, сэр, — отвечала Сесси, — и вы доверьтесь мне.

Ему вдруг припомнился вечер, который он некогда провел в этой комнате со щенком. Тогда он тоже стоял, прислонясь к камину, но ему почему-то казалось, что нынче щенок — это он сам. Он искал и не находил выхода.

— Думаю, что никто еще не попадал в такое дурацкое положение, — сказал он после довольно долгого молчания, во время которого он глядел в пол, и глядел в потолок, и усмехался, и хмурил брови, и отходил от камина, и снова подходил к нему. — Просто ума не приложу, как тут быть. Впрочем, что будет, то будет. А будет, видимо, вот что: придется мне, пожалуй, покинуть сии места, — словом, я обязуюсь уехать.

Сесси поднялась. Исход ее миссии не удивил ее, но она радовалась своей удаче, и лицо ее так и сияло.

— Позвольте заметить вам, — продолжал мистер Джеймс Хартхаус, — что едва ли другой посол, или, скажем, посланница так легко добилась бы у меня успеха. Я не только очутился в смешном и нелепом положении — я вынужден признать себя побежденным по всей линии. Могу я просить вас назвать себя, чтобы я имел удовольствие запомнить имя моего врага?

— *Мое* имя? — спросила посланница.

— Это единственное имя, которое сейчас может занимать мои мысли.

— Сесси Джуп.

— Не посетуйте на мое любопытство и разрешите на прощание задать

вам еще один вопрос: вы родня семейству Грэдграйнд?

— Я всего лишь бедный приемыш, — отвечала Сесси. — Мне пришлось разлучиться с моим отцом — он был всего лишь клоун бродячего цирка, — и мистер Грэдграйнд взял меня из милости. С тех пор я живу в его доме.

Она ушла.

Мистер Джеймс Хартхаус сперва окаменел на месте, потом с глубоким вздохом опустился на диван. Только этого недоставало для полного поражения. Разбит наголову! Всего лишь бедный приемыш... всего лишь бродячий клоун... а мистер Джеймс Хартхаус? Всего лишь отброшенная ветошь... всего лишь позорное фиаско величиной с пирамиду Хеопса.

Пирамида Хеопса натолкнула его на мысль о прогулке по Нилу. Он тотчас схватил перо и начертал (подходящими к случаю иероглифами) записку своему брату:

«Дорогой Джек! С Кокстауном покончено. Скука обратила меня в бегство. Решил взяться за верблюдов. Сердечный привет,
Джим».

Он дернул звонок.

— Пошлите моего слугу.

— Он уже лег, сэр.

— Велите ему встать и уложить вещи.

Он написал еще два послания. Одно мистеру Баундерби, в котором извещал его, что покидает сии края, и указывал, где его можно найти в ближайшие две недели. Другое, почти такого же содержания, мистеру Грэдграйнду. И едва успели высохнуть чернила на конвертах, как уже остались позади высокие фабричные трубы Кокстауна, и поезд, громохоча и лязгая, мчал его погруженными во мрак полями.

Люди высокой нравственности, пожалуй, вообразят, что мистеру Джеймсу Хартхаусу впоследствии приятно бывало вспомнить об этом спешном отбытии, которым он хоть отчасти загладил свою вину — что с ним случалось весьма редко. И вдобавок он вовремя унес ноги, ибо дело могло принять для него прескверный оборот. Однако вышло совсем по-иному. Мысль о том, что он потерпел неудачу и оказался в глупейшей роли, страх перед тем, как насмехались бы над ним другие повесы, если бы узнали о его злоключении, до такой степени угнетали его, что именно в этом, быть может, самом благородном своем поступке он не сознался бы ни за что на свете и только одного этого поступка искренне стыдился.

Глава III

Решительно и твердо

Неутомимая миссис Спарсит, в жестокой простуде, потеряв голос, поминутно сморкаясь и чихая так, что казалось, ее осанистая фигура вот-вот развалится на составные части, гонялась за своим принципалом, пока не настигла его в столице; она величественно вплыла к нему в гостиницу на Сент-Джеймс-стрит, запалила порох, коим была заряжена, и взорвалась. Выполнив свою миссию с истинным наслаждением, сия возвышенной души особа лишилась чувств на лацкане мистера Баундерби.

Мистер Баундерби первым делом стряхнул с себя миссис Спарсит и предоставил ей страдать на полу без посторонней помощи. Затем он пустил в ход сильнодействующие средства, как то: крутил ей большие пальцы, бил по ладоням, обильно поливал лицо водой и засовывал в рот поваренную соль. Когда благодаря столь трогательным заботам больная оправилась (что произошло незамедлительно), мистер Баундерби, не предложив ей подкрепиться ничем иным, спешно втолкнул ее в вагон курьерского поезда и еле живую привез обратно в Кокстаун. К концу путешествия миссис Спарсит являла собой небезынтересный образец античной руины; но ни в каком ином качестве она не могла бы притязать на восхищение, ибо урон, нанесенный ее внешнему облику, превзошел всякую меру. Однако ни плачевный вид ее туалета и ее самой, ни душераздирающее чиханье бедняги нимало не разжалобили мистера Баундерби, и он, не мешкая, запихнул античную руину в карету и помчал ее в Каменный Приют.

— Ну-с, Том Грэдграйнд, — объявил Баундерби, вломившись поздно вечером в кабинет своего тестя, — эта вот леди, миссис Спарсит — вы знаете, кто такая миссис Спарсит, — имеет сообщить вам нечто, от чего у вас язык отнимется.

— Мое письмо не застало вас! — воскликнул мистер Грэдграйнд, ошеломленный неожиданным визитом.

— Письмо не застало, сэр? — рявкнул Баундерби. — Сейчас не время для писем. Джосайя Баундерби из Кокстауна никому не позволит толковать ему о письмах, когда он в таком настроении, как сейчас.

— Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд с мягким упреком, — я говорю об очень важном письме, которое я послал вам относительно Луизы.

— А я, Том Грэдграйнд, — возразил Баундерби, со всего размаха

хлопая ладонью по столу, — говорю об очень важном известии, которое я получил относительно Луизы. Миссис Спарсит, сударыня, пожалуйте сюда!

Тщетные попытки злополучной свидетельницы извлечь хоть какие-нибудь звуки из своих воспаленных голосовых связок, сопровождавшиеся отчаянной жестикуляцией и мучительными гримасами, кончились тем, что мистер Баундерби, у которого лопнуло терпение, схватил ее за плечи и основательно потряс.

— Ежели вы, сударыня, не в состоянии выложить свои новости, — сказал Баундерби, — предоставьте это мне. Сейчас не время для особы, хотя бы и благородного происхождения и со знатной родней, стоять столбом и корчить рожи, как будто она глотает камушки. Том Грэдграйнд, миссис Спарсит довелось ненароком услышать разговор, происходивший в роще между вашей дочерью и вашим бесценным другом, мистером Джеймсом Хартхаусом.

— Вот как? — сказал мистер Грэдграйнд.

— Именно так! — крикнул Баундерби. — И в этом разговоре...

— Можете не передавать мне его содержание, Баундерби. Я знаю, о чем был разговор.

— Знаете? — спросил Баундерби, наскакивая на своего непостижимо спокойного и примирительно настроенного тестя. — Может быть, вы, кстати, знаете, где сейчас находится ваша дочь?

— Разумеется. Она здесь.

— Здесь?

— Дорогой Баундерби, прежде всего прошу вас умерить свое шумное поведение. Луиза здесь. Как только ей удалось освободиться от присутствия того человека, о котором вы упомянули, и чьим знакомством с вами, к моему глубочайшему сожалению, вы обязаны мне, она поспешила сюда, под мою защиту. Я сам только что возвратился из Лондона, когда она вошла в эту комнату. Она приехала в город поездом, бежала всю дорогу в грозу, под проливным дождем, и добралась до дому в почти невменяемом состоянии. Конечно, она осталась здесь. Убедительно прошу вас, ради вас самих и ради нее, успокойтесь.

Мистер Баундерби с минуту молча водил глазами во все стороны, но только не в сторону миссис Спарсит; затем, круто поворачотясь к злополучной племяннице леди Скэджерс, обратился к ней со следующими словами:

— Ну-с, сударыня! Мы были бы счастливы услышать от вас, чем вы надеетесь оправдать свое скаканье по всей стране, без другого багажа, кроме вздорных выдумок!

— Сэр, — просипела миссис Спарсит, — в настоящее время мои нервы так сильно расстроены и мое здоровье так сильно пострадало от усердия, с каким я вам служила, что я способна только искать прибежища в слезах.

(Что она и сделала.)

— Так вот, сударыня, — продолжал Баундерби, — отнюдь не желая сказать вам ничего такого, что не совсем удобно говорить особе из хорошей семьи, я, однако, позволю себе заметить, что, на мой взгляд, есть и еще одно прибежище для вас, а именно — карета. И поскольку карета, в которой мы приехали, стоит у крыльца, разрешите мне препроводить вас в онаю и отправить в банк; а там я вам советую сунуть ноги в горячую воду, какую только сможете терпеть, лечь в постель и выпить стакан обжигающего рома с маслом. — Тут мистер Баундерби протянул правую руку плачущей миссис Спарсит и повел ее к вышеозначенному экипажу, на пути к которому она то и дело жалобно чихала. Вскоре он воротился один.

— Ну-с, Том Грэдграйнд, — начал он, — я понял по вашему лицу, что вы желаете поговорить со мной. Так вот он я. Но предупреждаю вас, вряд ли этот разговор доставит вам удовольствие. История эта мне все равно очень и очень не нравится, и я должен сказать откровенно, что вообще не нашел в вашей дочери преданности и послушания, каких Джосайя Баундерби из Кокстауна вправе требовать от своей жены. У вас, я полагаю, свой взгляд на дело; а что у меня свой — я хорошо знаю. Ежели вы намерены оспаривать это мое мнение, лучше не начинайте.

Поскольку мистер Грэдграйнд держался более миролюбиво, нежели обычно, мистер Баундерби нарочно вел себя как можно воинственнее. Такой уж был у него симпатичный нрав.

— Дорогой Баундерби... — заговорил мистер Грэдграйнд.

— Прошу прощения, — прервал его Баундерби, — но я вовсе не желаю быть для вас слишком «дорогим». Это прежде всего. Когда я становлюсь кому-нибудь дорог, это обычно означает, что меня собираются надуть. Вы, вероятно, находите мои слова нелюбезными, но я, как вам известно, любезностью не отличаюсь. Ежели вам мила любезность, вы знаете, где ее искать. У вас имеются светские друзья, и они могут снабдить вас этим добром, сколько вашей душе угодно. Я такого товару не держу.

— Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд почти просительно, — всем нам свойственно ошибаться...

— А я-то думал, что вы непогрешимы, — опять прервал его Баундерби.

— Быть может, и мне так казалось. Но повторяю — всем нам

свойственно ошибаться. И я был бы вам весьма благодарен, ежели бы вы проявили немного такта и избавили меня от намеков на Хартхауса. Я не намерен в нашем разговоре касаться вашего дружеского к нему расположения или оказанного ему гостеприимства; прошу и вас не упрекать меня в этом.

— Я не произносил его имени! — сказал Баундерби.

— Пусть так, — отвечал мистер Грэдграйнд терпеливо и даже кротко. С минуту он сидел молча, задумавшись. — Баундерби, — сказал он, — у меня есть основания сомневаться, хорошо ли мы понимали Луизу.

— Кто это «мы»?

— Тогда скажем «я», — отвечал он на грубый вопрос Баундерби. — Я сомневаюсь, понимал ли я Луизу. Я сомневаюсь, вполне ли правильно я воспитал ее.

— Вот это верно, — сказал Баундерби. — Тут я с вами совершенно согласен. Наконец-то вы догадались! Воспитание! Я вам объясню, что такое воспитание: чтобы тебя взашей вытолкали за дверь и чтобы на твою долю доставались одни тумачи. Вот что я называю воспитанием.

— Я полагаю, — смиренно возразил мистер Грэдграйнд, — здравый смысл подскажет вам, что, каковы бы ни были преимущества такой системы, ее не всегда можно применять к девочкам.

— Не вижу, почему, сэр, — упрямо заявил Баундерби.

— Ну, хорошо, — со вздохом сказал мистер Грэдграйнд, — не будем углублять вопроса. Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания спорить. Я пытаюсь, насколько возможно, поправить дело; и я надеюсь на вашу добрую волю, на вашу помощь, Баундерби, потому что я в большом горе.

— Я еще не понял, куда вы гнете, — продолжая упираться, отвечал Баундерби, — и заранее ничего обещать не могу.

— Я чувствую, дорогой Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд все тем же примирительным и грустным тоном, — что за несколько часов лучше узнал Луизу, нежели за все предыдущие годы. Это не моя заслуга — меня заставили прозреть, и прозрение было мучительно. Думается мне — я знаю, Баундерби, мои слова удивят вас, — что характеру Луизы свойственны некоторые черты, которым не было уделено должного внимания, и... и они развивались в дурную сторону. И я... хочу предложить вам... действовать дружно... надо на время предоставить ее самой себе, окружив ее нежными заботами, чтобы лучшие ее качества могли взять верх... ведь от этого зависит счастье всех нас. Я всегда, — заключил мистер Грэдграйнд, прикрыв глаза рукой, — любил Луизу больше других моих детей.

Слушая эти слова, Баундерби побагровел и весь раздулся, точно его вот-вот должен был хватить удар. Однако, хотя даже уши у него пылали багровым огнем, он сдержал свой гнев и спросил:

— Вы бы хотели оставить ее на время у себя?

— Я... я думал посоветовать вам, дорогой Баундерби, чтобы вы позволили Луизе погостить здесь. При ней будет Сесси... я хотел сказать Сесилия Джуп... она понимает Луизу и пользуется ее доверием.

— Из всего этого, Том Грэдграйнд, — сказал Баундерби, вставая и глубоко засовывая руки в карманы, — я заключаю, что, по вашему мнению, между Лу Баундерби и мною, как говорится, нет ладу.

— Боюсь, что в настоящее время Луиза в разладе почти со всем... чем я окружил ее, — с горечью признался ее отец.

— Так вот, Том Грэдграйнд, — начал Баундерби; он еще пуще побагровел, еще глубже засунул руки в карманы и широко расставил ноги, а волосы у него стали дыбом от душившей его ярости и колыхались, словно трава на ветру. — Вы свое сказали; теперь скажу я. Я чистокровный кокстаунец. Я Джосайя Баундерби из Кокстауна. Я знаю камни этого города, я знаю фабрики этого города, я знаю трубы этого города, я знаю дым этого города, и я знаю рабочие руки этого города. Все это я знаю неплохо. Это осязаемые вещи. Но когда человек заговаривает со мной о каких-то несуществующих фантазиях, я всегда предупреждаю его — кто бы он ни был, — что знаю, чего он хочет. Суп из черепахи и дичь с золотой ложечки и карету шестеркой — вот чего он хочет. Вот чего хочет ваша дочь. Раз вы того мнения, что ей нужно дать все, чего она хочет, я предоставляю это вам, ибо, Том Грэдграйнд, от меня она ничего такого не дождется.

— Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд, — я надеялся, что после моих просьб вы перемените тон.

— Погодите минуточку, — возразил Баундерби, — вы, кажется, свое сказали. Я вас выслушал; теперь будьте добры выслушать меня. Хватит того, что вы мелете несусветную чушь — по крайней мере не нарушайте правил честной игры; хоть мне и горько видеть Тома Грэдграйнда в столь жалком состоянии, мне было бы вдвойне горько, ежели бы он пал так низко. Ну-с, вы дали мне понять, что между вашей дочерью и мною имеется некий разлад, так сказать, известное несоответствие. Так вот — я хочу дать вам понять, что безусловно налицо одно огромное несоответствие, которое заключается в том, что ваша дочь не умеет ценить редкие качества своего мужа и не чувствует, какую, черт возьми, он оказал ей честь, женившись на ней. Надеюсь, это ясно?

— Баундерби, — с упреком сказал мистер Грэдграйнд, — слова ваши

неразумны.

— Вот как? — отвечал Баундерби. — Весьма рад, что вы так думаете. Потому что, ежели Том Грэдграйнд, набравшись новой мудрости, находит мои слова неразумными, то, стало быть, они именно дьявольски разумны. Итак, я продолжаю. Вы знаете мое происхождение и знаете, что я годами не нуждался в рожке для башмаков по той простой причине, что башмаков у меня не было. Так вот — хотите верьте, хотите нет, но есть особы — особы благородной крови! — из знатных семейств — знатных! — готовые боготворить землю, по которой я ступаю.

Он выпалил это единым духом, точно пустил ракету в голову своему тестю.

— А ваша дочь, — продолжал Баундерби, — далеко не благородного происхождения. Вы это сами знаете. Я-то, как вам известно, плюю на такие пустяки; но тем не менее это факт, и вы, Том Грэдграйнд, ничего тут поделать не можете. Для чего я это говорю?

— Очевидно, не для того, чтобы сказать мне приятное, — вполголоса промолвил мистер Грэдграйнд.

— Выслушайте меня до конца и воздержитесь от замечаний, пока не придет ваш черед, — оборвал его Баундерби. — Я говорю это потому, что женщины высшего круга были поражены бесчувственностью вашей дочери и ее поведением. Они никак не могли понять, как я терплю это. Сейчас я и сам не понимаю, и больше этого не потерплю.

— Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд, вставая, — по-моему, чем меньше будет сказано нынче, тем лучше.

— А по-моему, Том Грэдграйнд, наоборот — чем больше будет сказано нынче, тем лучше. По крайней мере, — поправился он, — пока я не скажу всего, что я намерен сказать; а потом, пожалуйста, можем и прекратить разговор. Я сейчас задам вам вопрос, который, вероятно, ускорит дело. Что вы подразумеваете под вашим предложением?

— Что я подразумеваю, Баундерби?

— Под вашим предложением, чтобы Луиза погостила у вас? — спросил Баундерби и так тряхнул головой, что трава колыхнулась.

— Я считаю, что Луизе надо дать время отдохнуть и собраться с мыслями, и я надеюсь, что вы по-дружески позволите ей остаться здесь. От этого многое может измениться к лучшему.

— Сгладится несоответствие, которое вы вбили себе в голову? — сказал Баундерби.

— Ежели вам угодно так выразиться, да.

— Почему вы так решили? — спросил Баундерби.

— Как я уже говорил, я боюсь, что Луиза не была правильно понята. Неужели, Баундерби, вы находите чрезмерной мою просьбу, чтобы вы, будучи на много лет старше ее, помогли вывести ее на верный путь? Вы брали ее в жены на радость и горе...

Быть может, мистера Баундерби раздосадовало повторение слов, сказанных когда-то им самим Стивену Блекпулу, но он весь дернулся от злости и не дал мистеру Грэдграйнду закончить.

— Довольно! — сказал он. — Можете мне этого не говорить. Я не хуже вас знаю, на что я брал ее в жены. Об этом не тревожьтесь, это мое дело.

— Я лишь хотел заметить вам, Баундерби, что все мы можем быть в той или иной мере не правы, не исключая и вас; и ежели бы вы проявили известную уступчивость, это было бы не только истинно добрым поступком с вашей стороны, но, памятуя о том, что вы за Луизу в ответе, вам, быть может, следовало бы счесть это своим долгом перед ней.

— Не согласен! — загремел Баундерби. — Я намерен покончить с этим делом по-своему. Так вот: ссориться с вами, Том Грэдграйнд, я не желаю. Скажу вам откровенно, на мой взгляд ссориться по такому поводу — ниже моего достоинства. Что касается вашего великосветского друга, то пусть убирается, куда хочет. Ежели он мне попадется где-нибудь, я поговорю с ним по душам, не попадется — не надо, тратить на него время я не стану. А что до вашей дочери, которую я сделал Лу Баундерби, тогда как лучше бы мне оставить ее Лу Грэдграйнд, — то ежели завтра, ровно в полдень, она не воротится домой, я буду знать, что она не желает возвращаться, и отошлю ее платья и все прочее к вам, и впредь можете взять попечение о ней на себя. Как я объясню разлад между нами и принятые мною крутые меры? Очень просто: я Джосайя Баундерби и получил такое-то воспитание; она дочь Тома Грэдграйнда и получила этакое; в одной упряжке мы идти не можем. Я, кажется, достаточно известен как человек незаурядный; и большинство людей очень скоро сообразят, что далеко не всякая женщина может, в конечном счете, оказаться мне под стать.

— Я вас очень прошу, Баундерби, серьезно подумать, прежде чем вы примете окончательное решение, — сказал мистер Грэдграйнд.

— Я всегда быстро принимаю решения, — отвечал Баундерби, нахлобучивая шляпу, — и что бы я ни делал, я делаю немедленно. В другое время меня удивили бы такие слова Тома Грэдграйнда, обращенные к Джосае Баундерби из Кокстауна, которого он знает не со вчерашнего дня; но теперь никакая блажь не может удивить меня в Томе Грэдграйнде, раз он

ударился в чувствительность. Я объявил вам мое решение, и больше мне сказать нечего. Покойной ночи!

Итак, мистер Баундерби отбыл в свой городской дом и лег спать. На завтра, ровно в пять минут первого, он распорядился, чтобы имущество миссис Баундерби было аккуратно уложено и препровождено к Тому Грэдграйнду, а засим объявил о продаже своей усадьбы по частному соглашению и снова зажил холостяком.

Глава IV

Кто-то пропал

Между тем дело об ограблении банкирской конторы и раньше не было забыто и теперь по-прежнему занимало первенствующее место в мыслях ее владельца. Он спешил доказать миру, что никакие семейные передраги не могут умерить пыл и предприимчивость такого замечательного дельца, который сам вывел себя в люди, — этого чуда из чудес, перед которым поистине меркнет сама Венера, поскольку богиня вышла всего только из пены морской, а он вылез из грязи. Поэтому в первые недели своей безбрачной жизни он даже усердствовал пуще прежнего и ежедневно подымал такой шум, добиваясь поимки преступника, что ведущие расследование полицейские уже сами не рады были, что произошло ограбление.

К тому же они сплеховали, след был потерян. Несмотря на то, что сразу после кражи они притаились и выжидали и очень многие кокстаунцы искренне поверили, что розыск прекращен ввиду невозможности обнаружить вора, — нового не произошло решительно ничего. Ни одна из подозреваемых личностей не сделала опрометчивого шага, ни одна ничем не выдала себя. Более того — никто не знал, куда девался Стивен Блекпул, и тайна загадочной старушки тоже оставалась нераскрытой.

Видя, что дело основательно застряло, мистер Баундерби, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, решился на смелый шаг. Он составил уведомление, сулившее двадцать фунтов стерлингов тому, кто задержит Стивена Блекпула, предполагаемого соучастника ночной кражи со взломом, совершенной в кокстаунском банке такого-то числа; он со всеми подробностями описал его одежду, наружность, примерный рост, повадки, сообщил, при каких обстоятельствах и в какой день он покинул город и в какую сторону шел, когда его в последний раз видели; все это он дал отпечатать огромными буквами на больших листах бумаги; и под покровом ночи по его приказу эти объявления расклеили на стенах домов, дабы поразить ими сразу весь город.

Фабричным колоколам в то утро пришлось трезвонить во всю мочь, сзывая рабочих, которые в предрассветных сумерках толпились перед уведомлением, пожирая его глазами. С не меньшей жадностью смотрели на него те, кто не умел читать. Слушая, как другие читают вслух — такие услужливые добровольцы всегда находились, — они взирали на буквы,

содержащие столь важную весть, с почтением, почти со страхом, что показалось бы смешным, если бы на невежество в народе, в чем бы оно ни проявлялось, можно было смотреть иначе, как на великое зло, чреватое грозной опасностью. И еще много часов спустя, среди жужжанья веретен, стука станков и шороха колес, прочитанные слова маячили перед глазами и звучали в ушах, и когда рабочие снова вышли на улицу, перед объявлениями собрались такие же толпы, как утром.

В тот же вечер Слекбридж, делегат, должен был выступить на собрании; Слекбридж раздобыл у наборщика чистый оттиск уведомления и принес его с собой в кармане. О друзья мои и соотечественники, угнетенные кокстаунские рабочие, о мои сотоварищи по ремеслу, мои сограждане, братья мои и ближние мои, — какой шум поднялся, когда Слекбридж развернул то, что он назвал «клеймо позора», дабы все собравшиеся могли лицезреть его и негодовать. «О братья мои, глядите, на что способен предатель в стане бесстрашных борцов, чьи имена начертаны в священном свитке Справедливости и Единения! О друзья мои, влачащие на израненных выях тяжелое ярмо тирании, изнемогающие под железной пятой деспотизма, втоптаные в прах земной своими угнетателями, которые только и мечтают о том, чтобы вы, до скончания дней своих, ползали на брюхе, как змий в райском саду, — о братья мои — и да позволено будет мне, мужчине, добавить, — сестры мои! Что вы скажете ныне о Стивене Блекпуле — слегка сутулом, примерно пяти футов семи дюймов ростом, как записано в этом унижительном и постыдном уведомлении, в этой убийственной бумаге, в этом ужасном плакате, в этой позорной афише, и с каким праведным гневом вы изобличите и раздавите ехидну, которая покрыла бы срамом и бесчестием ваше богоподобное племя, если бы вы, к счастью, не исторгнули его навеки из своей среды? Да, соотечественники мои, — к счастью, вы исторгли его и прогнали прочь! Ибо вы помните, как он стоял перед вами, на этой трибуне; вы помните, как я спорил с ним здесь, лицом к лицу, как я сцепился с ним в жестокой схватке, как я разгадал все его хитрые увертки; вы помните, как он вилял, изворачивался, путал, прибегал ко всяким уловкам, пока, наконец, ему уже некуда было отступать, и я вышвырнул его вон, и отныне и впредь каждый, в ком живет дух свободы и разума, будет указывать на него обличительным перстом и жечь его огнем справедливого возмездия! А теперь, друзья мои, рабочий люд, — ибо я люблю это столь многими презируемое имя и горжусь им, — вы, что стелете себе жесткое ложе в поте лица своего и варите свою скудную, но честно заработанную пищу в трудах и лишениях, — скажите, кем ныне предстал перед вами этот подлый трус,

когда с него сорвана личина и он показал себя во всем своем неприкрытом уродстве? Вором! Грабителем! Беглым преступником, чья голова оценена; язвой, гнойной раной на гордом звании кокстаунского рабочего! И потому, братья мои, связанные священным товариществом, которое дети ваши и еще неродившиеся дети детей ваших скрепили печатью своих невинных рученок, я, от имени Объединенного Трибунала, неустанно пекущегося о вашем благе, неустанно ратующего за ваши права, вношу предложение: собрание постановило, что ввиду того, что кокстаунские рабочие уже торжественно отреклись от означенного в этой бумаге ткача Стивена Блекпула, его злодеяния не марают их чести и не могут бросить тень на все их сословие».

Так бушевал Слекбридж, со скрежетом зубовным и обливаясь потом. Несколько гневных голосов крикнули «нет!», десятка два поддержали энергичными «правильно!» предостерегающий голос, крикнувший: «Полегче, Слекбридж! Больно спешишь!» Но это были единицы против целой армии; собрание в полном составе приняло евангелие от Слекбриджа и наградило его троекратным «ура», когда он, пыхтя и отдуваясь, победоносно уселся на свое место.

Еще не успели рабочие и работницы, молча расходившиеся после собрания, добраться до дому, как Сесси, сидевшую подле Луизы, вызвали из комнаты.

— Кто там? — спросила Луиза, когда Сесси вернулась.

— Пришел мистер Баундерби, — отвечала Сесси, с запинкой произнося это имя, — и с ним ваш брат, мистер Том, и молодая женщина, ее зовут Рейчел, и она говорит, что вы ее знаете.

— Сесси, милая, что им нужно?

— Они хотят видеть вас. Рейчел вся заплаканная и, кажется, чем-то рассержена.

— Отец, — обратилась Луиза к бывшему в комнате мистеру Грэдграйнду, — я не могу не принять их. На то есть причина, которая со временем объяснится. Попросить их сюда?

Он ответил утвердительно, Сесси вышла, чтобы пригласить посетителей войти, и тотчас воротилась вместе с ними. Том вошел последним и остался стоять возле двери, в самом темном углу комнаты.

— Миссис Баундерби, — заговорил супруг Луизы, здороваясь с ней небрежным кивком головы, — надеюсь, я не помешал? Время несколько позднее для визитов, но эта женщина сделала заявление, вынудившее меня прийти. Том Грэдграйнд, поскольку ваш сын, Том-младший, из упрямства или еще почему-либо не желает ни подтвердить, ни оспорить это

заявление, я должен свести ее с вашей дочерью.

— Вы меня уже видели один раз, сударыня? — сказала Рейчел, становясь перед Луизой.

Том кашлянул.

— Вы уже видели меня, сударыня? — повторила Рейчел, так как Луиза не отвечала.

Том снова кашлянул.

— Да, видела.

Рейчел с торжеством повела глазами на мистера Баундерби и сказала:

— Не откажите, сударыня, сообщить, где вы меня видели и кто еще был при этом.

— Я была в доме, где жил Стивен Блекпул, в тот вечер, когда его уволили с работы, и там я вас видела. Он тоже был в комнате; и еще в темном углу пряталась какая-то старая женщина, но она все время молчала, и я едва разглядела ее. Со мной приходил брат.

— А почему ты этого не мог сказать, Том? — спросил Баундерби.

— Я обещал Луизе молчать. (Сестра его поспешила подтвердить эти слова.)

— А кроме того, — сердито продолжал щенок, — она так превосходно рассказывает всю историю, с такими подробностями, что чего ради я стал бы ей мешать?

— Позвольте спросить вас, сударыня, — продолжала Рейчел, — зачем вы нам на горе пришли в тот вечер к Стивену?

— Мне было жаль его, — покраснев, отвечала Луиза. — Я хотела узнать, что он будет делать, и предложить ему помощь.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал Баундерби, — весьма польщен и обязан.

— Вы хотели дать ему кредитку? — спросила Рейчел.

— Да. Но он отказался от нее и взял только два золотых по одному фунту.

Рейчел опять бросила взгляд на мистера Баундерби.

— Ну что ж! — сказал Баундерби. — Я вынужден признать, что ваше нелепое и более чем странное сообщение оказалось сущей правдой.

— Сударыня, — продолжала Рейчел, — нынче по всему городу, и кто знает, где еще! — расклеено уведомление, в котором Стивен Блекпул назван вором. Только сейчас кончилось собрание, где тоже не постыдились оклеветать его. Это Стивен-то вор! Когда честнее его, вернее, лучше человека на свете нет! — Гнев душил ее, и, не договорив, она разрыдалась.

— Я очень, очень вам сочувствую, — сказала Луиза.

— Ах, сударыня, — отвечала Рейчел, — надеюсь, что это так, но я не знаю! Откуда мне знать, что вы могли сделать. Вы нас не знаете, вам до нас дела нет, вы для нас чужие. Я не могу сказать, зачем вы приходили в тот вечер. Может быть, вы пришли с умыслом, а что из-за этого станется с бедным человеком, вот таким, как Стивен, — вам все равно. Я тогда сказала: «Благослови вас бог за то, что пришли», и сказала от чистого сердца, потому что поверила, что вы жалеете его; а теперь — я уж и не знаю. Нет, не знаю!

Луиза ничего не ответила на это несправедливое подозрение: слишком глубока была вера Рейчел в Стивена, слишком велико ее горе.

— И как я подумаю, — сквозь рыдания продолжала Рейчел, — что бедняга так был вам благодарен за вашу доброту, да вспомню, как он прикрыл рукой лицо, чтобы никто не видел, что у него слезы на глазах... Хорошо, сударыня, ежели вы вправду его жалеете и совесть у вас чиста, — но я ничего не знаю, ничего!

— Вот это мило, — проворчал щенок, переминаясь с ноги на ногу в своем темном углу. — Являетесь сюда с какими-то намеками! Выставить вас нужно за дверь, раз вы не умеете вести себя.

Рейчел не промолвила ни слова, и в наступившей тишине слышен был только ее тихий плач, пока молчание не прервал мистер Баундерби.

— Довольно! — сказал он. — Вы знаете, что вы обязались сделать. Вот и делайте, а остального не касайтесь.

— Мне и самой стыдно, что меня здесь видят такой, — сказала Рейчел, — но этого больше не будет. Сударыня, когда я прочла, что написано про Стивена, — а в том, что написано про него, столько же правды, как ежели бы это написали про вас, — я пошла прямо в банк, чтобы сказать, что я знаю, где Стивен, и могу поручиться, что через два дня он будет здесь. Но я не застала мистера Баундерби, а ваш брат выпроводил меня; тогда я стала искать вас, но не могла найти и воротилась на фабрику. А как кончилась работа, я побежала на собрание — послушать, что будут говорить про Стивена, — я-то ведь знаю, что он воротится и очистит себя! — а потом опять стала искать мистера Баундерби, и нашла его, и сказала ему все, что знала; а он ни одному моему слову не поверил и привел меня сюда.

— Все это суцая правда, — подтвердил Баундерби, который как вошел, так и стоял посреди комнаты, не сняв шляпы и засунув руки в карманы. — Но я не со вчерашнего дня знаком с такими, как вы, и хорошо знаю, что поговорить вы всегда готовы. Так вот, советую вам поменьше разговаривать, а лучше дело делать. Вы взяли на себя поручение; стало

быть, исполняйте его, и больше мне пока сказать нечего!

— Я послала Стивену письмо нынче с дневной почтой, — отвечала Рейчел, — и я уже писала ему один раз на этот адрес. Он будет здесь самое позднее через два дня.

— А я вот что вам скажу: вы небось и не догадались, что за вами тоже немного приглядывают, — возразил мистер Баундерби, — ведь и на вас отчасти падает подозрение. Уж так повелось, что людей судят по тому, с кем они знают. И про почту тоже не забыли. И могу вам сообщить, что ни единого письма Стивену Блекпулу послано не было. Что случилось с вашими письмами, сообразите сами. Может быть, вам только померещилось, что вы их написали.

— Сударыня, — сказала Рейчел, обращаясь к Луизе, — я получила от него одно-единственное письмо неделю спустя после его ухода. И в этом письме он написал мне, что ему пришлось искать работу под чужим именем.

— Ах, вот оно что! — вскричал Баундерби, мотая головой, и даже присвистнул. — Под чужим именем, да? Это, знаете ли, не очень ловко для такой невинной овечки. Суд не слишком доверяет ни в чем не повинным людям, ежели у них много имен.

— А что же ему, бедняге, оставалось делать? — сказала Рейчел со слезами на глазах, по-прежнему обращаясь к Луизе. — И хозяева против него и рабочие против него, — а он только хотел тихо и мирно работать, и жить, как велит совесть. Неужто нельзя человеку иметь свой ум и свое сердце? Неужто он непременно должен повторять все ошибки одной стороны или все ошибки другой, а иначе его затравят, как зайца?

— Поверьте, я от всей души жалею его, — отвечала Луиза, — и я надеюсь, что он оправдается.

— Об этом, сударыня, не тревожьтесь. Он человек верный.

— Уж такой верный, — сказал мистер Баундерби, — что вы отказываетесь сообщить, где он находится?

— Я не хочу, чтобы от меня узнали, где он. Я не хочу, чтобы ему ставили в вину, что его воротили силой. Он сам, своей волей, придет и оправдается, и посрамит всех, кто порочил его доброе имя, когда он даже не мог защитить себя. Я написала ему, что против него затеяли, и через два дня он будет здесь, — повторила Рейчел. Все попытки очернить Стивена разбивались о ее веру в него, как волны морские разбиваются о прибрежный утес.

— И однако, — присовокупил мистер Баундерби, — ежели удастся изловить его раньше двух дней, то он пораньше и оправдается. А против

вас лично я ничего не имею. Все, что вы мне сообщили, подтвердилось, я предоставил вам возможность доказать, что вы говорите правду, — и дело с концом. А теперь — спокойной ночи! Мне еще нужно кое в чем разобраться.

Как только мистер Баундербери повернул к двери, Том двинулся из своего темного угла, последовал за ним по пятам и вместе с ним вышел из комнаты. На прощанье он только угрюмо пробормотал: «Спокойной ночи, отец!» — и бросил в сторону Луизы исполненный злобы взгляд.

После крушения своих надежд мистер Грэдграйнд стал очень молчалив. Он не проронил ни слова и теперь, когда Луиза приветливо сказала Рейчел:

— Если вы ближе узнаете меня, вы перестанете относиться ко мне с недоверием.

— Я вообще не такая, чтобы людям не верить, — отвечала Рейчел, смягчаясь. — Но когда мне самой — никому из нас — не хотят верить, поневоле всякие мысли приходят на ум. Простите, ежели я вас понапрасну обидела. Сейчас я по-другому думаю. Но кто знает, может, и опять подумаю, — не могу я видеть, как беднягу шельмуют ни за что, ни про что.

— А вы написали ему, — спросила Сесси, подходя к Рейчел, — что подозрение пало на него главным образом потому, что его по вечерам видели возле банка? Лучше, чтобы он заранее знал, что ему нужно объяснить, тогда у него уже будет готов ответ.

— Написала, милая, — отвечала Рейчел. — Просто ума не приложу, зачем он туда наведывался. Никогда этого не бывало. И не по пути ему вовсе. Мы жили почти рядом, в другой стороне, и к банку и близко не подходили.

Сесси попросила Рейчел сказать, где она живет, — и можно ли ей прийти завтра вечером узнать, нет ли вестей от Стивена?

— Вряд ли он будет здесь раньше чем послезавтра, — отвечала Рейчел.

— Тогда я послезавтра еще раз приду, — сказала Сесси.

Когда Рейчел, условившись с Сесси, ушла, мистер Грэдграйнд поднял голову и сказал, обращаясь к дочери:

— Луиза, дорогая моя, я в жизни не видел этого человека. Ты веришь, что он причастен к ограблению?

— Раньше, кажется, верила, хотя и с трудом. А теперь не верю.

— Другими словами — ты убедила себя поверить этому, так как знала, что его подозревают. А каким он тебе показался — честным?

— Очень честным.

— И как она уверена в нем! А ежели не он украл, — задумчиво проговорил мистер Грэдграйнд, — знает ли настоящий виновник, кого обвиняют? Где он? Кто он?

За последнее время много седины прибавилось в его волосах. Когда он опять подпер голову рукой, осунувшийся, постаревший, Луиза, посмотрев на него с тревогой и жалостью, быстро подошла к нему и села рядом. В это мгновение она случайно встретилась глазами с Сесси. Сесси вздрогнула и покраснела, а Луиза приложила палец к губам.

На другой день, когда Сесси вечером воротилась домой и сказала Луизе, что Стивена нет, она сказала это шепотом. И еще через день, когда она опять пришла домой с той же вестью и прибавила, что о Стивене нет ни слуху ни духу, она тоже сообщила это тихим, испуганным голосам. После того взгляда, которым они обменялись, ни та, ни другая не произносила его имени вслух, не упоминала о нем; и, даже когда мистер Грэдграйнд заговаривал об ограблении банка, они старались отвлечь его от этого предмета.

Истекли назначенные два дня, истекли три дня и три ночи, а Стивен не воротился и не подавал вести о себе. На четвертый день Рейчел, уверенная, что письмо ее не доставлено Стивену, пришла в банк и показала письмо с его адресом — небольшой рабочий поселок в стороне от проезжей дороги, в шестидесяти милях от Кокстауна. Туда послали гонцов, и весь город ожидал, что завтра Стивена привезут.

Все это время щенок усердно помогал мистеру Баундерби в его розысках, неотступно, словно тень, следуя за ним по пятам. Он страшно волновался, был словно в лихорадке, грыз ногти до крови, голос у него стал хриплый, грубый, губы запеклись и почернели. На вокзале, в ожидании поезда, который должен был привезти обвиняемого, щенок предлагал всем побиться об заклад, что тот сбежал до приезда посланных за ним людей и не явится.

Щенок оказался прав. Гонцы возвратились одни: письмо Рейчел было послано, письмо Рейчел было доставлено, Стивен Блекпул тотчас исчез из поселка, и с тех пор ни одна душа ничего о нем не знает. В Кокстауне спорили только об одном: верила ли Рейчел, когда писала ему, что он воротится, или, напротив, предупредила его об опасности, чтобы он успел сбежать. В этом пункте мнения разделились.

Шесть дней, семь дней, уже шла вторая неделя. Злосчастный щенок расхрабрился и стал вести себя вызывающе. «Верно ли, что вор именно этот негодяй? О чем тут еще спрашивать! Если не он украл, то где же он, почему не возвращается?»

Где же он, почему не возвращается? В ночной тиши отзвук его собственных слов, который при свете дня разнесся бог весть как далеко, вернулся к нему и не оставлял его до самого утра.

Глава V

Кто-то нашелся

Прошли еще сутки, еще одни. Нет Стивена Блекпула. Где же он, почему не возвращается?

Каждый вечер Сесси навещала Рейчел в ее маленькой опрятной комнате. Целый день Рейчел работала, как вынужден работать трудовой люд, невзирая на все свои тревоги и горести. Дымовые змеи не заботились о том, кто пропал, а кто нашелся, кто оказался честным человеком, а кто — вором; страдающие тихим помешательством слоны, так же как и ревнители фактов, не изменяли заведенного порядка, что бы ни случилось. Прошли еще сутки, еще одни. Однообразие не нарушалось. Даже исчезновение Стивена Блекпула уже становилось привычным делом и не казалось большим дивом, нежели любая машина в Кокстауне.

— Уж теперь-то, — сказала Рейчел, — во всем городе небось и двадцати человек не осталось, кто еще верил бы, что бедняга ни в чем не виноват.

Она сказала это Сесси — они сидели вдвоем в комнате Рейчел при свете уличного фонаря на углу. Когда Сесси пришла, уже было темно, и она присела у окна, дожидаясь прихода Рейчел с работы; Рейчел застала ее там, и они остались сидеть у окна — их безрадостная беседа не нуждалась в более ярком свете.

— Ежели господь не послал бы мне вас, — продолжала Рейчел, — чтобы я могла хоть словом с вами перемолвиться, я бы, наверно, помешалась. Но с вами мне легче, все думаю — может, еще есть надежда; и вы, правда, верите, что хоть по видимости он виноват, а все-таки он выйдет чистым?

— Всем сердцем верю, — отвечала Сесси. — Не может быть, Рейчел, чтобы вы обманулись в нем, раз вы, несмотря ни на что, так твердо убеждены в его невиновности. Я верю в него не меньше, чем вы, хотя не знала его столько лет и не видела, как много ему пришлось испытать.

— А я, милая Сесси, — отвечала Рейчел, и голос ее задрожал, — все долгие годы видела, как он молча терпел, и знала, какая у него добрая и чистая душа, — и ежели я никогда больше о нем ничего не услышу и доживу до ста лет, я с последним вздохом скажу — богу ведомо мое сердце, — что я никогда, ни на одну минуту не теряла веры в Стивена Блекпула!

— Мы все, Рейчел, в Каменном Приюте, убеждены, что рано или поздно с него снимут подозрение.

— Вот когда я слышу от вас, милая, что вы все так думаете, — сказала Рейчел, — и вы сами, по доброте своей, приходите посидеть со мной и утешаете меня, и люди видят нас вместе, а ведь и я еще под подозрением, — вот тогда я жалею, что наговорила молодой леди горьких слов. И все-таки...

— Но вы теперь верите ей, Рейчел?

— Теперь верю, когда через вас узнала ее получше. Но иногда меня мучает мысль...

Она сказала это так тихо, словно разговаривая сама с собой, что Сесси, сидевшая подле нее, едва расслышала ее слова.

— ...иногда меня мучает мысль, что кто-то содеял злое дело. Я не знаю, кто это может быть, не знаю, зачем и как это было сделано, но я боюсь, что кто-то сгубил Стивена. Я боюсь, что кто-то был бы изобличен, ежели Стивен воротился бы и доказал всем, что он чист, и чтобы этого не случилось, чтобы не дать ему воротиться, кто-то сгубил его.

— Какая страшная мысль, — бледнея, прошептала Сесси.

— Да, очень страшно думать, что, быть может, его убили.

Сесси содрогнулась и еще сильнее побледнела.

— Когда эта мысль привяжется ко мне, — продолжала Рейчел, — а это бывает даже на работе, — я стараюсь не думать, считаю до тысячи или без конца твержу стишки, какие запомнила с детства, но это плохо помогает, и тогда меня бросает в жар, и такая тоска за сердце хватает, что как бы я ни устала, мне хочется идти и идти, куда глаза глядят. Вот и сейчас мне надо походить перед сном. Я провожу вас домой.

— Он мог заболеть в дороге, — сказала Сесси, делая слабую попытку утешить Рейчел этим уже много раз отвергнутым проблеском надежды, — и задержаться в каком-нибудь городке на пути сюда.

— Но его нет нигде. Его повсюду искали и не нашли.

— Верно, — нехотя согласилась Сесси.

— Пешком он добрался бы в два дня. А на случай, что он натрет ноги и не сможет идти, я в письме послала ему денег на проезд, — думала, хватит ли у него своих-то?

— Будем надеяться, Рейчел, что завтрашний день будет счастливее. Идем выйдем на воздух!

Она ласковым движением накинула платок на блестящие черные волосы Рейчел, в точности так, как та всегда повязывалась им, и они вместе вышли. Вечер выдался теплый, и кое-где на перекрестках кучками стояли

рабочие; но большинство сидело в этот час за ужином, и на улицах было малоллюдно.

— Вы теперь спокойнее, Рейчел, и рука у вас не такая горячая.

— Мне всегда легче, как пройдуь немного да подышу воздухом. Вот когда этого нельзя, тогда я вся какая-то разбитая и в голове мутится.

— Но вы должны взять себя в руки, Рейчел, и не терять бодрости. В любую минуту Стивену может понадобится ваша поддержка. Завтра суббота. Если завтра не будет никаких вестей от него, давайте в воскресенье с утра погуляем за городом, и вы наберетесь сил на всю будущую неделю. Пойдете?

— Пойду, милая.

К этому времени они уже достигли улицы, на которой стоял дом мистера Баундерби. Так как путь Сесси до Каменного Приюта вел мимо крыльца этого дома, то они и направились прямо к нему. В Кокстаун только что прибыл поезд, поэтому в этой части города царило оживление и во все стороны катили экипажи. Когда Сесси и Рейчел подошли к самому крыльцу, впереди и позади них ехало несколько карет — и вдруг одна из них так круто остановилась перед домом мистера Баундерби, что они невольно оглянулись на нее. В ярком свете газового рожка, горевшего на крыльце, они увидели миссис Спарсит, которая, вне себя от волнения, дрожащими руками пыталась открыть дверцу кареты. В ту же минуту миссис Спарсит, узнав Рейчел и Сесси, крикнула им, чтобы они подождали.

— Какая удача, что вы здесь! — воскликнула миссис Спарсит, после того как кучер выпустил ее на волю. — Это рука провидения! Выходите, сударыня! — сказала она в окошко кареты, — выходите, не то вас вытащат силой!

И тут из кареты вышла — кто же? — сама таинственная старушка.

Миссис Спарсит тотчас схватила ее за шиворот.

— Не подходите! — властно крикнула миссис Спарсит. — Не смейте ее трогать. Она принадлежит мне. Входите, сударыня! — сказала миссис Спарсит, повторяя ту же команду, только наоборот. — Входите, не то вас втащат силой!

Зрелище особы женского пола, чертами лица и осанкой напоминающей римскую матрону, которая вталкивала в чей-то дом старушку, крепко держа ее за горло, при любых обстоятельствах соблазнило бы всех истинно английских зевак, по счастливой случайности оказавшихся очевидцами оногo, и они, несомненно, попытались бы проникнуть в тот дом, чтобы посмотреть, чем дело кончится. Но когда в этом доме живет банкир, в чьей конторе была совершена кража со взломом,

и весь город знает, что преступление еще не раскрыто и вообще окутано тайной, — тут уж ничто не могло бы умерить их любопытство и они вломились бы в дом, хоть бы крыша грозила вот-вот обвалиться на них. Поэтому все, кто столь кстати явился свидетелем необычайного происшествия — числом около двадцати пяти, из самых трудолюбивых соседей — последовали за Сесси и Рейчел, когда те в свою очередь последовали за миссис Спарсит и ее добычей; и вся эта беспорядочная толпа с шумом ввалилась прямо в столовую мистера Баундерби, где шедшие позади немедля взобрались на стулья, дабы не оставить шедшим впереди никаких преимуществ.

— Позовите мистера Баундерби! — крикнула миссис Спарсит. — Рейчел, вы знаете, кто это?

— Это миссис Пеглер, — сказала Рейчел.

— Еще бы не она! — ликуя, вскричала миссис Спарсит. — Позовите мистера Баундерби. Отойдите, все отойдите! — Тут старенькая миссис Пеглер, пряча лицо и стараясь не привлекать внимания, шепнула что-то просительным тоном. — Оставьте это, — громко отвечала ей миссис Спарсит, — я уже двадцать раз говорила вам, что не отпущу вас, пока не передам ему с рук на руки.

Но вот появился сам мистер Баундерби в сопровождении мистера Грэдграйнда и щенка, с которыми он совещался в одной из комнат второго этажа. Когда он увидел сборище непрощенных гостей в своей столовой, лицо его выразило больше удивления, нежели радушия.

— В чем дело? — спросил он. — Миссис Спарсит, сударыня, что это значит?

— Сэр, — отвечала сия достойная особа, — я почитаю за счастье, что мне удалось изловить ту личность, которую вы столь усердно разыскивали. Горю желанием снять тяжесть с вашей души и сопоставив — со слов этой молодой женщины, Рейчел, так кстати очутившейся здесь, дабы опознать сию личность, — скудные сведения о местности, где предположительно она проживает, я добилась полного успеха и, как видите, привезла ее сюда, разумеется против ее воли. Не скажу, сэр, что это мне легко далось; но услужить вам — для меня одно удовольствие, невзирая ни на какие труды, а холод, голод и жажда — истинная радость.

Тут миссис Спарсит умолкла, ибо как только взорам мистера Баундерби представилась старенькая миссис Пеглер, на его физиономии заиграли все цвета радуги и отразились все оттенки чувств, естественные в человеке, которого внезапно постигла катастрофа.

— Вы что это? — взревел он, обращаясь к миссис Спарсит, никак не

ожидавшей такого эффекта. — Я вас спрашиваю, сударыня, что все это значит?

— Сэр! — слабо простонала миссис Спарсит.

— Чего ради вы лезете, куда вас не просят? Как вы смеее совать свой длинный нос в мои семейные дела?

Столь непочтительный отзыв о любимой черте ее лица сразил миссис Спарсит. Она упала на стул и осталась сидеть в полной неподвижности, словно она вдруг окоченела, вперив в мистера Баундерби бессмысленный взгляд и медленно потирая одну об другую свои митенки, тоже, видимо, окоченевшие.

— Дорогой мой Джосайя! — вся дрожа, воскликнула миссис Пеглер. — Милый мой мальчик! Я не виновата. Не сердись на меня, Джосайя. Уж я говорила, говорила этой леди, что тебе не понравится, что она делает, да куда там — и слушать не стала.

— Зачем ты ей позволила тащить тебя сюда? Сбила бы с нее чепец, или зубы повышибала, или лицо расцарапала, или еще что-нибудь сделала бы, — сказал Баундерби.

— Родной ты мой! Она грозилась — ежели я не поеду по своей воле, меня увезет полиция. Я и подумала, лучше уж я приеду тихонько, чем подымать шум в таком... — тут миссис Пеглер с застенчивой гордостью оглядела комнату — ...в таком чудесном доме. Я, право, не виновата! Дорогой мой мальчик, милый ты мой, хороший! Я всегда жила сама по себе. Я ни разу не пошла против нашего уговора. Я никому не сказывала, что я тебе мать. Я гордилась и любовалась тобой издали; и ежели я в кои-то веки на один день приезжала в город, так только затем, чтобы взглянуть на тебя, — и никто, радость моя, об этом не знал и не ведал...

Мистер Баундерби, смущенный и злой, глубоко засунув руки в карманы, нетерпеливо шагал взад-вперед вдоль длинного обеденного стола, а зрители жадно ловили каждое слово защитительной речи миссис Пеглер и с каждым ее словом все сильнее таращили глаза. Поскольку мистер Баундерби, не открывая рта, продолжал шагать взад-вперед и после того, как миссис Пеглер умолкла, с бедной оклеветанной старушкой заговорил мистер Грэдграйнд.

— Меня удивляет, сударыня, — строго сказал он, — что вы, в ваших летах, имеете дерзость называть мистера Баундерби своим сыном, тогда как в детстве вы подвергали его столь жестокому и бесчеловечному обращению.

— Это я-то жестокая! — вскричала миссис Пеглер. — Это я-то бесчеловечная! С моим дорогим мальчиком!

— Дорогим! — повторил мистер Грэдграйнд. — Да, разумеется, он стал дорог вам, когда преуспел своими силами. Однако он был не столь дорог вам, когда вы бросили его, оставив на попечение вечно пьяной бабушки.

— Это я-то бросила моего Джосайю! — воскликнула миссис Пеглер, хватаясь за голову. — Да простит вам бог, сэр, ваши низкие мысли и осквернение памяти бедной моей матушки, которая скончалась у меня на руках, когда Джосайи еще на свете не было. Одумайтесь, сэр, и покайтесь, пока не поздно!

В ее словах звучала такая глубокая, искренняя обида, что мистер Грэдграйнд, ошеломленный вдруг мелькнувшей у него догадкой, сказал более мягким тоном:

— Вы, стало быть, отрицаете, сударыня, что бросили своего сына... и что он вырос в канаве?

— Джосайя в канаве! — вскричала миссис Пеглер. — Да что вы, сэр! Никогда в жизни! И не стыдно вам! Мой сынок знает и вам скажет, что хоть его родители и бедные были люди, но любили его не хуже других и всегда с радостью отказывали себе во всем, лишь бы он хорошо выучился грамоте. И я могу показать вам его тетрадки, они и посейчас лежат у меня дома, да, да! — сказала миссис Пеглер с возмущением и гордостью. — И сынок мой знает, и вам скажет, сэр, что после смерти его отца, когда Джосайе шел девятый год, его мать, как ни трудно было, а сумела поставить его на ноги, и почитала это своим долгом, и с великой радостью помогала ему, сколько хватало сил, и гордилась им, когда отдала его в ученье. И какой же он был старательный малый, и хозяин попался добрый, подсобил на первых порах, а потом уж он сам пошел в гору, достиг богатства и счастья. И еще я вам скажу, сэр, — потому что сынок мой этого вам не скажет, — что, хоть мать его всего лишь держит мелочную лавку в деревне, он никогда не забывал ее, и по сей день дает ей тридцать фунтов в год, а мне столько и не надобно, я еще и откладываю из этих денег, — и лишь один уговор у нас с ним был, чтобы я сидела в своем углу, и не хвалилась им, и не тревожила его. И так я и жила, и только единожды в году приезжала взглянуть на него, а он про это и знать не знал. И так и должно быть, — сказала бедная старушка, спеша оправдать поведение сына, — чтобы я сидела в своем углу, потому что здесь мне не место; и я ни на что не жалуюсь, я могу про себя гордиться моим Джосайей и любить его всем сердцем, и больше мне ничего не надо! А вы, сэр, постыдились бы оговаривать и поносить старуху. И здесь, в этом доме, я никогда не была и никогда я не хотела здесь быть, раз мой сынок сказал «нет». И сейчас бы меня здесь не было, ежели бы

меня не привезли силой. И как только у вас язык повернулся назвать меня плохой матерью при сыне — пусть он скажет вам, правда это или нет!

Присутствующие — и те, что стояли на полу, и те, что стояли на стульях, — отозвались на слова миссис Пеглер сочувственным ропотом, и ни в чем не повинный мистер Грэдграйнд очутился в пренеприятном положении; но тут мистер Баундерби, который по-прежнему без усталости ходил взад и вперед, с каждой минутой все сильнее раздуваясь и багровея, вдруг остановился.

— Мне не совсем ясно, — сказал он, — по какому случаю я удостоился чести принимать у себя столь многочисленное общество, но в это я вникать не стану. Ежели мои гости удовлетворены, я прошу их разойтись; ежели они не удовлетворены, я тем не менее все-таки прошу их разойтись. Я никому не обязан докладывать о своих семейных делах; такого намерения у меня не было и не будет. А посему те, кто рассчитывал получить от меня какие-либо разъяснения по поводу этой стороны вопроса, будут разочарованы — и в первую очередь Том Грэдграйнд, о чем я заранее предупреждаю его. Что же касается кражи в банкирской конторе, то тут относительно моей матери произошла ошибка. Виной тому — чрезмерно назойливое любопытство; а я ни в чем и ни при каких обстоятельствах не терплю назойливого любопытства. До свиданья!

Вопреки самоуверенному тону своей речи, которую мистер Баундерби произнес, держа дверь открытой для покидающих комнату незваных гостей, под наигранной бравадой угадывались попытки скрыть смущение и замешательство, и поэтому вид у него был одновременно и смешной и жалкий. Уличенный во лжи, оказавшись хвастуном, который приобрел фальшивую славу, дойдя в своем чванном смирении до столь же гнусного обмана, как если бы он хвалился мнимой принадлежностью к знатному роду (а это — предел гнусности), — он являл собой поистине смехотворную фигуру. В открытую дверь мимо него гуськом выходили люди, и он отлично понимал, что весть о происшествии в его доме теперь облетит весь город, что он станет притчей во языцех, и если бы ему обкорнали уши, он и то не чувствовал бы себя столь опозоренным, как сейчас. Даже злополучная миссис Спарсит, низвергнутая с вершин триумфа в бездну отчаяния, была в лучшем положении, нежели этот замечательный человек, этот сам себя выведший в люди шарлатан — Джосайя Баундерби из Кокстауна.

Рейчел и Сесси, оставив миссис Пеглер в доме ее сына, где ей разрешили переночевать, вместе дошли до Каменного Приюта и там расстались. Вскоре после того, как они покинули дом Баундерби, их догнал

мистер Грэдграйнд и по дороге говорил с большим сочувствием о Стивене Блекпуле, выразив надежду, что снятие всяческих подозрений с миссис Пеглер благоприятно скажется и на его судьбе.

А что до щенка, то он, как всегда в последнее время, и на сей раз не отходил от Баундерби. Вероятно, ему казалось, что пока Баундерби ничего не может обнаружить без его ведома, он более или менее в безопасности. Сестру свою он никогда не навещал и видел ее только однажды после ее возвращения домой, а именно в тот вечер, когда он точно так же, словно тень, следовал за Баундерби.

В душе его сестры жил темный безотчетный страх, который она никогда не облакала в слова и который окружал зловещей тайной неблагодарного, беспутного мальчишку. Та же неясная, но страшная мысль в тот день впервые мелькнула и у Сесси, когда Рейчел сказала, что Стивена мог погубить кто-нибудь, кто боялся его прихода. Луиза ни звука не говорила о том, что подозревает брата в краже денег из банка; ни она, ни Сесси не поверяли друг другу своей затаенной тревоги, кроме того единственного раза, когда они обменялись взглядом украдкой от мистера Грэдграйнда, низко опустившего седую голову; по думали они одно и то же, и обе это знали. Теперь новое, еще более ужасное сомнение терзало их — оно витало над ними словно страшный призрак, и обе гнали этот призрак от себя, не смея и помыслить о том, что он может приблизиться к другой.

А щенок по-прежнему храбрился и держал себя все более вызывающе. Если Стивен Блекпул не вор, пусть явится. Куда он пропал?

Еще одна ночь. Еще день и ночь. Нет Стивена Блекпула. Где же он, почему не возвращается?

Глава VI

Звезда

Воскресный день занялся ясный и по-осеннему прохладный; Сесси и Рейчел сошлись рано утром и вместе отправились в загородную прогулку.

Так как Кокстаун посыпал пеплом не только свою главу, но и соседские — по примеру святош, которые каются в своих грехах, надевая власяницу на других, — то жители его, когда им случалось затосковать по глотку свежего воздуха, что отнюдь не есть самое пагубное из суетных благ мира сего, обычно отъезжали на несколько миль от города по железной дороге, а дальше шли пешком или располагались на лоне природы. Так же поступили Рейчел и Сесси и, вырвавшись из царства дыма, сошли с поезда на одной из станций на полпути между Кокстауном и бывшей усадьбой мистера Баундерби.

Хотя местность там и сям уродовали кучи угля, все же здесь было зелено, и росли деревья, и пели жаворонки (невзирая на воскресенье)^[61], и пахло цветами, и над всем раскинулось синее безоблачное небо. Вдали, в одной стороне, черной мглой обозначался Кокстаун: в другой — отлого подымались холмы; в третьей горизонт был чуть светлее, где-то там простиралось море. Под ногами шелестела росистая трава, испещренная пляшущими тенями ветвей, пышно зеленели живые изгороди; повсюду царили мир и тишина. Не стучали машины у входа в шахты, не ходили по вытоптанному ими кругу старые, истощенные клячи; на короткое время приостановились колеса; и казалось, даже великое земное колесо вращается необычно размеренно и плавно.

Рейчел и Сесси шли то полями, то тенистыми проселками, иногда переступая через остаток забора, до того прогнившего, что он падал, стоило тронуть его ногой, иногда минуя заросшие травой обломки кирпичей и бревен — места брошенных копей. Они шли дорожками и тропками, пусть едва приметными. Но тщательно обходили насыпи, где по пояс стояла густая трава и где кусты терновника тесно переплелись с щавелем и сорняками; ибо в тех краях из уст в уста передавались жуткие рассказы о старых шахтах, скрытых под такими пригорками.

Солнце уже поднялось высоко, когда они присели отдохнуть. Почти всю дорогу они шли в полном одиночестве и даже издали не видели никого; и здесь вокруг них не было ни живой души.

— Здесь так тихо, Рейчел, и дорожка нехоженная. Должно быть, мы первые забрели сюда в это лето, — сказала Сесси. Тут взгляд ее случайно упал на обломок прогнившего забора, валявшийся на земле. Она встала и подошла к нему. — А впрочем, не знаю. Это недавно сломано. Вот здесь по краю дерево не сгнившее. Тут и чьи-то следы. Боже мой, Рейчел!

Она бросилась к ней и обхватила ее за шею. Рейчел уже вскочила на ноги.

— Что такое?

— Не знаю. Там в траве лежит шляпа.

Они вместе подошли к тому месту. Рейчел подняла ее, дрожа как в лихорадке, и громко, в голос зарыдала. «Стивен Блекнул» было написано его собственной рукой на подкладке.

— О, бедняга, бедняга! Сгубили его. Он лежит тут убитый!

— Шляпа... в крови? — едва выговорила Сесси.

Они боялись посмотреть; но все же превозмогли страх и пригляделись; ни снаружи, ни внутри знаков насилия не было. Шляпа, очевидно, пролежала здесь несколько дней, потому что на ней оказались пятна от дождя и росы, и трава в том месте, куда она упала, была примята. Они пугливо озирались вокруг, не смея шевельнуться, но ничего больше не увидели.

— Рейчел, — прошептала Сесси, — вы постойте здесь, а я пойду погляжу.

Она выпустила руку Рейчел и уже хотела шагнуть вперед, но Рейчел вдруг с истошным воплем, отдавшимся по всему широкому простору, вцепилась в нее обеими руками. Перед ними, у самых ног их, зияла черная пропасть с рваными краями, полускрытая густой травой. Они отпрянули и, упав на колени, в ужасе прижались друг к дружке.

— О господи! Он там на дне! На дне! — не помня себя кричала Рейчел, и ни уговоры, ни просьбы, ни слезы Сесси не помогали, никакими средствами нельзя было ее успокоить; если бы Сесси не держала ее крепко, она кинулась бы в яму.

— Рейчел, дорогая, хорошая моя, ради всего святого, успокойтесь! Не надо так страшно кричать! Думайте о Стивене! Думайте о Стивене!

Сесси, терзаемая нестерпимой тревогой, снова и снова повторяла свою мольбу, и наконец Рейчел утихла и обратила к ней застывшее, словно каменное, лицо.

— Рейчел, быть может, Стивен жив. Ведь вы не хотите, чтобы он хоть одну лишнюю минуту мучался в этой ужасной яме?

— Нет, нет, нет!

— Ради Стивена, не трогайтесь с места! Я пойду послушаю.

Страшно было приближаться к краю пропасти, но Сесси подползла к ней и окликнула Стивена как могла громче. Она прислушалась, но ни звука не раздалось в ответ. Она опять крикнула, опять прислушалась — тщетно, ответа не было. Она звала его двадцать раз, тридцать раз. Она взяла ком земли в том месте, где Стивен поскользнулся, и бросила в пропасть. Она не услышала, как он упал.

Когда она встала и окинула взором широкий простор, так радовавший глаз своей мирной тишиной всего несколько минут назад, и увидела, что помощи ждать неоткуда, даже в ее храброе сердечко закралось отчаяние.

— Рейчел, нельзя терять ни минуты. Мы пойдем в разные стороны. Вы идите дорогой, по которой мы пришли, а я пойду вперед по тропинке. Всем, кого встретите, говорите, что случилось. Думайте о Стивене, думайте о Стивене!

По лицу Рейчел она поняла, что та опомнилась и ее можно оставить одну. Сесси постояла немного, глядя, как Рейчел, ломая руки, бросилась бежать, потом повернулась и тоже побежала. Она задержалась у изгороди, привязала к ней свою шаль, чтобы после найти это место, потом скинула шляпку и помчалась, не чуя ног под собой.

Беги, Сесси, беги, ради всего святого! Не останавливайся дух перевести, беги дальше! Так подгоняя самое себя, мчалась она по полям и проселкам, пока не добежала до пожарного сарая, где двое мужчин спали в тени на соломе.

Разбудить их, объяснить, в чем дело, когда нет дыхания и путаются мысли, было не легко; но стоило им понять, что случилось, и они взволновались так же, как она сама. Один из мужчин был под хмельком; но когда его товарищ крикнул ему, что кто-то провалился в Чертову Шахту, он кинулся к луже, сунул в нее голову и воротился трезвым.

Вместе с обоими мужчинами Сесси побежала за полмили к третьему, и вместе с ним еще к одному, а двое первых побежали в другую сторону. Потом достали лошадь, и Сесси упростила ее владельца доскакать до железной дороги с письмом для Луизы. К этому времени целая деревня уже была на ногах, и люди спешно собирали все необходимое — ворота, канаты, шесты, свечи, фонари — для отправки к Чертовой Шахте.

Сесси казалось, что вечность прошла с тех пор, как сна оставила могилу, в которой лежал заживо погребенный. Ее терзала мысль, что она так надолго покинула его — точно бросила на произвол судьбы, — и она побежала обратно, а с нею — человек шесть рабочих, включая пьяного, которого отрезвила весть о несчастье и который оказался деятельнее всех.

Когда подошли к Чертовой Шахте, там по-прежнему царила тишина и безлюдье. Мужчины кричали и прислушивались так же, как раньше это делала Сесси, осмотрели край пропасти, сошлись на том, каким образом произошло несчастье, а потом сели и стали дожидаться, когда доставят нужные приспособления.

От малейшего шума — прогудит ли над головой жук, зашелестит листва, шепнет слово один из рабочих — Сесси вздрагивала, думая, что слышит крик со дна пропасти. Но ветер безучастно проносился над ней, ни звука не долетало оттуда, и они молча сидели на траве и ждали, ждали. Спустя немного времени к ним стали по одиночке подходить люди, узнавшие о несчастье, а потом, наконец, начала прибывать и настоящая помощь. Воротилась и Рейчел, приведя с собой людей и среди них врача, захватившего вино и лекарства. Но почти никто не надеялся, что провалившегося в Чертову Шахту вытащат оттуда живым.

Теперь собралось так много народу, что для спасательных работ надо было установить порядок, и один из рабочих — тот самый, который сначала был под хмельком, — не то по собственному почину, не то с общего согласия взявший на себя руководство, очистил место по краям шахты и поставил выбранных им людей широким кольцом вокруг нее. Сперва, кроме тех, кто вызвался работать, только Сесси и Рейчел были допущены в круг; но после того как из Кокстауна прибыл экстренный поезд, в круг вступили и мистер Грэдграйнд, и Луиза, и мистер Баундерби, и щенок.

Прошло четыре часа с того времени, когда Рейчел и Сесси присели здесь отдохнуть, прежде чем из шестов и канатов удалось, наконец, соорудить механизм, с помощью которого два человека могли без риска спуститься вниз. Несмотря на простоту этого механизма, устройство его потребовало много труда; не хватало то одного, то другого, и за всем пришлось посылать людей. Лишь в пять часов пополудни этого погожего осеннего воскресенья спустили вниз свечу, чтобы проверить воздух; над краем шахты склонились грубоватые лица, несколько пар глаз напряженно следили за свечой, которую по команде спускали люди у ворота. Когда ее опять подняли на поверхность, пламя едва мерцало, — а потом в шахту плеснули немного воды. Только после этого прицепили бадью и двое людей с фонарями влезли в нее и крикнули: «Опускай!».

Заскрипел ворот, канат туго натянулся, и среди сотни мужчин и женщин, столпившихся вокруг шахты, не было ни одного не затаившего дыхания. Ворот остановили по команде, когда канат размотался только наполовину. Остановка ворота показалась всем бесконечно долгой, и

несколько женских голосов закричали, что случилось новое несчастье! Но врач, стоявший с часами в руке, сказал, что не прошло еще и пяти минут, и строго потребовал полной тишины. Не успел он договорить, как ворот начал работать, выбирая канат. Опытный глаз мог заметить, что ворот идет слишком легко для подъема двух людей и, стало быть, возвращается только один.

Туго натянутый канат круг за кругом наворачивался на вал, все взоры впились в отверстие шахты. Показался одна из рабочих и выпрыгнул из бадьи на землю. Раздался дружный крик: «Жив?» — а потом настала глубокая напряженная тишина.

Когда он сказал «жив», со всех сторон послышались радостные возгласы и у многих слезы выступили на глазах.

— Но он сильно разбился, — продолжал он, как только крики утихли. — Где врач? Его так покалечило, сэр, что мы не знаем, как его поднять оттуда.

Совещались все вместе, обступив врача, и с тревогой глядели ему в лицо, а он, выслушав ответы на свои вопросы, только качал головой. Солнце уже садилось, и в багровом отблеске закатного неба отчетливо видны были взволнованные, напряженные лица.

Совещание кончилось тем, что люди опять взяли за ворот, а поднявшийся на поверхность рабочий опять спустился вниз, прихватив с собой вино и кое-какое лекарство. Потом поднялся из ямы второй рабочий. Тем временем, по указанию врача, принесли носилки, застелили их всякой одеждой и сверху накрыли соломой, а сам врач приготовил подобие бинтов и перевязей из шалей и носовых платков. Все это повесили на руку тому, кто вторым вылез из ямы, объяснив ему, что нужно сделать; он стоял, опираясь могучей рукой о шест, поглядывая то в отверстие шахты, то на окруживших его людей, и фигура этого горняка, освещенная фонарем, который он держал в другой руке, далеко не была наименее заметной в толпе. Уже смерклось, и горели зажженные факелы.

Из того немногого, что он успел сообщить обступившим его людям и что немедленно разнеслось среди зрителей, стало известно, что пострадавший лежит на куче осыпавшейся породы, которой шахта забита до половины, и что, кроме того, силу удара несколько смягчил выступ рыхлой земли на боковой стенке. Он упал на спину, подмяв под себя одну руку; по его собственным словам, он все время лежал не двигаясь, только здоровой рукой доставал крошки хлеба и мяса из кармана и несколько раз набирал в горсть воды. Как только он получил письмо, он тотчас же оставил работу, всю дорогу прошел пешком и уже приближался к усадьбе

мистера Баундерби, когда случилось несчастье. А попал он в такое опасное место потому, что он ни в чем не виноват и спешил воротиться кратчайшим путем, чтобы снять с себя обвинение. Чертова Шахта, заключил горняк, крепко ругнув ее, верна себе и недаром так прозвана; по его мнению, хоть Стивен еще в состоянии говорить, но Чертова Шахта сгубила его.

Когда все было готово, ворот заработал, и горняк, напутствуемый последними торопливыми советами товарищей и врача, скрылся в пропасти. Как и в первый раз, канат разматывался круг за кругом, потом по сигналу ворот остановили. Ни один из рабочих не отнял от него руки, все ждали, согнувшись, держась за вал, готовые начать выбирать канат. Наконец сигнал был подан, и все стоявшие вокруг шахты подались вперед.

Ибо теперь натянутый до отказа канат шел тяжело, люди с трудом крутили вал, и ворот жалобно поскрипывал. Страшно было глядеть на канат — казалось, он вот-вот оборвется. Но круг за кругом мерно ложился на вал, потом появились цепи, прикрепленные к бадье, и, наконец, сама бадья: по бокам — ее, ухватившись одной рукой за край — зрелище, от которого кружилась голова и замирало сердце, — висели оба горняка, а свободной рукой они бережно поддерживали привязанное к бадье несчастное искалеченное человеческое существо.

Шепот сострадания пробежал по толпе, а женщины плакали в голос, глядя, как изувеченное тело, в котором едва теплилась жизнь, осторожно перекладывали с железного ложа на соломенное. Сначала к нему подошел только врач. Он сделал, что было в его силах, попытался, насколько возможно, уложить умирающего поудобнее, но, в сущности, ему оставалось только очень осторожно прикрыть его; потом он подозвал Рейчел и Сесси. И тут все увидели бледное, изможденное лицо, обращенное к небу, и сломанную правую руку, которая лежала поверх покрывающих его одежд, словно ожидая, что чья-нибудь рука коснется ее.

Ему дали напиток, sprysнули лицо водой, влили в рот несколько капель вина и укрепляющего лекарства. Хотя он и лежал не шевелясь, глядя в небо, он улыбнулся и сказал: «Рейчел».

Она опустила па траву подле него и наклонилась над ним так, что лицо ее пришлось между его глазами и небом, — он даже не мог перевести на нее взгляд.

— Рейчел, дорогая.

Она взяла его за руку. Он опять улыбнулся и сказал:

— Не выпускай ее!

— Тебе очень больно, милый мой, дорогой Стивен?

— Было очень больно, теперь уже нет. Я сильно мучился, и долго,

очень долго, но теперь все прошло. Ах, Рейчел, какая морока! С начала и до конца — одна морока!

Что-то отдаленно напоминающее прежнего Стивена бледной тенью скользнуло по его лицу, когда он произнес свое излюбленное слово.

— Я упал в яму, которая на памяти еще ныне живущих стариков стоила жизни сотням и сотням людей, — отцам, сыновьям, братьям, любимым тысячами и тысячами родных, чьими кормильцами они были. Я упал в яму, которая сгубила рудничным газом больше народу, нежели гибнет в кровавом бою. Я читал прошение, — и каждый может прочесть его, — где люди, работающие в копиях, Христом-богом молили издать такие законы, чтобы труд не убивал их, а пощадил ради жен и детей, которых они любят не меньше, нежели богатые и знатные любят своих. Когда эта шахта работала, она за зря убивала людей; и нынче, уже брошенная, она все еще убивает за зря. Видишь, мы каждый божий день умираем за зря, так ли, сяк ли, — морока да и только!

Он говорил едва слышно, без злобы или обиды, никого не обвиняя, а просто утверждая бесспорную истину.

— Твоя сестричка, Рейчел, — ты не забыла ее. А теперь уж наверняка не забудешь, когда я буду подле нее. Ты помнишь, какая она была хилая, как терпеливо сидела весь день на стульчике у окна, пока ты работала на нее, и как она умерла, бедная маленькая калека, за зря погубленная смрадным воздухом, которым дышат рабочие в своих жалких лачугах. Ах, морока! Какая морока!

К нему подошла Луиза; но он не видел ее — лицо его было обращено к вечернему небу.

— Ежели бы во всем, что до нас касается, не было столько мороки, я не лежал бы здесь. Ежели бы между нами было поменьше мороки, мои товарищи ткачи, мои братья рабочие иначе поняли бы меня. Ежели бы мистер Баундербери лучше знал меня — ежели бы вообще хоть чуть-чуть знал, — он не осердился бы и не подумал на меня, что я мог украсть. Но глянь-ка, Рейчел! Глянь-ка на небо!

Проследив за его взглядом, она увидела, что он смотрит на звезду.

— Она светила над мной, — сказал он благоговейно, — когда я мучился там, внизу. Она светила мне в душу. Я смотрел на нее и думал о тебе, Рейчел, и понемножку морока в моих мыслях рассеялась, — надеюсь, что так. Ежели кое-кто неверно понимал меня, то и я кое-кого понимал неверно. Когда я прочел твое письмо, я сгоряча решил, что молодая леди и ее брат заодно и что они между собой уговорились так поступить со мной. Когда я провалился в яму, я злобил на нее и так же несправедливо судил о

ней, как другие судили обо мне. А надо и в мыслях и в делах своих не поддаваться злобе, а терпеть и прощать. И вот, когда я мучился там, а она светилась надо мной, и я глядел на нее, зная, что смерть моя пришла, я молился о том, чтобы все люди сошлись поближе между собой и лучше понимали бы друг дружку, нежели в мое время.

Луиза, услышав его слова, опустилась на колени напротив Рейчел и наклонилась над ним, чтобы он мог увидеть ее.

— Вы слышали меня? — спросил он, немного погодя. — Я не забыл вас, сударыня.

— Да, Стивен, я слышала вас. И я присоединяюсь к вашей молитве.

— У вас есть отец. Вы можете передать ему мои слова?

— Он здесь, — сказала Луиза; ей вдруг стало страшно. — Привести его к вам?

— Прошу вас.

Луиза воротилась с отцом. Они стояли рядом, рука в руке, и смотрели на строгое лицо умирающего.

— Сэр, вы снимете пятно с моего доброго имени и позаботитесь, чтобы все узнали, что я не вор. Это я поручаю вам.

Мистер Грэдграйнд нетвердым голосом спросил, как это сделать?

— Сэр, — услышал он в ответ, — ваш сын научит вас, как это сделать. Спросите его. Я никого не обвиняю, ни единым словом. Однажды вечером я видел вашего сына и говорил с ним. Я только прошу вас снять пятно с моего имени — и я веряю это вам.

Врач торопил людей, вызвавшихся нести пострадавшего, и те, у кого имелись факелы или фонари, уже вышли вперед, готовясь освещать дорогу. Прежде чем подняли носилки, пока люди совещались, как лучше взяться За них, Стивен сказал Рейчел, не сводя глаз со звезды:

— Каждый раз, когда я приходил в чувство и видел ее свет надо мной, мне думалось, что это та самая звезда, что привела к Христу-младенцу. Наверно, так оно и есть!

Носилки подняли, и он был счастлив тем, что его готовятся нести в ту сторону, куда, как ему чудилось, указывала путь звезда.

— Рейчел, любимая моя! Не выпускай моей руки. Нынче, дорогая, нам можно идти вместе!

— Я буду держать твою руку и не отойду от тебя, Стивен, всю дорогу.

— Благослови тебя бог! Сделайте милость, кто-нибудь, закройте мне лицо.

Его бережно несли полями, проселками, по широкому простору, и Рейчел шла рядом, держа его за руку. Лишь изредка чей-нибудь шепот

нарушал скорбное молчание. Вскоре шествие превратилось в похоронную процессию. Звезда указала ему путь к богу бедняков; и, претерпев до конца в кротости и всепрощении, он с миром отошел к своему Спасителю.

Глава VII

Погоня за щенком

Еще прежде, чем разомкнулось кольцо вокруг Чертовой Шахты, один из зрителей внезапно исчез. Мистер Баундерби и его тень не стояли вместе с Луизой, опиравшейся на руку отца, а держались в сторонке, поодаль. Как только мистера Грэдграйнда позвали к умирающему, Сесси, зорко следившая за происходящим, тихонько подошла сзади к этой мрачной тени — лицо щенка выражало такой беспредельный ужас, что он непременно привлек бы внимание, если бы все взоры не были устремлены на Стивена, — и что-то прошептала ему на ухо. Не поворачивая головы, он обменялся с нею несколькими словами и тотчас скрылся. Поэтому, когда толпа двинулась за носилками, щенка в кругу уже не было.

Воротившись домой, мистер Грэдграйнд послал мистеру Баундерби записку, требуя, чтобы сын немедленно пришел к нему. Ответ гласил, что мистер Баундерби, потеряв Тома в толпе, ушел без него, а Тома после этого не видел, и потому решил, что тот находится в Каменном Приюте.

— Я думаю, отец, он сегодня не воротится в город, — сказала Луиза. Мистер Грэдграйнд отвернулся и больше не промолвил ни слова.

На другое утро он сам отправился в банк, прямо к открытию, и найдя место сына пустым — он сначала не решался взглянуть в ту сторону, — пошел обратно той же улицей, поджидая мистера Баундерби; повстречавшись с ним, мистер Грэдграйнд сообщил ему, что по известным причинам, которые он вскоре разъяснит, но о которых просит пока не спрашивать, он счел необходимым временно устроить сына на работу в другом городе; и что, кроме того, на него возложен долг очистить память Стивена Блекпула от клеветы и назвать истинного вора. Мистер Баундерби в полном недоумении остался стоять посреди улицы, глядя вслед своему тестю и раздуваясь все сильнее, наподобие исполинского мыльного пузыря, лишенного, однако, всякой красоты.

Мистер Грэдграйнд пришел домой, заперся в своем кабинете и не выходил оттуда весь день. Когда Сесси и Луиза стучались к нему, он отвечал через затворенную дверь: «Не сейчас, дорогие, — вечером». Вечером они снова подошли к его двери, но он сказал: «Нет еще — завтра». Весь день он ничего не ел и, когда смерклось, не потребовал свечи; и до позднего вечера они слышали, как он ходил взад и вперед по своему кабинету.

Но наутро он вышел к завтраку в обычное время и занял свое обычное место за столом. Теперь это был почти дряхлый, сгорбленный, удрученный горем старик; но в нем чувствовалось больше мудрости и благородства, нежели в те дни, когда он требовал, чтобы в жизни не было ничего кроме фактов. Встав из-за стола, он назначил Луизе и Сесси час, когда прийти к нему; и, низко опустив седую голову, ушел к себе.

— Отец, — заговорила Луиза, придя к нему в условленное время, — у вас осталось трое подрастающих детей. Они будут не такие; и я, с божьей помощью, буду теперь другая.

Она протянула Сесси руку, словно хотела сказать, что также и с помощью Сесси.

— Как ты думаешь, — спросил мистер Грэдграйнд, — твой злосчастный брат уже задумал ограбление, когда пошел с тобой к Блекпулу?

— Боюсь, что так, отец. Я знаю, что он сильно нуждался в деньгах и очень много натратил.

— Ему было известно, что бедняга покидает город, и он злодейски решил подвести его под подозрение?

— Я думаю, отец, что это пришло ему в голову, когда он там сидел. Ведь я просила его пойти со мной. Не он предлагал посетить Стивена.

— Он о чем-то говорил с ним. Что же — он отвел его в сторону?

— Он выходил с ним из комнаты. Я потом спросила его, зачем, и он объяснил мне довольно правдоподобно; но со вчерашнего вечера я вижу это в ином свете, и когда я теперь припоминаю все подробности, я, увь, слишком хорошо могу представить себе, что произошло между ними.

— Скажи мне, — спросил мистер Грэдграйнд, — что, по-твоему, сделал твой несчастный брат? Так же велика его вина в твоих глазах, как и в моих?

— Боюсь, отец, — отвечала она, замывшись, — что он чем-то заманил Стивена Блекпула либо от моего имени, либо от своего; и тот поверил ему, и перед своим уходом из города два или три вечера подряд с самыми лучшими намерениями стоял возле банка, чего никогда раньше не делал.

— Ясно! — сказал мистер Грэдграйнд. — Яснее ясного! Он заслонил лицо рукой и с минуту сидел молча. Справившись с собой, он сказал:

— А где его искать теперь? Как спасти от правосудия? В нашем распоряжении всего несколько часов — дольше я не могу утаивать правду. Никогда нам своими силами не найти его. И за десять тысяч фунтов этого не сделать.

— Сесси уже сделала это, отец.

Он поднял голову, посмотрел на нее, на добрую фею его дома, посмотрел с глубокой благодарностью и сказал растроганным голосом: — Всегда и всюду ты, дитя мое!

— Мы еще раньше, до вчерашнего дня, подозревали правду, — переглянувшись с Луизой, объяснила Сесси. — А когда я увидела, что вас позвали к носилкам, и услышала, что было сказано (ведь я все время стояла рядом с Рейчел), я незаметно подошла к нему и шепнула: «Не оборачивайтесь ко мне. Видите, где ваш отец? Бегите, ради него и ради себя!» Он уже весь дрожал, когда я заговорила с ним, а тут вздрогнул, затрясся, как лист, и сказал: «Куда же я пойду? У меня нет денег, и кто захочет прятать меня?» Я вспомнила цирк, в котором когда-то работал мой отец. Я не забыла, где цирк Слири играет в это время года, и я только на днях читала о нем в газете. Я сказала, чтобы он поспешил туда, назвался мистеру Слири и попросил скрыть его до моего приезда. «Я доберусь туда до рассвета», — сказал он. И я видела, как он выскользнул из толпы.

— Слава богу! — воскликнул мистер Грэдграйнд. — Быть может, удастся переправить его за границу.

Этот план казался им тем более осуществимым, что город, куда Сесси направила беглеца, находился в трех часах пути от Ливерпуля, а оттуда можно было без задержки уехать в любую часть света. Но действовать приходилось крайне осторожно, ибо с каждой минутой увеличивалась опасность, что он будет заподозрен, да и мистера Баундербри могло обуять желание, разыграв роль древнего римлянина, выполнить свой гражданский долг; поэтому было решено, что Сесси и Луиза одни доберутся окольным путем до того города; а мистер Грэдграйнд поедет в противоположную сторону и еще более кружным путем прибудет туда же. Кроме того, они условились, что сам он не явится сразу в цирк, потому что его приезд может быть неправильно истолкован или весть о том, что он приехал, может побудить его сына опять скрыться; переговорить с мистером Слири, а также сообщить виновнику стольких бед и унижений о том, что отец его здесь и с какой целью он прибыл, должны были Сесси и Луиза. Когда весь план был продуман и обсужден всеми тремя, подошло время приводить его в исполнение. Мистер Грэдграйнд днем отправился пешком из своего дома за город и на отдаленной станции сел в поезд железной дороги; а Луиза и Сесси уехали вечером, радуясь тому, что не встретили ни одного знакомого лица.

Они ехали всю ночь, за исключением тех немногих минут, которые они простаивали на станциях, расположенных либо вверху нескончаемой лестницы, либо в глубокой выемке — единственное разнообразие на глухих

железнодорожных ветках, — и рано утром высадились в болотистой местности, откуда до цели их путешествия было около двух миль. Из этой унылой трясины их вызволил старик почтарь, который почему-то поднялся чуть свет и яростно колотил ногой впряженную в двуколку лошадь. В город они проникли задворками, где обитали свиньи; такой въезд не отличался ни пышностью, ни даже благовоением, однако — случай далеко не редкий — это и была узаконенная проезжая дорога.

Первое, что они увидели, очутившись в городе, — это остов бродячего цирка. Труппа перекочевала в другой город, до которого было двадцать с лишним миль, и там накануне вечером состоялось открытие. Оба города соединяло ухабистое шоссе, и путешествие по нему совершалось крайне медленно. Хотя Луиза и Сесси только наспех перекусили и даже не прилегли отдохнуть (они были в такой тревоге, что все равно глаз не сомкнули бы), лишь около полудня им стали попадаться афиши Цирка Слири, наклеенные на стенах сараев и домов, и прошел еще час. прежде чем они добрались до рыночной площади.

Луиза и Сесси подошли к цирку перед самым началом Утреннего Представления-гала, о чем возвещал звонивший в колокольчик зазывала. Сесси посоветовала — чтобы не привлекать внимание местных жителей расспросами, — подойти к кассе и взять билеты. Если деньги получает мистер Слири, он, несомненно, узнает ее и будет соблюдать осторожность. Если же нет — то он безусловно увидит их в цирке и, поскольку он спрятал у себя беглеца, то и в этом случае будет действовать осмотрительно.

С бьющимся сердцем подошли они к столь памятному обоим балагану. Флаг с надписью: «Цирк Слири» был на месте; и готическая ниша была на месте; не было только мистера Слири. Юный Киддерминстер, слишком повзрослевший, чтобы изображать купидона даже перед немыслимо доверчивой публикой, вынужденный подчиниться несокрушимой силе обстоятельств (и буйному росту своей бороды), нес теперь самые разнообразные обязанности, и в частности отправлял должность казначея; в запасе у него имелся еще барабан, дабы он в свободные минуты мог давать выход избытку энергии. Но когда мистер Киддерминстер взимал плату со зрителей, он так судорожно следил за тем, чтобы ему не подсунули фальшивую монету, что ничего кроме денег не видел; поэтому Сесси проскользнула неузнанной и вместе с Луизой вошла в цирк.

Японский микадо верхом на старой белой лошади, испещренной мазками черной краски, крутил одновременно пять ручной тазов — как известно, любимое занятие этого могущественного монарха. Сесси, хотя и хорошо знала всю императорскую династию, однако с нынешним ее

представителем лично не была знакома, и потому царствование его прошло мирно. Затем новый клоун объявил коронный номер мисс Джозефины Слири — прославленную конно-тирольскую пляску цветов (клоун остроумно назвал ее «тряской»), и мистер Слири вывел наездницу на арену.

Не успел мистер Слири замахнуться на клоуна своим длинным бичом, а клоун крикнуть: «Посмей только, я запущу в тебя лошадь!» — как и отец и дочь узнали Сесси. Но они провели номер с полным самообладанием; и подвижное око мистера Слири — кроме разве самой первой секунды — так же не выражало ровно ничего, как и неподвижное. Номер показался Луизе и Сесси несколько растянутым, особенно когда пляска цветов была приостановлена и клоун начал рассказывать мистеру Слири (который время от времени ронял самым бесстрастным тоном: «Неужто, сэр?», устремив свое единственное око на публику) о том, как две ноги сидели на трех ногах и глядели на одну ногу, но тут явились четыре ноги и ухватили одну ногу, после чего две ноги встали и бросили три ноги я четыре ноги, однако четыре ноги убежали с одной ногой. Хотя это и была чрезвычайно остроумная аллегория про мясника, трехногий табурет, собаку и баранью ногу, все же рассказ потребовал времени; а они были в сильной тревоге. Наконец маленькая светловолосая Джозефина раскланялась под дружные аплодисменты; клоун, оставшись один на арене, только что объявил с воодушевлением: «Ну, теперь моя очередь!» — но тут Сесси тронули за плечо и кивком головы указали на дверь.

Она вышла вместе с Луизой; мистер Слири принял их в очень тесной комнатке, где стены были из брезента, вместо пола трава, а дощатый скошенный потолок ежеминутно грозил обвалиться из-за неистового топота, которым сидящая в ложах публика выражала свой восторг.

— Хехилия, — сказал мистер Слири, держа в руках стакан грогу, — рад видеть тебя. Ты издавна была нашей любимицей, и ты, я уверен, не похрамила нах. А потому, дорогая моя, ты должна повидать многих, прежде чем мы перейдем к делу, не то ты разобьешь им хердце — охобенно женщинам. Моя Джозефина вышла замуж за И. У. Б. Чилдерха, и ее мальчуган, хоть ему только три года, как приклеенный хидит на любом пони. Мы зовем его Маленькое Чудо Иппоихкуххтва; и помяни мое хлово — ежели он не будет блихтать в цирке Ахтли^[62], то он будет блихтать в Париже. А ты помнишь Киддерминхтера, который вздыхал по тебе? Так вот: он тоже женат. Взял за хебя вдову. По годам — впору быть ему матерью. Когда-то была канатной пляхуньей, а теперь она ничто — жир не позволяет. У них двое детей, так что номера, где нужны эльфы и карлики,

идут у нах как по махлу. Ты бы поглядела на «Детей в леху»^[63] — отец и мать помирают верхом, дядя берет их под хвою опеку тоже верхом, а как они вдвоем хобируют ежевику верхом и малиновка накрывает их лихтями верхом — лучше этого и вообразить нельзя! А помнишь Эмму Гордон, дорогая? Она ведь была тебе как родная мать. Ну, конечно, помнишь, как же иначе? Так вот: Эмма потеряла мужа. Он играл хултана Индии и хидел на хлоне в такой клетке, вроде пагоды, и упал навзничь, и потом помер — очень тяжело упал; а она опять вышла замуж, за хозяина молочной — он видел ее на арене и был без ума от нее... он попечитель бедных и богатеет не по дням, а по чахам.

Обо всех этих переменах мистер Слири, задыхаясь пуще прежнего, рассказывал с большой теплотой и удивительным для такого старого забулдыги простодушием. Затем он привел Джозефину и И. У. Б. Чилдерса (дневной свет беспощадно подчеркивал глубокие складки от его носа к подбородку), и Маленькое Чудо Иппоискусства, короче говоря — всю труппу. Луиза с удивлением присматривалась к этим странным созданиям — набеленные и нарумяненные лица, короткие юбочки, выставленные напоказ икры; но радостно было видеть, как они теснились вокруг Сесси и как Сесси, растроганная, не могла удержаться от слез.

— Довольно! Хехилия уже перецеловала вхех детей, обняла вхех женщин, пожала руку вхем мужчинам — теперь вон отхюда и дайте звонок ко второму отделению!

Как только все вышли, мистер Слири сказал, понизив голос:

— Так вот, Хехилия, я не хочу знать ничьих хекретов, но я предполагаю, что эта леди ему не чужая.

— Да, она его сестра.

— И хтало быть дочь его отца. Так я и думал. Как ваше здоровье, михх? И как здоровье вашего батюшки?

— Отец скоро будет здесь, — сказала Луиза, которой не терпелось поговорить о деле. — Мой брат в безопасности?

— Будьте покойны! — отвечал мистер Слири. — Прошу вах, михх, гляньте на арену, вот отхюда. Тебе, Хехилия, можно не говорить — хама найдешь для хебя дырочку.

Все трое прильнули к щелям между досками.

— Это «Джек, победитель великанов» — комедия для детей, — объяснял Слири. — Видите, там бутафорхкая хижина Джека; вон там наш клоун, в руках у него крышка от кахтрюли и вертел — это хлуга Джека; а вон и хам малютка Джек в блехтяших дохпехах; а по бокам хижины два арапа, вдвое выше ее — они будут приносить и уносить хижину, а великана

(очень дорогое плетеное чучело) еще нет. Ну как, видите их?

— Да, — отвечали обе.

— Еще раз поглядите, — сказал Слири, — хорошенько поглядите. Ну как, видите? Отлично. Так вот, михх, — продолжал он, придвигая для нее скамейку, — у меня одни взгляды, у вашего отца другие. Я не желаю знать, что натворил ваш брат; лучше, чтобы я этого не знал. Ваш отец не охтавил Хехилию в беде, и я не охтавлю его в беде — больше тут говорить не о чем. Ваш брат — один из двух арапов.

У Луизы вырвался взглас не то горького, не то радостного изумления.

— Вот оно как, — сказал Слири. — И вы даже и теперь не можете узнать, который из двух он. Я буду ждать вашего отца. Ваш брат побудет в цирке. Я не раздену его и не отмою. Ваш отец придет, или вы приходите, и вы захтанете вашего брата и можете хвободно переговорить — в балагане не будет ни души. Не горюйте, что он черный, зато его никто не признает.

Луиза, несколько утешенная, горячо поблагодарила мистера Слири. Она попросила его, со слезами на глазах, передать поклон брату, после чего она и Сесси ушли, условившись, что придут попозже.

Час спустя приехал мистер Грэдграйнд. Он тоже никого из знакомых не встретил и очень надеялся с помощью Слири переправить этой ночью своего сбившегося с пути сына в Ливерпуль. Никто из них не мог сопровождать беглеца — это значило бы почти наверняка выдать его, как бы он ни был переряжен: поэтому мистер Грэдграйнд заготовил письмо к одному верному человеку, с которым вел переписку, умоляя отправить подателя сего, чего бы это ни стоило, в Северную или Южную Америку или в любую другую отдаленную часть света, лишь бы поскорее и незаметно.

Затем они втроем походили по городу, дожидаясь часа, когда цирк покинет не только публика, но и труппа и лошади. Наконец они увидели, как мистер Слири вынес стул из боковой двери, уселся на него и закурил, точно подавая им знак, что они могут подойти.

— Мое почтение, хударь, — сдержанно поздоровался он, когда они проходили мимо него в дверь. — Ежели я вам буду нужен, вы меня найдете на этом мехте. Не глядите на то, что хын ваш наряжен шутком.

Они вошли в балаган, и мистер Грэдграйнд, горестно понурившись, сел на табурет, предназначенный для клоуна, посреди арены. На одной из задних скамей, едва видный в сумраке этого столь непривычного и чуждого ему помещения, все еще упрямясь и злобствуя, сидел нашкодивший щенок, которого он имел несчастье называть своим сыном.

В нескладной куртке с огромными отворотами и обшлагами, вроде тех,

что носят приходские надзиратели; в бесконечно длинном жилете; в коротких штанах, башмаках с пряжками и нелепой треуголке; все это не по росту, дрянное, рваное, побитое молью; а по черному лицу не то от жары, не то от страха течет пот, оставляя грязные полосы там, где он пробивается сквозь густую жирную краску; никогда мистер Грэдграйнд не поверил бы, что может существовать нечто столь мрачное, отталкивающее, унижительно смешное, как щенок в своей шутовской ливрее, если бы своими глазами не убедился в этом неопровержимом и бесспорном факте. И до такого падения дошел один из его образцовых детей!

Сперва щенок упорно отказывался покинуть свое место и подойти поближе. Наконец, уступив просьбам Сесси, если такое угрюмое согласие можно назвать уступкой, — на Луизу он и глядеть не хотел, — он медленно спустился, переходя из ряда в ряд, пока не ступил на посыпанную опилками арену, где и стал у самого края, как можно дальше от табурета, на котором сидел его отец.

— Как ты это сделал? — спросил отец.

— Что сделал? — угрюмо переспросил сын.

— Ограбил банк, — повысив голос, отвечал отец.

— Я сам ночью взломал сейф и оставил приоткрытым, когда уходил. Ключ, который нашли на улице, я давно заготовил. В то утро я подбросил его, чтобы подумали, что им пользовались. Я не за один раз взял деньги. Я делал вид, что каждый вечер прячу остаток, но я не прятал. Теперь вы все знаете.

— Ежели бы гром поразил меня, — сказал отец, — я был бы менее потрясен, чем сейчас!

— Не вижу, почему, — проворчал сын. — Столько-то людей, состоящих на службе, облечены доверием; столько-то из них оказываются нечестными. Я сотни раз слышал от вас, что это закон. Не могу же я менять законы. Вы этим утешали других, отец. Теперь утешайтесь этим сами!

Отец прикрыл глаза рукой, а сын стоял перед ним, во всем своем унижительном безобразии, покусывая соломинку; черная краска наполовину сошла с ладоней, и руки его были похожи на обезьяньи. Уже близился вечер, и он то и дело с нетерпением и тревогой поглядывал на своего отца. Одни только глаза его с резко выделявшимися белками и казались живыми на густо покрашенном лице.

— Тебя надо доставить в Ливерпуль, а оттуда отправить за море.

— Очевидно. Нигде, — заскулил щенок, — нигде мне не будет хуже, чем было здесь, с тех пор как я себя помню. Уж это верно.

Мистер Грэдграйнд подошел к двери, привел мистера Слири и спросил

его, есть ли возможность увезти это жалкое создание?

— Я уже думал об этом, хударь. Время не терпит, так что говорите хразу — да или нет. До железной дороги больше двадцати миль. Через полчаха пойдет дилижанх, который похпеваает как раз к почтовому поезду. Этим поездом он доедет до самого Ливерпуля.

— Но вы посмотрите на него, — простонал мистер Грэдграйнд. — Ни один дилижанс...

— Я и не имел в виду, что он поедет в этой ливрее, — отвечал Слири. — Дайте хоглахие, и за пять минут я подберу кохтюм и переделаю его в погонялу.

— В... кого? — переспросил мистер Грэдграйнд.

— В возчика. Решайте, хударь. Надо еще принехти пива. Кроме как пивом циркового арапа не отмоешь.

Мистер Грэдграйнд тотчас согласился; мистер Слири тотчас извлек из сундука блузу, войлочную шляпу и прочую костюмерию; щенок тотчас переоделся за байковой ширмой; мистер Слири тотчас принес пива и отмыл его добела.

— А теперь, — сказал Слири, — идем к дилижанху и влезайте в заднюю дверь; я провожу вах, и люди подумают, что вы из моей труппы. Обнимите на прощанье родных, но только поживее. — После этого он деликатно оставил их одних.

— Вот письмо, — сказал мистер Грэдграйнд. — Всем необходимым ты будешь обеспечен. Постарайся раскаянием и честной жизнью искупить совершенное тобой злое дело и те горестные последствия, к которым оно привело. Дай мне руку, бедный мой мальчик, и да простит тебя бог, как я тебя прощаю!

Эти слова и сердечный тон, каким они были сказаны, исторгли несколько слезинок из глаз несчастного грешника. Но когда Луиза хотела его обнять, он с прежней злобой оттолкнул ее.

— Нет. С тобой я и говорить не желаю.

— Ах, Том! Неужели мы так расстанемся? Вспомни, как я всегда любила тебя!

— Любила! — угрюмо отвечал он. — Хороша любовь! Бросила старика Баундерби, выгнала мистера Хартхауса, моего лучшего друга, и вернулась домой как раз в то время, когда мне грозила опасность. Нечего сказать — любовь! Выболтала все, до последнего слова, о том, как мы ходили туда, а ведь видела, что вокруг меня затягивается сеть. Хороша любовь! Ты просто-напросто предала меня. Никогда ты меня не любила.

— Поживее! — стоя в дверях, сказал Слири.

Все заторопились и гурьбой вышли из балагана, и Луиза еще со слезами говорила брату, что прощает ему и любит его по-прежнему, и когда-нибудь он пожалеет о том, что так расстался с ней, и рад будет, вдали от нее, вспомнить эти ее слова, — как вдруг кто-то налетел на них. Мистер Грэдграйнд и Сесси, которые шли впереди щенка и Луизы, прильнувшей к его плечу, остановились и в ужасе отпрянули.

Ибо перед ними стоял Битцер, задыхаясь, ловя воздух широко разинутым тонкогубым ртом, раздувая тонкие ноздри, моргая белесыми ресницами, еще бледнее, чем всегда, словно от стремительного бега он разогрелся, не как все люди, до красного, а до белого каленья. Он так пыхтел, так тяжело дышал, будто мчался, не останавливаясь, с того давнего вечера, много лет назад, когда он столь же внезапно налетел на них.

— Очень сожалею, что вынужден нарушить ваши планы, — сказал Битцер, качая головой, — но я не могу допустить, чтобы меня провели какие-то циркачи. Мне нужен мистер Том-младший. Он не должен быть увезен циркачами. Вот он, переодетый возчиком, и я должен взять его!

За шиворот, очевидно. Ибо именно так он завладел Томом.

Глава VIII

Немножко философии

Они воротились в балаган, и Слири на всякий случай запер двери. Битцер, все еще держа за шиворот оцепеневшего от страха преступника, стал посреди уже почти темной арены и, усиленно моргая, вглядывался в своего бывшего покровителя.

— Битцер, — смиренно сказал мистер Грэдграйнд, сраженный этим последним неожиданным ударом, — есть у тебя сердце?

— Без сердца, сэр, — отвечал Битцер, усмехнувшись несуразности вопроса, — кровь не могла бы обращаться. Ни один человек, знакомый с фактами, установленными Гарвеем^[64] относительно кровообращения, не мог бы усомниться в наличии у меня сердца.

— Доступно ли оно чувству жалости? — воскликнул мистер Грэдграйнд.

— Оно доступно только доводам разума, сэр, — отвечал сей примерный юноша, — и больше ничему.

Они пристально смотрели друг на друга, и лицо мистера Грэдграйнда было так же бледно, как лицо его мучителя.

— Что может побудить тебя, даже сообразуясь с разумом, помешать бегству этого бедняги, — сказал мистер Грэдграйнд, — и тем самым сокрушить его несчастного отца? Взгляни на его сестру. Пощади нас!

— Сэр, — отвечал Битцер весьма деловитым и серьезным тоном, — поскольку вы спрашиваете, какие доводы разума могут побудить меня воротить мистера Тома-младшего в Кокстаун, я считаю вполне разумным дать вам разъяснение. Я с самого начала подозревал в этой краже мистера Тома. Я следил за ним и ранее, потому что знал его повадки. Я держал свои наблюдения про себя, но я наблюдал за ним; и теперь у меня набралось предостаточно улик против него, не считая его бегства и собственного признания — я поспел как раз вовремя, чтобы услышать его. Я имел удовольствие наблюдать за вашим домом вчера вечером и последовал за вами сюда. Я намерен привезти мистера Тома обратно в Кокстаун и передать его мистеру Баундерби. И я не сомневаюсь, сэр, что после этого мистер Баундерби назначит меня на должность мистера Тома. А я желаю получить его должность, сэр, потому что это будет для меня повышением по службе и принесет мне пользу.

— Ежели для тебя это только вопрос личной выгоды... — начал мистер Грэдграйнд.

— Простите, что я перебиваю вас, сэр, — возразил Битцер, — но вы сами отлично знаете, что общественный строй зиждется на личной выгоде. Всегда и во всем нужно опираться на присущее человеку стремление к личной выгоде. Это единственная прочная опора. Уж так мы созданы природой. Эту догму мне внушали с детства, сэр, как вам хорошо известно.

— Какая сумма денег могла бы возместить тебе ожидаемое повышение? — спросил мистер Грэдграйнд.

— Благодарю вас, сэр, — отвечал Битцер, — за то, что вы на это намекнули, но я не назначу никакой суммы. Зная ваш ясный ум, я так и думал, что вы мне предложите деньги, и заранее произвел подсчет; и пришел к выводу, что покрыть преступника, даже за очень крупное вознаграждение, менее безопасно и выгодно для меня, чем более высокая должность в банке.

— Битцер, — сказал мистер Грэдграйнд, простирая к нему руки, словно говоря, — смотри, как я жалок! — Битцер, у меня остается только еще одна надежда тронуть твое сердце. Ты много лет учился в моей школе. Ежели, в память о заботах, которыми ты был там окружен, ты хоть в малейшей мере готов отказаться сейчас от своей выгоды и отпустить моего сына, я молю тебя — да будет эта память ему на благо.

— Меня крайне удивляет, сэр, — наставительным тоном возразил бывший воспитанник мистера Грэдграйнда, — приведенный вами явно неосновательный довод. Мое ученье было оплачено; это была чисто коммерческая сделка; и когда я перестал посещать школу, все расчеты между нами кончились.

Одно из основных правил грэдграйндской теории гласило, что все на свете должно быть оплачено. Никто, ни под каким видом, не должен ничего давать и не оказывать никакой помощи безвозмездно. Благодарность подлежала отмене, а порождаемые ею добрые чувства теряли право на существование. Каждая пядь жизненного пути, от колыбели до могилы, должна была стать предметом торговой сделки. И если этот путь не приведет нас в рай, стало быть рай не входит в область политической экономии и делать нам там нечего.

— Я не отрицаю, — продолжал Битцер, — что ученье мое стоило дешево. Но ведь это именно то, что нужно, сэр. Я был изготовлен за самую дешевую цену и должен продать себя за самую дорогую.

Он умолк, несколько смущенный слезами Луизы и Сесси.

— Прошу вас, не плачьте, — сказал он. — От этого никакой пользы.

Только лишнее беспокойство. Вы, по-видимому, думаете, что я питаю к мистеру Тому-младшему какие-то враждебные чувства. Ничего подобного. Я хочу воротить его в Кокстаун единственно в силу тех доводов разума, о которых уже говорил. Если он будет сопротивляться, я подыму крик «держи вора!». Но он не будет сопротивляться, вот увидите.

Тут мистер Слири, который слушал эти поучения с глубочайшим вниманием, разинув рот и вперив в Битцера свое подвижное око, столь же, казалось, неспособное двигаться, как и другое, выступил вперед.

— Хударь, вы отлично знаете, и ваша дочь отлично знает (еще вернее вашего, потому что я говорил ей об этом), что мне неизвестно, что натворил ваш хын, и что я и знать это не хочу; я говорил ей, что лучше мне не знать, хотя в ту пору я думал, что речь идет только о какой-нибудь шалохти. Однако раз этот молодой человек упоминает об ограблении банка, а это дело нешуточное, я тоже не могу покрывать прехтупника, как он вехма удачно назвал это. Так что, хударь, не будьте на меня в обиде, ежели я беру его хторону, но я должен признать, что он прав, и тут уж ничего не попишешь. Могу обещать вам только одно: я отвезу вашего хына и этого молодого человека на железную дорогу, чтобы тут не было хкандала. Большого я обещать не могу, но это я выполняю.

Это отступничество последнего преданного друга исторгло новые потоки слез у Луизы и повергло в еще более глубокое отчаяние мистера Грэдграйнда. Но Сесси только пристально поглядела на Слири, не сомневаясь в душе, что поняла его правильно. Когда они опять гурьбой выходили на улицу, он едва заметно повел на нее подвижным оком, призывая ее отстать от других. Запирая дверь, он заговорил торопливо:

— Он не охтавил тебя в беде, Хехилия, и я не охтавлю его. И еще вот что: этот негодяй из прихпешников того мерзкого бахвала, которого мои молодцы чуть не вышвырнули в окошко. Ночь будет темная; одна моя лошадь такая понятливая, — ну, разве только говорить не может; а пони — пятнадцать миль в чах пробежит, ежели им правит Чилдерх; а хобака моя, — так она хутки продержит человека на мехте. Шепни молодому шалопаю, — когда лошадь затанцует, это не беда, ничего плохого не будет, и чтобы выхматривал пони, впряженного в двуколку. Как только двуколка подъедет — чтобы прыгал в нее, и она умчит его, как ветер. Ежели моя хобака позволит тому негодяю хоть шаг хтупить, я прогоню ее; а ежели моя лошадь до утра хоть копытом шевельнет, то я ее знать не хочу! Ну, живее!

Дело пошло так живо, что через десять минут мистер Чилдерс, который в домашних туфлях слонялся по рыночной площади, уже был обо всем извещен, а экипаж мистера Слири стоял наготове. Стоило посмотреть,

как дрессированный пес с лаем бегал вокруг, а мистер Слири, действуя только здоровым глазом, поучал его, что он должен обратить сугубое внимание на Битцера. Когда совсем стемнело, они втроем сели в экипаж и отъехали; дрессированный пес (весьма грозных размеров), не спуская глаз с Битцера, бежал у самого колеса с той стороны, где он сидел, дабы мгновенно задержать его, в случае, если бы он проявил малейшее желание сойти на землю.

Остальные трое просидели всю ночь в гостинице, терзаясь мучительной тревогой. В восемь часов утра явились мистер Слири и дрессированный пес — оба в отличнейшем настроении.

— Ну вот, хударь, — сказал мистер Слири, — думаю, что ваш хын уже на борту. Чилдерх подобрал его вчера вечером через полтора чаха похле того, как мы уехали. Лошадь пляхала польку до упаду (она танцевала бы вальх, ежели бы не упряжь), а потом я подал знак, и она захнула. Когда тот негодяй объявил, что пойдет пешком, хобака ухватила его за шейный платок, повихла на нем, повалила на землю и покатала немного. Тогда он залез в коляшку и прохидел на мехте до половины хедьмого — пока я не поворотил лошадь.

Мистер Грэдграйнд, понятно, горячо поблагодарил его и как можно деликатней намекнул, что желал бы вознаградить его крупной суммой денег.

— Мне, хударь, денег не нужно; но Чилдерх человек хемейный, и ежели вы пожелаете дать ему бумажку в пять фунтов — что же, он, пожалуй, возьмет. А также я рад буду принять от вах новый ошейник для хобаки и набор бубенцов для лошади. И хтакан грогу я в любое время принимаю. — Он уже велел подать себе стаканчик и теперь потребовал второй. — И ежели вам не жаль угохтить мою труппу, этак по три шиллинга и шехть пенхов на душу, не хчитая хобаки, то они будут очень довольны.

Все эти скромные знаки своей глубокой признательности мистер Грэдграйнд с готовностью взял на себя — хотя, сказал он, они ни в какой мере не соответствуют оказанной ему услуге.

— Ну ладно, хударь. Ежели вы когда-нибудь при хлучае поддержите наш цирк, мы будем более чем квиты. А теперь, хударь, — да не похетует на меня ваша дочь, — я хотел бы на прощание молвить вам хловечко.

Луиза и Сесси вышли в соседнюю комнату. Мистер Слири, помешивая и прихлебивая грог, продолжал:

— Хударь, мне незачем говорить вам, что хобаки — редкохтные животные.

— У них поразительное чутье, — сказал мистер Грэдграйнд.

— Что бы это ни было, разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое, — сказал Слири, — но прямо оторопь берет. Как хобака находит тебя, из какой дали прибегает!

— У собаки очень острый нюх, — сказал мистер Грэдграйнд.

— Разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое, — повторил Слири, качая головой, — но меня, хударь, так находили хобаки, что я думал, уж не хпрошила ли эта хобака у другой — ты, мол, хлучайно не знаешь человека по имени Хлири? Зовут Хлири, держит цирк, полный такой, кривой на один глаз? А та хобака и говорит: «Я-то лично его не знаю, но одна моя знакомая хобака, по-моему, знает». А эта третья хобака подумала, да и говорит: «Хлири, Хлири! Иу конечно же! Моя подруга как-то хказывала мне о нем. Я могу дать тебе его адреx». Понимаете, хударь, ведь я похтоянно у публики на глазах и кочую по разным мехтам, так что, наверное, очень много хобак меня знают, о которых я и понятия не имею!

Мистер Грэдграйнд даже растерялся, услышав такое предположение.

— Так или этак, — сказал Слири, отхлебнув из своего стакана, — год и два мехяца тому назад мы были в Чехтере. И вот однажды утром — мы репетировали «Детей в леху» — вдруг из-за кулих на арену выходит хобака. Она, видимо, прибежала издалека, — жалкая такая, хромая и почти что охлепшая. Она обнюхала наших детей одного за другим, как будто думала найти знакомого ей ребенка; а потом подошла ко мне, из похледних хиленок подкинула задом, похтояла на передних лапах, повиляла хвостом, да и околела. Хударь, эта хобака была Вехельчак.

— Собака отца Сесси!

— Ученая хобака отца Хехилии. Так вот, хударь, зная эту хобаку, я дам голову на отхечение, что хозяин ее помер и лег в могилу, прежде нежели она пришла ко мне. Мы долго худили, рядили — я, и Джозефина, и Чилдерх, — дать об этом знать или нет. И порешили: «Нет». Ежели бы что хорошее — а так, зачем зря тревожить ее и причинять горе? Хтало быть, брохил ли он ее из подлохти, или принял на хебя муку, лишь бы она не бедовала, как он, — этого, хударь, мы не узнаем, пока... пока не узнаем, как хобаки находят нах!

— Она и поныне хранит бутылку с лекарством, за которым он ее послал, и она будет верить в его любовь к ней до последнего мгновения своей жизни.

— Из этого можно вывехти два заключения, хударь, — сказал мистер Слири, задумчиво разглядывая содержимое своего стакана, — во-первых, что на хвете бывает любовь, в которой нет никакой личной выгоды, а как

раз наоборот; и во-вторых, что такая любовь по-хвоему раххчитывает или, вернее, не раххчитывает, а как она это делает, понять ничуть не легче, нежели удивительные повадки хобак!

Мистер Грэдграйнд молча смотрел в окно. Мистер Слири допил грог и позвал Луизу и Сесси.

— Хехилия, дорогая моя, поцелуй меня и прощай! Михх Луиза, отрадно видеть, как вы ее за хехтру почитаете, и от души любите, и доверяете ей. Желаю вам, чтобы ваш брат в будущем был дохтойнее вах и не причинял вам больше огорчений. Хударь, позвольте пожать вашу руку, в первый и похледний раз! Не презирайте нах, бедных бродяг. Людям нужны развлечения. Не могут они наукам учиться без передышки, и не могут они вечно работать без отдыха; уж такие они от рождения. Мы вам нужны, хударь. И вы тоже покажите хебя добрым и хправедливым, — ищите в нах доброе, не ищите худого!

— И в жизни хвоей я не думал, — сказал мистер Слири, еще раз приоткрыв дверь и просовывая голову в щель, — что я такой говорун!

Глава IX

Заключение

Нет ничего опаснее, как обнаружить что-нибудь касающееся тщеславного хвастуна, прежде нежели хвастун сам это обнаружит. Мистер Баундербиде считал, что со стороны миссис Спарсит было наглостью лезть вперед и пытаться выставить себя умнее его. Он не мог простить ей завершенное с таким блеском раскрытие тайны, витавшей вокруг миссис Пеглер, и мысль о том, что это позволила себе женщина в зависимом от него положении, постоянно вертелась в его голове, разрастаясь с каждым оборотом, как снежный ком. В конце концов он пришел к выводу, что если он рассчитает столь высокородную особу и, следовательно, повсюду сможет говорить: «Это была женщина из знатной семьи, и она не хотела уходить от меня, но я не пожелал оставить ее и выпроводил вон», — то это будет вершина той славы, которую он извлек из своего знакомства с миссис Спарсит, а заодно она понесет заслуженную кару.

Распираемый этой блестящей идеей, мистер Баундербиде уселся завтракать в своей столовой, где, как в былые дни, висел его портрет. Миссис Спарсит сидела у камина, сунув ногу в стремя, не подозревая о том, куда она держит путь.

Со времени дела Пеглер сия высокородная леди прикрывала жалость к мистеру Баундербиде дымкой покаянной меланхолии. В силу этого лицо ее постоянно выражало глубокое уныние, и такое именно унылое лицо она теперь обратила к своему принципалу.

— Ну, что случилось, сударыня? — отрывисто и грубо спросил мистер Баундербиде.

— Пожалуйста, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — не накидывайтесь на меня, как будто вы намерены откусить мне нос.

— Откусить вам нос, сударыня? Ваш нос? — повторил мистер Баундербиде, явно давая понять, что для этого нос миссис Спарсит слишком сильно развит. Бросив сей язвительный намек, он отрезал себе корочку хлеба и так швырнул нож, что он загремел о тарелку.

Миссис Спарсит вытащила ногу из стремени и сказала:

— Мистер Баундербиде, сэр!

— Да, сударыня? — спросил мистер Баундербиде. — Что вы на меня уставились?

— Разрешите узнать, сэр, — сказала миссис Спарсит, — вас что-

нибудь рассердило нынче утром?

— Да, сударыня.

— Разрешите осведомиться, сэр, — продолжала миссис Спарсит с обидой в голосе, — уж не я ли имела несчастье вызвать ваш гнев?

— Вот что я вам скажу, сударыня, — отвечал Баундерби, — я здесь не для того, чтобы меня задирали. Какое бы знатное родство ни было у женщины, нельзя ей позволить отравлять жизнь человеку моего полета, и я этого не потерплю (мистер Баундерби стремительно шел к своей цели, ибо предвидел, что если дело дойдет до частных, то ему несдобровать).

Миссис Спарсит сперва вздернула, потом нахмурила кориолановские брови, собрала свое рукоделие, уложила его в рабочую корзинку и встала.

— Сэр, — величественно произнесла она, — мне кажется, что в настоящую минуту мое присутствие вам неуютно. Поэтому я удаляюсь в свои покои.

— Разрешите отворить перед вами дверь, сударыня.

— Не трудитесь, сэр; я могу и сама отворить ее.

— А все-таки разрешите это сделать мне, — сказал Баундерби, подходя мимо нее к двери и берясь за ручку. — Я хочу воспользоваться случаем и сказать вам несколько слов, прежде нежели вы уйдете. Миссис Спарсит, сударыня, мне, знаете ли, сдается, что вы здесь слишком стеснены. Я так полагаю, что под моим убогим кровом мало простора для вашего несравненного дара вынюхивать чужие дела.

Миссис Спарсит окинула его презрительным взором и чрезвычайно учтиво сказала:

— Вот как, сэр?

— Я, видите ли, сударыня, поразмыслил над этим после недавних происшествий, — продолжал Баундерби, — и по моему скромному разумению...

— О, прошу вас, сэр, — прервала его миссис Спарсит почти весело, — не умаляйте своего разума. Всем известно, что мистер Баундерби никогда не совершает ошибок. Каждый мог в этом убедиться. Вероятно, повсюду только о том и говорят. Можете умалять любые свои качества, сэр, но только не свое разумение, — громко смеясь, сказала миссис Спарсит.

Мистер Баундерби, красный и смущенный, продолжал:

— Так вот, сударыня, я полагаю, что пребывание в чьем-либо другом доме лучше подойдет особе, наделенной столь острым умом, как ваш. Скажем, к примеру, в доме нашей родственницы, леди Скэджерс. Как вы считаете, сударыня, найдутся там дела, в которые стоило бы вмешаться?

— Такая мысль никогда не приходила мне в голову, сэр, — отвечала

миссис Спарсит, — но теперь, когда вы упомянули об этом, я готова согласиться с вами.

— Тогда, быть может, вы так и поступите, сударыня? — сказал Баундерби, засовывая в ее корзиночку конверт с вложенным в него чеком. — Я вас не тороплю, сударыня; но, быть может, в оставшиеся до вашего отбытия дни столь одаренной, как вы, особе приятнее будет вкушать свои трапезы в уединении и без помех. Я, откровенно говоря, и то чувствую себя виноватым перед вами, — я ведь всего только Джосайя Баундерби из Кокстауна, и так долго навязывал вам свое общество.

— Можете не извиняться, сэр, — возразила миссис Спарсит. — Ежели бы этот портрет умел говорить, — но он выгодно отличается от оригинала тем, что не способен выдавать себя и внушать другим людям отвращение, — он рассказал бы вам, что много времени протекло с тех пор, как я впервые стала, обращаясь к нему, называть его болваном. Что бы болван ни делал — это никого не может ни удивить, ни разгневать; действия болвана могут вызвать только пренебрежительный смех.

С такими словами миссис Спарсит, чьи римские черты застыли наподобие медали, выбитой в память ее безмерного презрения к мистеру Баундерби, окинула его сверху вниз уничтожающим взглядом, надменно проследовала мимо него и поднялась к себе. Мистер Баундерби притворил дверь и стал перед камином, как встарь, раздувшись от спеси, вглядываясь в свой портрет... и в грядущее.

Многое ли открылось его взору? Он увидел, как миссис Спарсит, пуская в ход весь запас колющего оружия из женского арсенала, день-деньской сражается с ворчливой, злобной, придирчивой и раздражительной леди Скэджерс, все так же прикованной к постели по милости своей загадочной ноги, и проедает свои скудные доходы, которые неизменно иссякают к середине квартала, в убогой, душной каморке, где и одной-то не хватало места, а теперь было тесно, как в стойле. Но видел ли он более того? Мелькнул ли перед ним его собственный образ, видел ли он самого себя, превозносящим перед посторонними Битцера, этого многообещающего молодого человека, который столь горячо почитает несравненные достоинства своего хозяина и теперь занимает должность Тома-младшего, после того как он чуть не изловил самого Тома-младшего в ту пору, когда некий мерзавцы увезли беглеца? Видел ли, как он, одержимый тщеславием, составляет завещание, согласно которому двадцать пять шарлатанов, достигшие пятидесяти пяти лет, нарекшись Джосайя Баундерби из Кокстауна, должны постоянно обедать в клубе имени Баундерби, проживать в подворье имени Баундерби, сквозь сон

слушать проповеди в молельне имени Баундерби, кормиться за счет фонда имени Баундерби и пичкать до тошноты всех людей со здоровым желудком трескучей болтовней и бахвальством в духе Баундерби? Предчувствовал ли он, хотя бы смутно, что пять лет спустя настанет день, когда Джосайя Баундерби из Кокстауна умрет от удара на одной из кокстаунских улиц, и начнется долгий путь этого бесподобного завещания, отмеченный лихоимством, хищениями, подлогами, пустопорожней суетой, человеческой гнусностью и юридическим крючкотворством? Вероятно, нет. Но портрету его суждено было стать тому свидетелем.

В тот же день и в тот же час мистер Грэдграйнд сидел задумавшись в своем кабинете. Много ли он провидел в грядущем? Видел ли он себя седовласым дряхлым стариком, старающимся приноровить свои некогда непоколебимые теории к predetermined жизненным условиям, заставить факты и цифры служить вере, надежде и любви, не пытаясь более перемалывать этих благодетельных сестер на своей запыленной убогой мельнице? Чувал ли он, что по этой причине он навлечет на себя осуждение своих недавних политических соратников? Предугадывал ли, как они — в эпоху, когда окончательно решено, что государственные мусорщики имеют дело только друг с другом и не связаны никаким долгом перед абстракцией, именуемой Народом, — пять раз в неделю, с вечера и чуть ли не до рассвета, будут язвительно упрекать «достопочтенного джентльмена» в том, в другом, в третьем и неведь в чем? Вероятно, да, ибо хорошо знал их.

В тот же день, под вечер, Луиза, как в минувшие дни, смотрела в огонь, но в лице ее теперь было больше доброты и смирения. Много ли из того, что сулило ей грядущее, вставало перед ее мысленным взором? Афиши по городу, скрепленные подписью ее отца, где он свидетельствовал, что с доброго имени покойного Стивена Блекпула, ткача по ремеслу, смывается пятно несправедливых наветов и что истинный виновник его, Томаса Грэдграйнда, родной сын, которого он просит не осуждать слишком сурово, ввиду его молодости и соблазна легкой поживы (у него не хватило духу прибавить «и полученного воспитания»), — это все было в настоящем. И камень на могиле Стивена Блекпула с надписью, составленной ее отцом, объясняющей его трагическую гибель, — это было почти настоящее, ибо она знала, что так будет. Все это она видела ясно. Но что мелькало перед ней впереди?

Женщина по имени Рейчел, которая после долгой болезни опять по зову колокола появляется на фабрике и в одни и те же часы проходит туда и обратно вместе с толпой кокстаунских рабочих рук; ее красивое лицо

задумчиво, она всегда одета в черное, но нрав у нее тихий, кроткий, почти веселый; во всем городе, видимо, только она одна жалеет несчастное спившееся создание, которое иногда останавливает ее на улице и со слезами просит подаяния; женщина, которая знает только работу, одну работу, но не тяготится ею, а считает такой жребий естественным и готова трудиться до тех пор, пока старость не оборвет ее труд. Видела ли это Луиза? Этому суждено было стать.

Брат на чужбине, в тысячах миль от нее, письма со следами слез, в которых он признается, что очень скоро понял, сколько правды было в ее прощальных словах, и что он отдал бы все сокровища мира, лишь бы еще раз взглянуть на ее милое лицо. Затем, долгое время спустя, весть о возвращении брата на родину, его страстная надежда на свидание с ней, задержка в пути из-за внезапной болезни, а потом письмо, написанное незнакомым почерком, сообщающее, что «он умер в больнице от лихорадки в такой-то день, преисполненный раскаяния и любви к вам, умер с вашим именем на устах». Видела ли это Луиза? Этому суждено было стать.

Новое замужество, материнство, счастье растить детей, нежная забота о том, чтобы они были детьми не только телом, но и душой, ибо духовное детство еще более великое благо и столь бесценный клад, что малейшие крохи его — источник радости и утешения для мудрейших из мудрых. Видела ли это Луиза? Этому не суждено было стать.

Но любовь к ней счастливых детей счастливой Сесси; любовь к ней всех детей; глубокое знание волшебного мира детских сказок, всех этих столь милых и безгрешных небылиц; ее усилия лучше понять своих обездоленных ближних, скрасить их жизнь, подвластную машинам и суровой действительности, всеми радостями, которые дарит нам воображение и без которых вянет сердце младенчества, самая могучая мужественность нравственно мертва и самое очевидное национальное процветание, выраженное в цифрах и таблицах, — только зловещие письма на стене^[65]; усилия не ради данной из причуды клятвы или взятого на себя обязательства, не по уставу какого-нибудь союза братьев или сестер, не по обету или обещанию и не ради новой моды или филантропической суеты, а просто из чувства долга, — видела ли Луиза все это? Этому суждено было стать.

Друг читатель! От тебя и от меня зависит, суждено ли это и нам на твоём и на моём поприще. Да будет так! Тогда и ты и я с легким сердцем, сидя у камелька, будем смотреть, как наш угасающий огонь подергивается серым, холодным пеплом.

Конец

Комментарии

Роман «Тяжелые времена» был впервые опубликован в издававшемся Диккенсом журнале «Домашнее чтение» (апрель-август 1854 г.), после чего вскоре вышел отдельной книгой.

В творчестве Диккенса роман «Тяжелые времена» занимает особое место. Его значение определяется не столько художественными достоинствами, хотя они несомненны, сколько исключительно большой остротой, с какой писателем были составлены кардинальные социально-политические вопросы эпохи. Это, пожалуй, наиболее публицистичный из романов Диккенса.

Как известно, Диккенс во всех своих книгах касался существенных проблем общественной жизни Англии. После «Пиквикского клуба» он неустанно создавал одно за другим произведения, в которых судьбы героев в той или иной форме были связаны с условиями существования различных классов. Гуманист Диккенс почти с первых же шагов своего творчества обращал внимание на пороки буржуазной государственно-политической и общественной системы. Начиная с «Оливера Твиста» он изображал последствия социальной несправедливости для самых бедных слоев населения. Контраст между богатством и бедностью составляет центральный социальный мотив всего творчества писателя. Однако в подавляющем большинстве произведений Диккенс концентрировал свое внимание на судьбах мелкой буржуазии или, по английской терминологии, «низшей части среднего класса». Диккенс раскрыл на судьбах героев из этой среды тот процесс поляризации классов, в котором особенно ярко и драматично отражалось развитие капитализма. Драматизм состоял в том, что люди, прежде сами принадлежавшие к сравнительно обеспеченной части общества, беднели, пауперизировались, превращались в неимущих. Сочувствие Диккенса, как известно, всегда было на стороне тех, кто являлся жертвами так называемого буржуазного прогресса. Известно также, что писатель отражал эти явления жизни не в аспекте социально-экономическом или политическом, хотя всегда был точен в изображении конкретных условий, определявших судьбы его героев. В центре внимания Диккенса были проблемы нравственности. Именно под этим углом зрения им рассматривались те социальные процессы, которые играли роковую роль в судьбах его героев.

В «Тяжелых временах» Диккенс впервые обратился к изображению

основного противоречия капиталистического общества. Содержание романа определяется не контрастами между бедностью и богатством вообще, а конфликтом между трудом и капиталом. Великий реалист изобразил то, что К. Маркс назвал центральным конфликтом XIX века — борьбу между буржуазией и пролетариатом.

Эта тема была не новой в английской литературе эпохи Диккенса. Уже до него появился ряд социальных романов, в которых тема борьбы между пролетариатом и буржуазией получила яркое художественное раскрытие. Наиболее значительными из произведений, предшествовавших «Тяжелым временам», были романы двух писательниц, принадлежавших вместе с Диккенсом и Теккереем к направлению критического реализма: «Шерли» (1847) Шарлотты Бронте и «Мэри Бартон» (1848) Элизабет Гаскел. В те же годы, в обстановке бурных революционных событий 1848—1849 годов Диккенс достаточно недвусмысленно заявил о своих позициях романом «Домби и сын», содержащим резкую критику буржуазии.

К теме борьбы рабочего класса Диккенс обратился тогда, когда рабочее движение в Англии после нанесенных ему тяжелых ударов и после временного спада опять активизировалось в начале 1850-х годов. Жизнь показала, что победа буржуазии отнюдь не привела к сглаживанию классовых противоречий. Именно в этой обстановке Диккенс и создал «Тяжелые времена». Его роман, таким образом, возник как непосредственный отклик на новую волну забастовок, прокатившуюся в промышленных районах страны в 1852—1853 годах. Писатель подчеркнул злободневность книги в ее подзаголовке. На титуле стояло:

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА Для нашего времени

Яснее нельзя было заявить о публицистической направленности романа. Желая уже с самого начала указать читателю на то, с каких позиций рассматривается действительность, Диккенс снабдил книгу посвящением, которое также было полно значительности для современников. «Тяжелые времена» были посвящены Томасу Карлайлю, крупнейшему английскому публицисту второй четверти XIX века, которому принадлежала заслуга особенно острой постановки вопроса о социальных противоречиях в английской жизни.

Современные Диккенсу читатели уже по посвящению могли судить о направленности романа «Тяжелые времена». Будучи боевым публицистическим произведением, книга не могла не вызвать

разноречивых откликов. Точку зрения правящих классов на роман Диккенса выразил один из крупнейших идеологов «либеральной» буржуазии Томас Маколей. Он определил социально-политический смысл романа как «угрюмый социализм». Этим Маколей дал понять, что позиция Диккенса является антибуржуазной и что картину капиталистического общества он будто бы рисует в слишком мрачных тонах. Естественно, что Маколей осуждал Диккенса, а последующая буржуазная критика пыталась принизить значение романа, утверждая, что это самое слабое произведение писателя, недостойное его гения.

Иную позицию заняли представители прогрессивных слоев английского общества. Известный публицист и теоретик искусства Джон Рескин выступил на защиту Диккенса. Имея в виду обычные и распространенные в буржуазной критике того времени упреки, предъявлявшиеся великому реалисту, Рескин писал в 1860 году: «Не следует отрицать пользу остроумия и проницательности Диккенса только потому, что он предпочитает говорить под лучами яркого сценического освещения. Основное направление и цель каждой из написанной им книг совершенно правильны, и тем, кто интересуется социальными вопросами, следует внимательно и серьезно изучить их все, а в особенности — „Тяжелые времена“. Они найдут, что многое здесь пристрастно, и могут решить, что раз пристрастно, значит несправедливо; но если они исследуют свидетельства другой стороны, которую Диккенс как будто не учитывает, то труд, потраченный на это, поможет им понять, что в конечном счете его взгляд является правильным, хотя он и выражен грубо и резко».

Все доводы, при помощи которых Рескин хочет оправдать Диккенса, свидетельствуют о том, что истины, раскрытые писателем в своем романе, показались буржуазной публике ужасающими. В эпоху Диккенса смелым и объективно прогрессивным фактом было уже то, что писатель, вопреки утверждениям буржуазных идеологов о стабильности капитализма и классовом мире, выступил с произведением, в котором дал наглядное изображение не только несправедливости, царящей в обществе, но и борьбы против этой несправедливости. Для того чтобы по заслугам оценить значение романа, надо вспомнить известное письмо Ф. Энгельса к английской писательнице Маргарет Гаркнес. Оно относится к более позднему времени, к концу 1880 годов, но тем не менее его вполне уместно вспомнить здесь, ибо в своей оценке романа Гаркнес «Городская девушка» Энгельс высказал положения, в полной мере применимые и к «Тяжелым временам». Слабость произведения писательницы, по определению Энгельса, состояла в том, что оно давало только изображение бедственного

положения пролетариата, не показывая борьбы, которую рабочие вели против капиталистов. В этом отношении Диккенс, стоявший гораздо дальше от организованного политического движения рабочего класса, чем М. Гаркнес, проявил и большую объективность и большую прозорливость. Его роман, пользуясь выражением Ф. Энгельса из письма к М. Каутской, выполнял свое назначение, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности существующего строя.

Однако нельзя отрицать того, что, хотя Диккенс дал в романе изображение классовой борьбы, его собственная позиция в этом вопросе не была революционной. Читатель, знакомый с романом, знает, что Диккенс, показывая рабочих-чартистов, представил наиболее активного организатора их борьбы Слекбриджа в неприглядном свете. Для нас бесспорно, что неприязнь Диккенса к этому персонажу отражает ограниченность взглядов писателя на революционные методы борьбы, но это не дает основания отрицать социальную значимость романа.

Внимательно читая «Тяжелые времена», мы со всей очевидностью обнаруживаем, что Диккенс в ярких красках изображает бедственное положение рабочих и считает вполне обоснованными и справедливыми с точки зрения гуманности их требования улучшить условия жизни и труда пролетариата. Не может быть никаких сомнений в том, что Диккенс осуждает жестокую капиталистическую эксплуатацию. Однако, изображая борьбу рабочих за свои человеческие права, Диккенс выделяет два направления в среде самих пролетариев. Одно из них, как уже сказано, представлено в образе агитатора Слекбриджа, прибывшего из Лондона, который требует решительных революционных действий. Другое направление предстает в герое романа Стивене, который, как мы знаем, уклоняется от борьбы. Сочувствие Диккенса на стороне Стивена, а решительно настроенного агитатора он изображает как отвратительного демагога.

По поводу этого сопоставления образов в романе следует прежде всего сказать, что оно соответствует объективной исторической истине. Из истории чартистского движения известно, что в нем было два направления. Одно из них, более революционное, получило название партии «физической силы», другое — партии «моральной силы». Диккенс, таким образом, только отразил реальный факт, показав в образах романа разные тенденции в самом рабочем движении. Не приходится отрицать того, что партия «моральной силы» выражала реформистские мелкобуржуазные настроения в среде самого рабочего класса. Как бы то ни было, такова истина, и Диккенс не погрешил против нее в своем романе. Для его

современников было очевидно, что если писатель и показывает в отрицательном свете одно из течений первой пролетарской партии Англии, то в целом его сочувствие на стороне рабочего движения, а не на стороне угнетателей народа — капиталистов.

Английский прогрессивный писатель и критик Джек Линдсей, характеризуя отношение Диккенса к организованному рабочему движению, писал: «В этом вопросе, как и во многих других, Диккенс обнаруживает двойственность; он поддерживает стремление рабочих к объединению и подчеркивает, что народ сам должен завоевать права, которые ему никогда не будут предоставлены парламентом, но вместе с тем он испытывает некоторый страх перед массовой организацией. Он защищает тред-юнионизм, но опасается его последствий. Вот почему идеальным образом рабочего для него является Стивен Блекпул, одинаково враждебный и к забастовке и к хозяйничанию капиталиста. Вот почему в романе нет эффективного завершения ни в эмоциональной, ни в художественном отношении. Но автор не изображает Стивена абсолютным противником метода забастовочной борьбы. Стивен отказывается вступить в союз просто потому, что он дал слово Рейчел; а когда хозяин делает из этого вывод, что он против объединения рабочих, Стивен защищает своих товарищей и говорит, что они выполняют свой взаимный долг, объединяясь для защиты друг друга (J. Lindsay, Charles Dickens, L. 1950, p.311).

Диккенс был решительным противником хищнической и стяжательской морали буржуазии, — того, что Карлайль определил как мораль «чистогана». Диккенс направил острие своей сатиры против буржуазной политической экономии так называемой манчестерской школы, которая обнажила все бездушие «морали» капиталистов. Мы обладаем замечательным документом, в котором Диккенс сам недвусмысленно выразил антибуржуазную направленность своего произведения.

В письме к Чарльзу Найту 13 января 1854 года Диккенс писал о романе «Тяжелые времена»: «Моя сатира направлена против тех, кто видит только цифры и средние числа и ничего больше, — против представителей самого ужасного и противоестественного порока нашего времени, — против людей, которые на долгие годы вперед причинят больше ущерба действительно полезным истинам политической экономии, чем мог бы причинить я, при всем старании, за всю мою жизнь; эти люди с мозгами набекрень берут среднюю годовую температуру в Крыму в качестве обоснования для того, чтобы одеть солдата в нанковые штаны на ночь, когда и в мехах можно окоченеть насмерть, а рабочего, который ежедневно проходит по двенадцать миль к месту работы и обратно, они будут утешать,

говоря ему, что расстояние между двумя населенными пунктами по всей английской территории в среднем не превышает четырех миль. Вот! И что с ними можно поделаться?»

Идейный замысел писателя получил также выражение в его поисках названия романа. Вот некоторые из названий книги, набросанных Диккенсом: «Упрямые вещи», «Факты мистера Грэдграйнда», «Жернов», «Тяжелые времена», «Дважды два — четыре», «Наш крепкоголовый друг», «Простая арифметика», «Подсчет — и больше ничего», «Все дело в цифрах», «Философия Грэдграйнда». Мы видим, таким образом, что пафос книги с самого начала определялся гневным возмущением Диккенса против бесчеловечности буржуазной идеологии чистогана, против пресловутой «философии фактов» Грэдграйнда, столь блестяще обличенной писателем на протяжении всего романа.

Социальный строй, где человек это только единица в числе многих других единиц, осуждается Диккенсом со всей страстью, на которую он был способен. Мы знаем, что великому писателю был свойствен добродушный юмор. В других романах мы этот юмор найдем, но в «Тяжелых временах» его нет, как нет его и в «Повести о двух городах». Здесь Диккенс беспощадно сатиричен. Бездушию всей системы буржуазного общества писатель противопоставляет естественные живые человеческие стремления, проявляющиеся у отдельных героев. Жизнь, основанная на трезвом практическом расчете, не может закончиться ничем, кроме катастрофы. Яснее всего это выражает судьба детей мистера Грэдграйнда Тома и Луизы.

Но мы знаем, что моральной и физической катастрофой завершается также судьба главного положительного героя романа Стивена Блекпула, запутавшегося в жизненных противоречиях. Однако и в этом виновато буржуазное общество с его ханжескими законами о браке и разводе, ставящее официальную мораль выше чувств живого человека.

Краснокирпичный Кокстаун, где все так же прямолинейно, как и в философии фактов Грэдграйнда, — это душная темница для людей. Миру практического расчета Диккенс противопоставляет сердечные стремления людей, свойственное им чувство красоты, фантазию, жажду необыкновенного, не получающих удовлетворения в тесных каменных пределах, в которые закован человек общества, основанного на чистогане. Символически это воплощено в цирке Слири, появляющемся как в начале, так и в конце романа. Он несет с собой дыхание какой-то иной жизни, пусть причудливой и почти нереальной, но все же такой, где ощущается раскованность человека.

«Тяжелые времена» — самый короткий из романов Диккенса. Он уступает в эпической широте другим его произведениям, но зато более концентрирован. Книга подобна короткому, до сильного удара, нанесенному человеком, возмущение которого достигло предела. Она доказывает, что Диккенс далеко не всегда был тем благодушным юмористом, каким его иногда представляют. В «Тяжелых временах» мы видим не только Диккенса гуманиста, но и борца.

А. Аникст

notes

Единое на потребу. — По евангельской легенде, Христос сказал женщине, которая, заботясь об угощении, не слушала его проповеди: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» (по-церковнославянски — «Едино же есть на потребу»), то есть нужно только внимать божьему слову. Евангельское выражение употреблено Диккенсом в ироническом смысле: мистер Грэдграйнд придает столь же большое значение своей теории. Первой главе третьей части романа, в которой изображен крах мировоззрения Грэдграйнда, Диккенс, продолжая сопоставление, дал название «Иное на потребу».

Избиение младенцев. — По евангельскому преданию, царь иудейский Ирод, узнав от восточных мудрецов о рождении Христа, будущего вождя Иудеев, стремился разыскать его и убить. Не найдя Христа, Ирод приказал перебить в стране всех мальчиков до двух лет.

...пришествие тысячетного царства... когда ...миром будут править чиновники... — пародия на легенду о «тысячетном царстве Христа», которое ожидалось после его второго пришествия.

Просодия — здесь: правила стихосложения.

Тройное правило — правило для решения арифметических задач, в которых величины связаны прямой или обратной пропорциональной зависимостью.

...он достиг списка В, утвержденного Тайным советом ее величества... — Список Б — перечень научных дисциплин, которые обязан знать учитель. Тайный совет — совещательный орган при короле Англии, состоит из членов кабинета и лиц, назначаемых королем по представлению премьер-министра. Здесь имеется в виду комитет по делам образования при Тайном совете, созданный в 1839 году; из этого комитета в дальнейшем было организовано министерство просвещения.

...поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Баба и сорок разбойников... — Служанка Морджана — персонаж одной из арабских сказок — обнаружила в больших глиняных сосудах спрятавшихся разбойников и убила их, налив в сосуды кипящего масла.

Оуэн Ричард (1804—1892) — английский натуралист, известен своими исследованиями в области анатомии.

Воз — одно из названий созвездия Большой Медведицы.

...не вспоминал о ...корове безрогой... — Имеется в виду английское детское стихотворение-скороговорка, которое начинается словами: «Вот дом, который построил Джек». Цитировано по переводу С. Я. Маршака.

Конхиологическая коллекция — коллекция раковин.

«...высоконравственными шутками и остротами в шекспировском духе». — Желая оградить свою труппу от преследований ханжески настроенных городских властей, мистер Слири настойчиво подчеркивает нравственный характер цирковой программы; однако он выбирает не совсем удачный образец: как известно, шекспировские шутки не всегда отличаются благопристойностью.

Миссис Гранди — олицетворение буржуазной «респектабельности» и ходячей морали. Часто упоминаемое, но не участвующее в действии лицо в комедии Томаса Мортонa (1764—1838) «Бог в помочь»; роль миссис Гранди в пьесе сходна с ролью княгини Марии Алексеевны в «Горе от ума».

Адам Смит и Мальтус — дети Грэдграйда названы в честь политэконома Адама Смита (1723—1790) и социолога-священника Томаса Мальтуса (1766—1834) — идеологов английской буржуазии.

Пегас (греч. миф.) — крылатый конь, олицетворение поэтической фантазии, вдохновения.

Ноев ковчег — по библейской легенде — корабль, на котором спаслись от всемирного потопа Ной и его род; в ковчеге были также собраны представители всех видов животного царства.

Кентавр (греч. миф.) — существо с туловищем коня и с головой, грудью и руками человека.

Хартия вольностей (Habeas Corpus Act) — акт об ограничении королевской власти в пользу феодальных баронов, изданный королем Англии Иоанном Безземельным в 1215 году.

Джон Буль — прозвище англичан; в литературный обиход вошло после появления серии памфлетов Джона Арбетнота «История Джона Булля» (1712).

...хабеас корпус (Habeas Corpus Act) — английский закон 1679 года, по которому каждый арестованный имеет право требовать, чтобы в течение суток судья гласно предъявил ему обвинение; в противном случае арестованный из-под стражи освобождается. Этот закон, однако, не распространяется на лиц, подозреваемых в государственной измене и в особо тяжелых преступлениях; кроме того, английский парламент в прошлом много раз приостанавливал его действие.

Билль о правах — парламентский акт 1689 года, принятый при вступлении на английский трон Вильгельма Оранского. Билль о правах закрепил руководящую роль в политической жизни страны за парламентом и является предметом гордости сторонников буржуазного парламентаризма.

«*Церковь и государство*» — формула, характеризующая особенность положения английской церкви, а именно — ее тесную связь с государственным аппаратом. С XVI века английский король является главой национальной церкви.

Презренно счастье вельможей и князей... — строки из поэмы Оливера Гольдсмита «Покинутая деревня» (1770). Перевод В.А. Жуковского.

...кориолоновского носа... — то есть римского носа. Кориолан Гней Марций — по преданию, гордый и высокомерный римский патриций, враг плебеев, изгнанный из Рима и перешедший на сторону вольсков — племени, воевавшего против Рима.

...не на что было купить пакли, чтобы посветить вам. — Один из видов заработка лондонских бедняков состоял в том, что они светили на улице богатой публике факелами из пакли, намотанной на палку и пропитанной смолою.

Вест-Энд, Мэйфер — аристократические кварталы в западной части Лондона.

..*Дефо, а не Евклид...* — Дефо Дэниел (ок. 1660—1731) — английский писатель эпохи Просвещения, автор «Робинзона Крузо», «Молль Флендерс» и многих других романов, богатых описаниями путешествий и приключений. Евклид (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий математик.

...находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера. — Гольдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель-сентименталист; среди его произведений наиболее известны роман «Векфильдский священник», поэма «Покинутая деревня», комедия «Ночь ошибок». Кокер Эдвард (1631—1675) — автор учебника арифметики.

«Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мной» — перефразированные слова Христа из нагорной проповеди (еванг.).

Синяя книга — сборник документов, относящихся к деятельности английского правительства; такие сборники выпускались в синих переплетах.

...позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше... — В новелле, обрамляющей сборник арабских сказок «1001 ночь», рассказывается, как некий царь, подозревая всех женщин в непостоянстве, казнил своих жен после брачной ночи. Шахразада избежала общей участи при помощи хитрости: она рассказывала целую ночь увлекательные истории, а утром обрывала рассказ на середине; это побудило царя откладывать казнь со дня на день, пока он совсем не отказался от мысли казнить Шахразаду.

...на радость и горе... — слова, произносимые священником во время венчания в английской церкви.

Суд по семейным, делам, гражданский суд, палата лордов. — В 1854 году, когда вышел в свет роман «Тяжелые времена», в Англии все еще действовало законодательство о браке, проникнутое духом средневекового обскурантизма и ханжества. Бракоразводные дела рассматривались не светскими, а церковными судами, которые считали брак вообще нерасторжимым. В лучшем случае церковные суды давали санкцию на разлучение супругов — временное или постоянное. Разлучение, однако, не давало права вступать во второй брак. Для того чтобы церковный суд принял дело к слушанию, нужно было предъявить обвинение в адюльтере или жестоком обращении со стороны одного из супругов. Другие причины не принимались во внимание.

Единственным средством получить действительный развод было специальное парламентское постановление. Для этого нужно было иметь решение церковного Суда о разлучении и много денег. Развод был привилегией немногих знатных и влиятельных лиц. Об этом говорят цифры: за двести лет было издано лишь 229 парламентских актов о расторжении брака.

Суд по семейным делам, о котором упоминает Диккенс, — это церковный суд, располагавшийся в Лондоне в группе зданий, известных под общим названием Докторс-Коммонс. В 1858—1859 годы Докторс-Коммонс был упразднен. Гражданский суд — это суд обычного права, опирающийся не на писанные законы, а на судебные прецеденты и обычаи. Через суды обычного права проходили дела о взимании убытков с прелюбодеев. Палата лордов — верхняя палата английского парламента, высшая апелляционная инстанция в Англии. В палату лордов направляли прошения о парламентском разводе.

Мистер Баундербери не был далек от истины, определяя сумму, необходимую Блекпулу для получения развода: об этом свидетельствует любопытное обращение одного английского судьи к бедняку, судимому в 1845 году за двоеженство (первая жена ограбила его и убежала с другим человеком):

«Вы должны были возбудить дело и потребовать возмещения убытков, которые другая сторона не была бы в состоянии уплатить, и вам пришлось бы уплатить судебные издержки самому вероятно, 100 или 150 фунтов. Затем вам нужно было бы обратиться в церковный суд и получить развод а

mensa et thoro (разлучение), а затем — в палату лордов, где, доказав, что все предварительные юридические процедуры совершены, вы получили бы разрешение жениться снова. Затраты могут достичь 500 или 600 фунтов, а может быть и тысячи. Вы говорите, что вы — бедный человек. Но я должен вам сказать, что нет одного закона для богатых и другого для бедных».

Парламентский поезд. — Парламентским актом в XIX веке были назначены дополнительные ежедневные рейсы поездов и карет (один рейс на каждом маршруте), оплачивавшиеся по сниженным тарифам — не больше пенни за милю.

Вавилонские башни — по библейской легенде, потомки Ноя решили построить в земле Сеннаар город Вавилон и башню «высотой до небес». Бог, желая покарать людей за такую дерзость, «смешал язык»: люди, ранее говорившие все на одном языке, стали говорить на разных языках и не понимали друг друга; поэтому Вавилонская башня осталась недостроенной.

...«Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». — По евангельскому преданию, слова Христа, сказанные им, когда к нему была приведена женщина, «взятая в прелюбодеянии» (по иудейским обычаям прелюбодеи побивались камнями).

...от одной из десяти заповедей... — По библейской легенде, бог дал пророку Моисею десять религиозно-нравственных правил (заповедей), одно из которых гласило: «Не убий».

...до того самого дня, когда в последний раз на земле возгласит труба архангела и даже алгебра будет развеяна в прах. — По христианским представлениям, Страшный суд должен быть возвещен семью трубными гласами; после каждого из них будут происходить космические бедствия.

...мать его имеет право на призрение — то есть имеет право на пособие от приходских властей. Пособие выдавалось только тем, кто родился в данном приходе и мог это доказать.

Работный дом — дом призрения для престарелых инвалидов и детей-сирот. По закону 1834 года лица, имеющие право на пособие, могли получать его, только живя в работном доме. Условия жизни в работных домах были чрезвычайно тяжелы и напоминали тюремный режим.

...весь долг каждого человека... — намек на книгу «Весь долг человека», изданную в 1658 году и содержащую анализ нравственных обязанностей человека по отношению к богу и своим земным братьям.

...точно султан, сунувший голову в ведро с водой. — Имеется в виду эпизод из арабской сказки «Две жизни султана Махмуда», вошедшей в один из списков «1001 ночи». Шейх-волшебник, посетивший египетского султана Махмуда, окунул на мгновение его голову в водоем. За это время султану привиделось, будто он попал в дальние края, потерпел кораблекрушение, был обращен в рабство, а затем превратился в осла и пробыл в этом обличье несколько лет.

...среди своих пенатов... — Пенаты — древние боги-хранители домашнего очага (римск. миф.).

Один знатный английский род взял себе прелестный итальянский девиз: «Что будет, то будет». — *Che sara, sara* — девиз (краткое изречение) на родовом гербе старинной английской аристократической семьи Расселов.

Объединенный Трибунал — вымышленное название чартистской организации.

...тот, кто продал свое первородство за чечевичную похлебку... — По библейской легенде, Исав — старший из сыновей патриарха Исаака — продал своему младшему брату Иакову привилегии старшинства за чечевичную похлебку.

Каслри-лорд (1769—1822) — английский реакционный политический деятель, инициатор законов, направленных против рабочих союзов. Каслри — организатор кровавой бойни на Сент-Питер-Филде, близ Манчестера, в 1819 году, когда специально вызванные войска разогнали митинг рабочих, собравшихся обсудить свои требования парламентской реформы. Здесь: намек на распространенное мнение, что Каслри — тайный агент австрийского министра иностранных дел Меттерниха, который был одной из крупных фигур в лагере европейской феодально-абсолютистской реакции.

Остров Норфолк — небольшой остров в Тихом океане, к востоку от Австралии; до 1914 года принадлежал Великобритании; в течение долгого времени служил местом отбывания каторжных работ.

Лорд Честерфилд (1694—1773) — английский дипломат и писатель. В опубликованных после смерти Честерфилда письмах к его незаконному сыну содержатся советы и указания, как вести себя в светском обществе.

...нищих вы всегда имеете с собой. — По евангельской легенде, Иуда Искарот упрекнул Христа за то, что он позволил помазать ему ноги драгоценным маслом (миром), тогда как масло можно было продать, а деньги раздать нищим. Христос ответил, что нищие, которым можно помочь добрым делом, всегда рядом, а он не всегда будет среди людей.

Медуза — одна из трех Горгон, уродливых змееволосых дев, взгляд которой превращал в камень все живое (греч. миф.).

«Бездна бездну призывает» — библейское выражение (псалом 41).

Вестминстерская школа — одно из наиболее старинных и известных в Англии учебных заведений — расположена в Лондоне. Наиболее привилегированная группа учащихся Вестминстерской школы — так называемые «королевские стипендиаты»; они принимают участие в коронации и по традиции раз в год на рождество ставят своими силами какую-либо пьесу римских комедиографов Теренция или Плавта на латинском языке.

«Увы, бедный Йорик» — слова Гамлета, произнесенные над черепом покойного шута Йорика («Гамлет», акт V, сц. 1-я).

Трик-трак — старинная игра с фишками, передвигаемыми по расчерченной доске.

...человек ходит подобно призраку и напрасно суетится... — неточная цитата из библии (псалом 38).

Ромул и Рем — легендарные основатели Рима, братья-близнецы; брошенные на произвол судьбы, они были вскормлены волчицей.

Лестница Гигантов — лестница во Дворце Дожей в Венеции.

Добрый самаритянин (самарянин) — евангельская притча о добром самарянине рассказана в ответ на вопрос: «Кто мой ближний?». Самаряне — особая народность в Палестине; религиозное установление запрещало иудеям общаться, с самарянами. Однажды путник иудей был ограблен и изранен разбойниками. Иудеи — священнослужители, проходившие мимо, не оказали помощи ограбленному, а добрый самарянин перевязал ему раны и привез в ближайшую гостиницу.

«Святая инквизиция» — трибунал, учрежденный в XIII веке католической церковью для борьбы против еретиков.

...пели жаворонки (невзирая на воскресенье)... — Английские пуритане XVII века ввели законы, по которым в воскресенье запрещалось работать, петь светские песни и предаваться развлечениям.

...в цирке Ахтли... — Цирк Астли — лондонский цирк, существовавший с конца XVII по 60-е годы XIX века; на его сцене показывались мелодрамы с конно-цирковыми номерами.

...на «Детей в лесу» — «Дети в лесу» — спектакль на сюжет старинной английской баллады.

Гарвей Вильям (1578—1657) — английский анатом и хирург, создавший учение о кровообращении.

...без которых... самое очевидное национальное процветание... только зловещие письма на стене... — По библейскому преданию, во время пира у последнего вавилонского царя Валтасара на стене появилась загадочная надпись, предвещавшая гибель царя и Вавилонского царства.